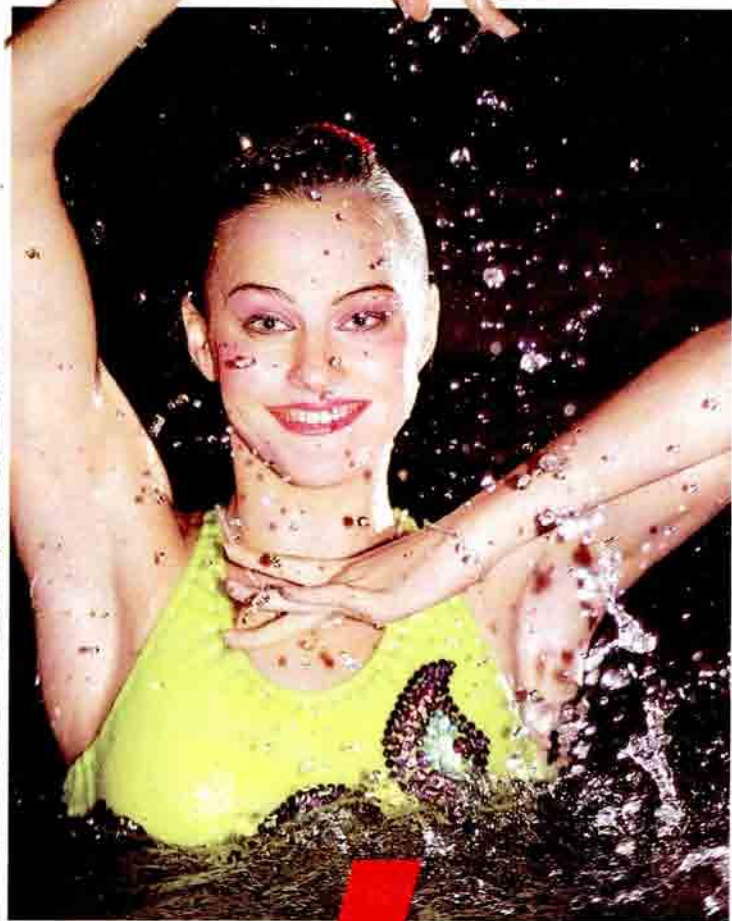


СМОЛО

ISSN 0131 — 6656

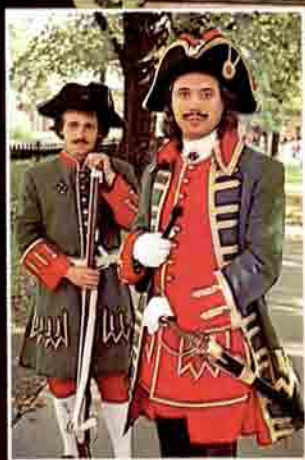
ЛЕВ КАНЕВСКИЙ ■ ВАРИАЦИИ КАЗАНОВЫ



ОЛГА ЧАЙКОВСКАЯ ■ ОГЛЯНИСЬ, МОЯ СОВУШКА

6 / 95

(Читайте стр. 20)



6'95

СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ
зам. главного редактора
БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
зам. главного редактора
СЕРГЕЙ ПОПОВ
МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН
главный художник
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление

ВАЛЕНТИНА ДАВЫДОВА
*Художественно-
технический редактор*
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 23.03.95.

Подписано к печати 18.04.95.

Формат 84×108¹/₂.

Бумага «Газетная».

Печать офсетная.

Усл. п. л. 15,54.

Усл. кр.-отт. 17,64.

Уч.-изд. л. 23,10.

Тираж 96 900 экз.

Заказ № 225.

Цена свободная.

101457, ГСП, Москва,

Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок.

250-29-39 — отдел реализации.

250-49-98 — отдел рекламы.

Факс (095) 250-59-28.

Журнал зарегистрирован

в Министерстве печати

и массовой информации

Российской Федерации.

Рег. № 166.

Учредитель — коллектив

редакции журнала «Смена».

Рукописи, фото и рисунки

не возвращаются.

Типография издательства

«Пресса», 125865, ГСП, Москва,

А-137, ул. «Правды», 24.

В случае полиграфического брака
обращаться в издательство «Пресса»:
257-28-30, 257-41-03.

6 (1568) ИЮНЬ

© «Смена», 1995.

56 ПРОЗА

*Дэшил Хэмметт***ШАНТАЖ ГЕЙТВУДА** *Рассказ*

176

*Ольга Чайковская***ОГЛЯНИСЬ, МОЯ СОВУШКА** *Детективный роман*

32 ПОЭЗИЯ

Валерий Гуринович, Борис Рябухин

69

Иван Переверзин

4 ВРЕМЯ И МЫ

*Геннадий Падерин***ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

36

*Александр Пьянков***СЕДЬМОЙ ГОД**

74

*Светлана Колосовская***СЕКТА**

114

ШЕПОТ МОРФЕЯ *Беседа с психологом
Еленой Макаренко*

20 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

*Валерий Майоров***КОЛОКОЛА ШЛИССЕЛЬБУРГА**

44

*Александр Корольков***НЕУСЛЫШАННЫЙ ЛЕОНТЬЕВ**

86

Ирина Алпатова

В ТЕАТР — ЗА ЧУДОМ

90

СВЕТЛЕЙШИЙ *Жизнь князя Потемкина-Таврического в историях и анекдотах*

111

Марина Петушкова

ГИТАРА-НЕРВ

132

Лев Каневский

ВАРИАЦИИ КАЗАНОВЫ



На 1-й обложке: двукратная абсолютная чемпионка Европы по синхронному плаванию ОЛЬГА СЕДАКОВА.
Фото АНДРЕЯ ГОЛОВАНОВА.

Николай Леонов

МЕНТ ВЕРНУЛСЯ

Лучший сыщик России Лев Гуров возвращается из частного сыска на свою прежнюю службу — а уголовный розыск. Накануне парламентских и президентских выборов в Москве одно за другим происходят заказные убийства — сначала крупного банкира, затем депутата Госдумы. Полковник Гуров включается в розыск наемного киллера...

Станислав Рассадин

ФАДДЕЙ

Исторический парадокс — тиражи романа Булгарина «Выжигин» в свое время значительно превосходили тиражи книг Пушкина. В чем причина столь необычной популярности творчества «продажного журналиста», короля стукачей? И что дало Пушкину повод назвать Булгарина в своей известной эпиграмме Фигляриным?

795

АНОНС

ГЕННАДИЙ ПАДЕРИН

ШТОРМ РЕДУИР

4

— Снежинск? Еще один опорный пункт в районе Южного полюса, что ли?

— Нет, город в районе Южного Урала: Между Челябинском и Екатеринбургом. Два часа на автобусе от того или другого.

— Но там же сверхсекретный Челябинск-70.

— О нем и речь. Он теперь в смысле секретов, считай, нагишом, и зовется отныне Снежинском.

— И шлагбаум на въезде убрали?

— Пока действует, но скоро, похоже, поменяют на транспарант: «Добро пожаловать!»

Из услышанного

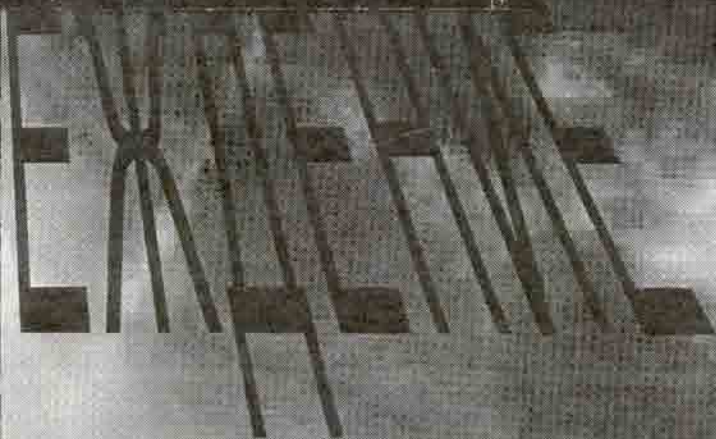
По звонку с Юпитера

В шестидесятые годы среди корреспонденции, поступавшей из закордонья в Москву, на междуна-

родный почтамт, время от времени встречались конверты с адресом: «Sibirien, m-r Diakoff».

Сибирь, мистру Дьякову... Анатолий Витальевич Дьяков нес в ту пору бессменную вахту на крошечной ведомственной метеостанции в Горной Шории — снабжал оперативной метеоинформацией (с привязкой к здешним рудникам) Кузнецкий металлургический комбинат, черпавший отсюда необходимое ему сырье. Ну а свободное от прямых обязанностей время метеоролог посвящал составлению долгосрочных прогнозов погоды, загодя предупреждая о разрушительных ураганах, злых засухах или, напротив, обильных наводнениях. При этом его загляды охватывали территорию не только родимого Кузбасса или соседних сибирских областей, он уверенно высвечивал и местности, порою удаленные от здешней «обсерватории» на многие тысячи километров.

ОВОС



Всех ставило в тупик, как это заброшенный судьбою в медвежью глухомань одиночка, имеющий в своем распоряжении лишь школьный телескопик, умудряется попадать в точку в 94 случаях из 100, а его штормовые предупреждения имеют временной запас от двух недель до двух, а то и трех месяцев. Остается лишь пожалеть, что ни у кого не дошли руки своевременно заняться осмыслением погодоведческих находок шорского провидца, так все и кануло вслед за ним в небытие.

«Сибирь, Дьякову...» И действительно, не было такого, чтобы почтовые отправления затерялись. Больше того, они приходили по назначению даже с таким адресом: «Сибирь, Богу погоды». Или: «Сибирь, ловцу ураганов». Это уже свои, отечественные авторы, проверяли эрудицию почтовиков: ведомы ли тем самородки российских глубин?

Точно так, не сомневаюсь, через какое-то время сортировщики корреспонденции на международном почтамте в Москве привыкнут к адресу: «Урал, Снежинск». Город, где хранятся ключи от войны, город, о подспудностях которого куда больше знают в ЦРУ, нежели живущие окрест россияне, вдруг обрел всемирную (и что важно подчеркнуть: легальную!) известность. И произошло сие не почему-нибудь, а благодаря прозвучавшему отсюда штормовому предупреждению, обращенному ко всем землянам.

Да, речь о непогоде, точнее, о возможных последствиях возможной непогоды, но уже не где-то в приземных слоях атмосферы, а в космосе. Более двухсот ученых и специалистов различного профиля собрались здесь в конце сентября 1994 года на конференцию, получившую статус международ-

ной и обсуждавшей на протяжении пяти дней необычную тему: «Проблемы защиты Земли от столкновения с опасными космическими объектами (SPE-94)».

Озабоченность такого плана существует в научной среде довольно давно, и целенаправленная подготовка к означенному форуму началась еще в 1991 году (по инициативе новосибирских ученых и уральских ракетчиков), ну, а роль «последней капли» сыграли июльские (1994 г.) события на Юпитере: напомнили с обескураживающей очевидностью, что все мы, породненные Солнечной системой, под одним Богом и что световой сигнал от Юпитера достигает нашей планеты за 43 минуты.

А как часто штормит в космосе? Прежде всего, естественно, в околоземных окрестностях? Существует ли достаточно обоснованный повод для тревоги, а тем более для штормового предупреждения?

Еще в прошлом веке достойным науки явилось открытие того факта, что около 65 миллионов лет назад произошло обвальное вымирание большинства населявших земной шар видов животного мира. О причинах трагедии можно было лишь гадать, и только теперь собрано достаточное количество свидетельств (заслуга отца и сына Альварцев), позволяющих сделать однозначный вывод: планета столкнулась тогда вблизи побережья полуострова Юкатан с крупным космическим образованием. Сокрушающей силы удар повлек за собой смертоносную иридиевую аномалию глобального масштаба.

Имеющиеся сегодня в распоряжении науки очевидности подводят к пониманию того удручающего обстоятельства, что космогенная бомбардировка нашего обиталища, с разрушительными для

него последствиями, не прекращалась на всем обозримом этапе его существования. Обозначились периоды, когда, помимо всего остального, Большой Космос обрушивал на поверхность Земли настоящие кометные ливни — до двухсот незваных пришельцев, каждый из которых заставлял планету содрогаться от полюса до полюса.

Американские и канадские исследователи составили на основе снимков из космоса рельефную карту, на которой оконтурены 52 кратера — сохранившиеся следы падения на Землю различных космических тел. В одних случаях это были, судя по всему, кометы, в других — метеориты, а в нескольких местах произошло, надо думать, столкновение с астероидами, как были названы в Древней Греции малые планеты («aster» — «звезда», «eidos» — «вид»). На такое предположение наталкивает диаметр трех из обнаруженных кратеров (Седбери в Канаде, Фредофорта в Африке, Акрамана в Австралии) — он, этот диаметр, приближается к 150 километрам.

Однако следует иметь в виду, что американско-канадская карта не охватывает тысячекилометровые пространства Сибири, Монголии, Китая, где имеются не менее впечатляющие «звездные шрамы». Один из них обнаружен в Якутии, в бассейне реки Попигаи: здесь поперечник кратера достигает 100 километров, а предварительные замеры слоя раздробленных пород остановились на глубине 4 километров.

Не охвачено на упомянутой карте, само собой, и дно Мирового океана, хранящее, можно не сомневаться, значительно больше устрашающих следов.

Да не убаюкает, не введет читателя в заблуждение своей обращенностью в прошлое слово «сле-

ды». Каждому, кто бывал на строительных площадках, знакомы, надо думать, требовательные предупреждения, охраняющие подступы к башенным кранам: «Не стой под стрелой!» Так вот, у нас с вами, живущих на Земле, не бывает такого, чтобы над нами не зависала «стрела». В течение года, каждого года, земной поверхности достигает до 200 тысяч тонн внеземного вещества. По большей части это мелкие, редко обращающие на себя наше внимание осколки, однако порой прорываются сквозь атмосферу сгустки вещества, которые остаются в памяти поколений. В нынешнем столетии нам выпало пять раз оказаться на лезвии космических катастроф.

1908 год: знаменитое Тунгусское вторжение. Споры о природе феномена продолжаются по сей день, зато не составило труда установить, что, случись столкновение четырьмя часами позже, от тогдашнего Санкт-Петербурга со всей пригородной зоной и близлежащими селами осталась бы лишь заболоченная пустошь.

Справка: тайга в окрестностях Тунгусского взрыва была истреблена на площади 2250 квадратных километров; взрыв произошел в далеком 1908 году, но многообразные последствия прослеживаются до наших дней.

1947 год: падение наиболее крупного из числа известных железного метеорита (70 тонн) на пустынные отроги Сихотэ-Алиня.

Справка: метеорит раздробился в атмосфере и выпал на земную поверхность в виде «железного дождя», образовав 24 кратера и 98 воронок; впоследствии удалось собрать 3500 осколков.

1968 год: до озноба опасное сближение с Землей астероида, нареченного Икаром. Астрономы не отходили в те дни от телеско-



*Руководитель Новосибирского
вычислительного центра
академик
А. С. АЛЕКСЕЕВ.*

пов, но, благодарение Богу, беда миновала.

Справка: поперечник Икара полтора километра, столкновение сопровождалось бы высвобождением энергии, эквивалентной одновременному взрыву 37 500 водородных бомб современного класса; триллионы тонн пыли, вздыбленной взрывом, надолго перекрыли бы доступ солнечного тепла, и эта «вселенская зима» означала бы конец всего сущего на планете.

Напоминание: Икар проходит мимо нас с периодом в 19 лет, и на каждом витке гравитационное поле Земли воздействует на его траекторию, постепенно приближая астероид.

1984 год: царапающе-близкий проход кометы Икея-Секи, чей гигантский шлейф (более 300 000 километров) был способен нарушить стабильность процессов в земной атмосфере.

Справка: последние наблюдения с использованием аппаратуры сегодняшних возможностей свидетельствуют, что определенные нарушения все же имели место; характер и размеры ущерба уточняются.

1989 год: всего на 6 часов разминутся с нами — пересек после нашего прохода земную орбиту — астероид, не получивший пока ни номера, ни имени. При этом в поле зрения астрономов (американских) аноним попал, они в известной мере случайно обнаружили его не на стадии сближения, а «со спины», когда пугаться уже не имело смысла.

Справка: поперечник незнакомца был близок к 800 метрам; для катастрофы глобального масштаба нам достаточно столкновения с космическим булыжником стометровой величины.

Пять случаев на протяжении всего-навсего одного столетия. При этом следует иметь в виду, что перечислены наиболее, если можно так выразиться, впечатляющие угрозы, а вообще-то факты достаточно тревожного сближения Земли с астероидами фиксируются астрономами с многозначительной регулярностью. Оно и неудивительно, если учесть, что этих космических странников вокруг нас более 50 000 (с поперечником от нескольких десятков метров до 770 километров — такова Церера, открытая в 1801 году).

Что касается массы, тут фигурируют и тонны, и гигатонны, и даже тератонны (от греч. «teras» — «чудовище»), общая же масса всего в тысячу раз меньше земной. Они странствуют главным образом в промежутке, очерченном орбитами Марса и Юпитера, однако отдельные резвуны прорываются в пределы досягаемости земного притяжения, курсируя на более близком расстоянии, нежели Луна. Это как раз та категория небесных тел, за которыми нужен, в прямом смысле слова, глаз да глаз.

Первый вывод из услышанного на конференции (и после нее): опасность реальна, необходимо постоянное патрульное наблюдение за космосом — как ближним, так и дальним.

Ключи от войны

Не припомню, кому из великих принадлежит шутка: наука всего лишь средство, с помощью которого отдельные люди утоляют за счет государства свое любопытство. Свидетельствую: выражения типа «Интересно было бы понять...» встречались на данной конференции не чаще одного на миллион таких, как «Нам предстоит...», «Следует учесть...», «Мы можем...».

Мы можем! — вот лейтмотив, прозвучавший в большинстве из 87 докладов и сообщений. Впервые в истории развития человеческой цивилизации достигнута ступень — в научном и технологическом измерении, — на которой земляне обрели возможность противостоять слепым силам звездного чрева Вселенной, обступившего песчинку-планету.

Мы можем! — в этом осознании и содержится ответ на вопрос, который, как я понимаю, не мог не

возникнуть: почему Снежинск? Что мешало созвать столь назревший форум в Первопрестольной?

Эмблема Снежинска — силуэт хрупкой снежинки, но если бы автор эмблемы мог в свое время позволить себе изобразить подлинный символ города, здешний герб явил бы собой грозный лик атомной бомбы. В Снежинске базируется Российский Федеральный ядерный центр и мозг этого центра — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Создаваемые в здешних цехах ядерные фугасы способны шугануть прочь от земного шара даже такие кометные осколки, от каких содрогнулся недавно Юпитер.

Ну, а неподалеку отсюда, в пределах, можно сказать, прямой видимости (каких-нибудь полторы сотни километров), находится один из старейших промышленных центров Южного Урала, не так давно отметивший свое двухсотлетие, — знаменитый Миасс. Не знаю, что было изображено на его гербе до сих пор, возможно, автомобиль популярной марки, сейчас он с полным правом мог бы претендовать на эмблему с элегантно-модернистическим силуэтом ракеты. В Миассе обосновались Государственный ракетный центр и мозг этого центра — Конструкторское бюро имени академика В. П. Макеева. Сходящие со здешних ступеней ракеты способны доставить снежинские фугасы в те точки координат в околоземном пространстве, где они окажутся необходимы.

Мы можем!.. Но человеку (в том числе и участнику конференции) свойственно больше верить глазам, нежели словам, и уже на первом пленарном заседании было произнесено: «Мы можем». Обещание прозвучало из уст Владимира Зиновьевича Нечая и Игоря Ивановича Величко (первый руководит

комплексом в Снежинске, второй — генеральный конструктор комплекса в Миассе).

Пятидневный график работы конференции составили с таким расчетом, чтобы один из дней отдать ознакомительным походам. Порядок записи желающих установили наипростейший: на фанерном щите, установленном в вестибюле Дома культуры, прищипили несколько листов бумаги с названиями предлагаемых экскурсий, и каждому давалась возможность лично вписать свою фамилию на любом из них. Когда я подошел к щиту, поневоле обратил внимание, что столбики фамилий теснились только на двух листах — там, где значилось: «Музей ядерного оружия» и «Миасс, ракетный центр». Даже Ильменский заповедник не переманил никого из этих списков.

Пришлось разделить экскурсантов на группы и установить очередность посещения того и другого пунктов. Я выбрал Снежинск. Здешний музей оружейников расположился, как оказалось, на территории так называемой промплощадки № 1, обнесенной металлической оградой и с вооруженной охраной у ворот.

Подруливаем. Водитель автобуса включает пневматику, дверь плавно отходит в сторону, и тут же на подножке появляется солдат в пятнистой форме и с «калашниковым» на плече.

— Прошу тех, у кого с собой сумки, портфели, фотоаппараты, видеокамеры, отнести все в помещении КПП. Заберете на обратном пути.

У меня ничего названного не имеется, однако тоже готовлюсь на выход, ожидая услышать вторую часть команды — она оговорена в полученном мною приглашении на конференцию: «Просьба иметь при себе справку о допу-

ске». Справкой обзавестись не удалось, но часовой не опускается до унижительной проверки, посчитав, как видно, что «зайца» среди гостей просто не может быть.

Наконец мы за «порогом». По обе стороны бетонки, по которой катит автобус, каменные корпуса. Вразброс. Между ними деревья, кустарник, трава. Копны успевшего побуреть сена.

— А сено съедобное?

Вскоре спохватываюсь, что не стоило бы смущать подобной вездливостью Валерия Михайловича — так назвал себя наш сопровождающий, но он уверенно обходит «риф»:

— Начинку для изделий готовим не мы, ею занимаются на другой промплощадке.

Как будто та промплощадка на противоположной стороне земного шара. Впрочем, откуда ему знать, что накануне наше внимание невольно привлекла цепочка раскопов вдоль проезжей части одной из городских улиц, и простодушный прохожий пояснил: это гнездовища выкорчеванных тополей, листья которых незадолго перед тем в одночасье омертвела и стала опадать.

Тем временем прибываем к месту назначения — к торцу похожего на ангар здания, возле которого нас поджидает улыбчивый человек с шапкой седеющих волос.

— Леонид Михайлович, — представился он нам, сопровождая свои слова приглашающим жестом.

На «ангаре» — ни вывески, ни таблички, голая кирпичная (правда, побеленная) стена, невзрачный вход. За порогом — маящая неизвестность сумрачного коридора, но его таинственная даль не про нас. Леонид Михайлович ведет группу сначала в гардероб, что в полуметре от входа, а после этого в ма-

ленький зал, расположенный по другую сторону коридора. В зале, сразу от подножия крошечной сцены, поднимаются в виде амфитеатра ряды мягких, обитых красным сукном кресел. Рядов пятнадцать, не больше.

Все это фиксируется совершенно произвольно, внимание до предела обострено в ожидании встречи с вершинным творением человеческого интеллекта. К нему, надо думать, и нацелен проход в глубине зала, слева от амфитеатра.

Леонид Михайлович между тем приглашает располагаться в креслах, а сам подсаживается к столу, установленному на сцене. Незавидный такой столик с не прикрытым ничем канцелярским обличьем, а на нем — на отсвечивающей желтым лаком столешнице — две бомбы. Не настоящие, конечно, а модели, копирующие внешность, и уменьшенные до размеров молочных бутылок. Они отлиты из стеклопластика, и внутри каждой — четко обозначившиеся силуэты плоского ключа.

— Подлинники, доставлены с места испытаний, — поясняет Леонид Михайлович, демонстрируя нам ключи. — Этот привел в действие атомную бомбу — первую из всей серии, а тому выпало произвести запуск первого водородного изделия.

Неожиданно из-за спины у меня доносится самонадеянное:

— О чем вы говорите, какие ключи? Там же все делается с помощью кнопок.

Леонид Михайлович согласно кивает седеющей копной:

— Правильно, кнопки действительно существуют, но... — Оглядывается, ищет кого-то глазами. — Но лучше пусть вас ознакомит с подробностями непосредственный участник испытаний водородной «пятидесятки»...

У Леонида Петровича до обидного заурядный облик провинциального бухгалтера, вышагнувшего на финишную прямую к заслуженной пенсии. Он категорически не совпадает по своим атрибутам с моими представлениями о создателях столь грозного оружия; с трудом принуждаю себя вслушаться в негромкий, чуть простуженный голос:

— Кнопки? Да, есть кнопки, и у них исключительно ответственная роль. Только ни одна из кнопок не сработает до той минуты — вернее, секунды, — пока специально назначенный человек не повернет в специальном замке специального ключа, изготовленного в единственном экземпляре. Выполнившие свою задачу экземпляры и замурованы здесь.

После деликатного ликбеза начинается неторопливое и до предела приземленное, без каких-либо красок и эмоций, повествование о том, как проходило испытание «изделия», несущего в себе пятьдесят мегатонн (от греч. «мегас» — «большой») взрывного потенциала, а если без грекомании — пятьдесят миллионов тонн тротилового эквивалента. Звуковая волна в тот день обогнула земной шар пять раз, а сейсмические конвульсии утихли только после седьмого витка.

— И тогда всем стало ясно, — облегченно вздыхает «бухгалтер», словно освобождаясь от давнего груза, — стало ясно и тогдашнему руководству страны, и всем нам, ученым, что проведение испытаний «сотки» будет равнозначно самоубийству.

— А мы увидим ее сегодня, вашу «сотку»? — спускает с торозов общее нетерпение представитель новосибирской делегации, один из генераторов форума, Юрий

Александрович Ведерников.

Вместо ответа оба Леонида приглашающе вскидывают руки, вся группа устремляется к угаданному мною проходу.

Глазам открывается довольно просторный павильон, явно не предназначенный для музея, но экспонаты рассредоточились тут без толкотни, не наступая один другому «на пятки». По стенам — застекленные стеллажи с разнообразными деталями на полках (для непосвященного они, увы, безмолвствуют), а остальное пространство отдано образцам боеголовок, атомных бомб, одной из модификаций ракет из предназначенных для запуска с борта подводных лодок, а у дальней стены, торцом к ней, — он, экспонат номер один, именуемый в здешнем обиходе «соткой».

Нечто из того же серого, с зеленоватым отливом металла, напоминающее бесхитростными, предельно экономными очертаниями... Нет, не подберу для сравнения подходящий образ, пусть будет так, как увиделось: уложенное на подставки цилиндрическое тело около двух примерно метров в диаметре и около шести метров в длину. Задний торец прикрыт чем-то наподобие задраенного люка, передняя часть заканчивается довольно крутым заострением, которое, в свою очередь, выносит вперед этакий «поросычий пятчок» полуметрового размера. Из него острятся два мечеподобных «бивня», расположенных, как у носорога, один над другим. Только в противоположность носорогу здесь длиннее не нижний, а, наоборот, верхний — он почти с мою руку (не удержался, примерился).

К заглавному экспонату стекается вся группа — оглядывают, оглаживают. Только что на зуб не пробуют.

Нащупываю в кармане ключ от

гостиничного номера, стучу металлом по металлу — по гладкой, словно отшлифованной, обшивке. Звук вязкий, бескрылый, бомба не хочет отпускать его от себя, будто он может сделать вмятинами ее сокровенности. Повторяю удар — отзыв не меняется, но теперь мне удается опознать его: он такой, как если бы то была болванка большой гири.

Но ведь передо мной, осеняет меня, и есть гиря, тридцатитонная гиря, которой, по велению Судьбы, выпало уравновесить чашу весов в гигантском противостоянии двух полушарий единой планеты, обеспечить тот самый ядерный паритет.

Кладу на обшивку ладонь — нет, прохладная поверхность металла абсолютно безмолвна, как безмолвны до времени утрамбованные под нею испепеляющие вихри. Мысленно снимаю шляпу перед таинством интеллекта российских «бухгалтеров», воплощенного в тридцатитонном сгустке звездной материи.

Второй вывод из услышанного на конференции (и после нее): наука и техника сегодняшнего уровня располагают возможностью предотвратить с помощью ракетно-ядерных средств столкновения с Землей опасных космических объектов (ОКО).

Фактор времени

«06.02.90 г., исх. № 403,

г. Новосибирск, Сибирское отделение Академии наук СССР, Вычислительный центр, академику А. С. Алексееву.

Уважаемый Анатолий Семенович, в МИД СССР внимательно изучено Ваше предложение о проекте «космической охраны» Земли. Вопрос, который Вы поднимаете, представляется актуальным на

международном уровне, что позволило бы конкретнее определить масштабы проблемы, пути и способы ее решения...»

И дальше, после ряда дипломатических пассажей:

«МИД СССР не может в настоящее время высказать свое окончательное суждение относительно использования стратегических баллистических ракет для разрушения небесных тел или изменения их траектории, не обсудив в принципе и не достигнув соответствующей договоренности на этот счет с США, с которыми мы ведем переговоры о сокращении СНВ. Не говоря о технической стороне дела, это крупная международно-правовая проблема...»

Подписано: В. Карпов, заместитель министра иностранных дел. Наверное, нет особой необходимости комментировать казенную бумагу, прошу лишь обратить внимание на дату ее рождения: вон еще в какую доисторическую эпоху были сделаны в Новосибирске первые шаги в направлении нынешней конференции, вон когда началась «космическая осада» ведомств, от которых зависит, смогут ли наполниться попутным ветром паруса, поднятые учеными.

Но осада осадой, а одновременно с этим в план первоочередных исследований Новосибирского Вычислительного центра включается тема, которая среди давно накаланных здесь научных направлений воспринимается подобно тропинке, прорубаемой в непролазных таежных дебрях. Тем более что они, эти дебри, не на земной поверхности, а в космической необъятности.

«Астероидная опасность и защита Земли от космических объектов» — так был обозначен направляющий вектор нового научного поиска. И не как руководитель института, а по долгу ученого (и во-

преки ухмылкам скептиков) возглавил этот поиск академик Алексеев. Возглавил и тут же занялся поиском единомышленников и соратников: подключились исследователи из Института вычислительных технологий, Института прикладной физики, Института теоретической и прикладной механики, а также геологи (не удивляйтесь!) из Казахской опытно-методической экспедиции, обеспечившие картографирование «звездных шрамов».

Но вернемся к упомянутой «космической осаде» — она велась не только по эту, но и по ту сторону океана. В США, например, непривычные для слуха землян слова о космической охране планеты впервые прозвучали на одном из национальных симпозиумов еще в 1981 году. Прозвучали, но, как и у нас, не были услышаны. И, что примечательно, довод у тех, кто не пожелал услышать, был один к одному: «Не говоря о технической стороне дела, это крупная международно-правовая проблема». В результате осада приняла затяжной характер. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что в разработанной под эгидой ЮНЕСКО Международной программе по ликвидации ущерба от стихийных бедствий (International Decade for natural Hazard Reduction) возможные последствия космических катаклизмов даже не упоминались.

Ученые с присущей им деликатностью охарактеризовали данное упущение как следствие заниженной оценки факторов космической непогоды, ну, а на житейском уровне это можно обозначить так: Бог не выдаст — свинья не съест! Между тем тревога, основанная на Знании, не позволяла — не могла позволить — спокойно спать людям, обладавшим Знанием. Ученые и специалисты Сибири и Ура-



**«Отец» американской
водородной бомбы
ЭДВАРД ТЕЛЛЕР.**

ла, Москвы и Питера, Киева и Алма-Аты. Аризоны и Лос-Аламоса объединили усилия, чтобы поднять шлагбаум на въезде в Снежинск.

...Вручая мне ключ от номера, администратор гостиницы сказала:

— Вам на четвертый этаж, комната четыреста семь, — и добавила, помолчав: — Соседнюю, четыреста пятую, занимает академик Алексеев.

Как было не воспользоваться

преимуществами «географического положения»!

Молодые искрящиеся глаза, наполненные мыслью, по-странному сочетаются с заиндевелой шевелюрой, а приветливость естественна, как дыхание.

— Как насчет пива? Говорят, рецепт местных умельцев.

Почему бы и нет? Пристраиваемся у столика, заваленного компьютерными распечатками материалов конференции, хозяин высвобождает уголок для стаканов из гостиничного реквизита. Начинается неторопливая беседа. Минута, вторая, третья... Через десяток минут обнаруживаю, что незаметно для себя втянут в орбиту научных интересов собеседника. Научных интересов и околонуучных тревог.

— Привез вот доклад — мы его втроем подготовили в нашем Вычислительном центре, — он посвящен возможностям дальнего обнаружения малых небесных тел, приближающихся к Земле, — тех самых ОКО...

— Дальнее обнаружение, — прошу я уточнить, — это какой же примерно временной запас?

— От нескольких десятков суток до нескольких месяцев, чтобы можно было успеть уточнить обстоятельства сближения и, если окажется необходимым, реализовать противодействие...

Стоп, стоп, стоп, притормаживаю мысленно нашу беседу, на задаче противодействия, на ее непростых аспектах следует остановиться подробнее.

— Насколько я знаю, возглавляемый вами Новосибирский Вычислительный центр утвержден в качестве головной организации по прогнозированию последствий столкновений с Землей космических тел. Но ведь одновременно необходимо прогнозировать и последствия отражающих ударов,

так называемый побочный эффект?

— Да, конечно, — согласно кивает академик, — оборотная сторона медали в данной ситуации имеет жизненно важное значение для землян, это учитывается во всех проработках. Только надо иметь в виду, что подробный прогноз возможен лишь при условии, что нам известен способ противодействия...

Как выясняется, сегодняшний уровень развития техники позволяет выбирать способы отражения космической атаки, и в каждом конкретном случае это будет определяться в зависимости от размеров приближающегося к нам объекта. Ученый берет стандартный лист бумаги, вычерчивает, захватывая добрых полстриц, окружность, пишет под ней: «3. шар». На свободной половине, на некотором удалении от круга, ставит точку, сопровождает ее обозначением: «До 100 м». Рядом рисует горошину, оснащенную подписью: «До 1 км и выше».

Последующий комментарий помогает уяснить, на чем строится расчет ученых: в случае, если перечник космического тела не будет превышать 100 метров (точка на рисунке), атаку целесообразно отразить посредством кинетического (с помощью болванки) удара — единичного либо в случае необходимости серии чередующихся ударов (с помощью болванок, выстроившихся цугом), ну, а более крупные астероиды (горошина) потребуют уже применения ядерного заряда.

— Каковы же параметры безопасности последствий ядерного воздействия на ОКО для самой Земли?

Прежде чем ответить, собеседник изображает на своем рисунке стрелу, нацеленную с «планеты» в сторону «астероида», проставля-

ет над стрелой две цифры: 25 и 464 000.

— Роль решающего фактора в этом случае будет играть расстояние, на котором залп с Земли достигнет пришельца. Математическое моделирование позволяет установить предел, ближе которого уже в какой-то мере будет опасно применять ядерную боеголовку: если принять за основу, что объект будет двигаться со средней скоростью 25 километров в секунду, допустимое расстояние до нас не должно быть меньше 464 тысяч километров. Округленно — около полумиллиона.

Упоминание о скорости невольно побуждает поинтересоваться этой стороной задачи, стоящей перед учеными. Оказывается, скорость движения астероидов неодинакова, она варьируется в пределах от 5 до 72 километров в секунду. Соответственно будет меняться и расстояние до точки координат, в которой потребуются нанести удар.

— Ну, а каков предел наших возможностей для нанесения удара? Предел в смысле расстояния от Земли?

— Сегодня — это около 5 миллионов километров. Поэтому особое значение придается поиску путей возможно более раннего выявления в безбрежности космоса нацеленных в нашу сторону тел.

Человек поднялся в развитии техники на уровень, позволяющий создать космический щит Земли. Но кому по силам взять на себя роль заказчика в столь масштабном мероприятии? Несомненно, грандиозный проект по плечу лишь всему мировому сообществу. И вопрос в лоб: как скоро мировое сообщество сможет мобилизоваться для этой цели?

— Фактор времени здесь, — убежден Анатолий Семенович, — имеет ключевое значение. Опас-

ность, о которой я говорил, коварна, ибо ее очевидность осознается немногими людьми. Суть же ее в том, что время работает против нас.

Слова «против нас» не означают, что речь идет лишь о представителях науки, время работает против ВСЕХ НАС, ибо высокие технологии, способные обеспечить ракетно-ядерную защиту от ОКО, подвержены, образно говоря, коррозии. И у нас, и на Западе. По определению специалистов, «срок годности» — два, максимум три года. Эта тревожная нота постоянно звучала и в зале заседаний, и в частных беседах на протяжении всей снежинской страды.

Третий вывод из услышанного на конференции (и после нее): не следует зарекаться от такой ситуации, когда мы, земляне, можем оказаться в положении, определяемом пословицей — видит око ОКО, да зуб неймет!

Руки

Сначала увидел их на посохе. Утром, перед началом второго дня конференции.

Невысокий сгорбленный старик в распахнутом пиджаке вышел на каменное крыльцо гостиницы, оплел свилеватыми руками такой же свилеватый посох-шест, достающий до нагрудного кармашка сорочки, и вскинул непокрытую седую голову к солнцу. Южный Урал расстарался — приберег к приезду невиданных гостей самый лакомый кусочек бабьего лета.

Массивное лицо с кустистыми бровями и выпуклым лбом разгладилось и обмякло, позволив себе короткую паузу бездумья. Все напряжение приняли на себя пальцы, обвязавшие посох, они напружинились и побелели, образовав что-то похожее на известный своей проч-

ностью морской узел. Было видно, как непросто этим рукам держать на себе груз восьмидесяти шести лет.

Тем временем старика обступили остальные семеро членов американской делегации, и один из них, рыжебородый здоровяк, подставил патриарху свой борцовский локоть. Вся группа двинулась в сторону здешнего Дома культуры.

В толпе, заполнившей крыльцо, пошелестело:

— Теллер... Сейчас его доклад.

...На «футбольном поле» сцены два сиротливых столика. Возле одного переводчица, за вторым сутулится докладчик. Между ними, привалившись бочком к столу хозяйина, неразлучный посох.

Перед докладчиком ни записей, ни блокнота, на голой столешнице одни руки с заплетенными пальцами. Лиджак расстегнут — похоже, это всегдашнее его состояние, яростно-красный галстук свободно свисает на колени. Из-за портьеры выходит председательствующий:

— Слово предоставляется господину Эдварду Теллеру, Ливерморская лаборатория имени Лоуренса, США.

История не знала такого, чтобы в цитадели российского военного могущества получил слово для выступления оружейник номер один Соединенных Штатов Америки! «Отец» их водородной бомбы.

На память приходит изречение Сенеки: «Жизнь ценится не за длину, а за содержание». Что же, Бог не обидел всемирно известного физика ни длиной жизни, ни ее содержанием.

Теллер расцепляет руки, притягивает поближе микрофон и, вновь сплетая в замысловатый узел пальцы, громко чеканит:

— I do not agree!

Переводчица доводит до нашего сведения текст (но не интона-

цию — интонация понятна без перевода):

— Я не согласен!..

Ничего себе начало! Но с чем же он не согласен? Выясняется: его не устраивает позиция, которую накануне изложил в своем выступлении профессор Аризонского университета Том Герлз. Однако у него, у Теллера, нет намерения сегодня на этом останавливаться подробно, он это сделает потом, а сейчас изложит общие замечания по поводу вероятности катастроф в результате столкновения астероидов и комет с Землей...

Хрипловатый баритон звучит четко, размеренно, с профессорски отработанной дикцией, при этом ученый не позволяет себе забывать о паузах, необходимых переводчице. Слушаю его со странным ощущением неоднозначности восприятия — тут переплелись и естественное преклонение, и остаточный синдром настороженности, наслоившейся за годы противостояния наших стран, и ревнивое сопоставление со своими корифеями ядерной «бухгалтерии».

Со сцены звучит:

— Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами Америки в данном проекте представляется в высшей степени желательным. Разумное сотрудничество может воспрепятствовать также и распространению оружия массового уничтожения...

Восьмидесять шесть, а он побросал в чемодан пару свежих сорочек, зубную щетку, электробритву и шагнул через океан, опираясь, нет, уже не на бомбу, а на посох, шагнул, махнув рукой на хвори, на ухмылки скептиков.

...Из числа «главных бухгалтеров» он один остался. Один на планету. Эй, кто там рядом, подставьте ему локоть на обратном пути через Атлантику!

Остров на берегу озера

Пытаюсь представить себе, как мне видится Снежинск из космоса, через окуляры шпионской оптики. Пожалуй, «вычислить» его самое простое по обрамлению: с одной стороны, тотчас за городской чертой, — сосновое заповедье, с противоположной — изумрудная подкова раздольного озера (больше двух десятков квадратных километров).

У нее чарующе-загадочное имя, у этой подковы, — Синара. И прозрачная зовущая глубина. Оттуда, из глубины, к ногам бесшумно крадется, пригнув седую голову, невысокая волна. За спиной у нее отчетливо просматриваются отшлифованные окатыши, устилающие пологое дно. Как, должно быть, приятно ступить на них босой ногой перед тем, как кинуться в объятия крадущихся волн.

В Снежинск нет прямого доступа, надо прежде добраться до Екатеринбурга либо Челябинска, а там перекантоваться на снежинский автобус. Наша новосибирская делегация припарковалась с поезда в Челябинске, где уже поджидали с автобусом две красавицы: Леночка пышноволосяя и Леночка с челкой. Первая оказалась директрисой парка культуры и отдыха («Утвердили в сей высокой должности перед вашим приездом»), подругу же мобилизовали в «гостеприемочную» бригаду с рабочего места оператора одного из цехов. («А что наш цех производит, вам все равно не понять, так что и не спрашивайте».)

Обе Леночки излучали искреннее радушие и всячески стремились скрасить двухчасовое путешествие. Позаимствовав у водителя микрофон, знакомили нас с историей края, простирившегося по обе стороны шоссе, а когда миновали шлагбаум, начался рассказ

о нем, родном и обожаемом, — последнее сквозило в каждом слове.

Город строился, а точнее сказать, встраивался в обуюму «ящиков», имевших однотипную производственную нацеленность: Арзамас-16, Красноярск-26, Челябинск-40, Томск-7. Он стал Челябинском-70. Отгороженный от внешнего мира колючей проволокой и шлагбаумом, город воспринимает себя в виде острова. Это невольно обратило на себя внимание еще в автобусе, когда Леночка с челкой, рассказывая о здешних ценах на продукты питания, вдруг произнесла:

— Ну, у вас там, на большой земле, соответственно больше и возможностей обустроить жизнь.

Острова эти, представлявшие собой до недавнего времени ядро оборонного потенциала страны, ядро и в прямом, резерфордском смысле, и в обобщающем, сегодня оказались на положении нищих, заполняющих переходы столичного метро: кто что подаст. Из-за невозможности своевременно оплатить счета периодически отключается электроэнергия, не подается тепло, отсутствуют деньги на зарплату.

В пути от Челябинска Леночки предоставили нам возможность полистать первый выпуск журнала с притягивающим названием — «Совершенно откровенно». Он знакомит с Красноярском-26, последующие номера предполагается посвятить остальным городам-побратимам. Конечно, на страницах выпуска приоткрывается в известной мере завеса секретности, однако шлюзы глубинной откровенности, обещаемой на обложке, еще не открылись.

Между тем из других источников известно, что в Красноярске-26, а правильнее сказать, ПОД ним, в земной толще, действуют цеха, где вырабатывается оружие.

ный плутоний-239. На выходе — бурый, невзрачного облика порошок, а путь к этому порошку долог и ухабист и на отдельных участках настолько опасен, что человеку, облаченному в специальную робу, не разрешается находиться вблизи технологической цепочки более пяти минут. И особенность процесса: работу реактора нельзя прерывать, иначе неминуем взрыв водорода. Допустимая пауза — не более шести часов, а уже фиксировались случаи отключения электротрансформации (все из-за той злосчастной неуплаты по счетам) на три часа. При этом всем известно, что потенциальная мощность взрыва составляет 350 миллионов кюри или, чтобы нагляднее, два с половиной Чернобыля.

Какие паузы подобного рода допускались в технологических цепочках на снежинских промплощадках, информации нет. И какие выбросы (или скажем мягче: утечки) тех самых кюри имели место, также неизвестно. Единственное, что наводит «тьфу на плетень», — это зияющие гнездовища выкорчеванных тополей.

Ну, а что приоткрылось в беседах со снежинцами? И с другими «островитянами», приехавшими на конференцию? Основная масса воспринимает «тополиные сбои» как неизбежную плату (будем надеяться, не очень высокую) за ограждение Родины от атомного шантажа, за ядерный паритет. Сегодня гнетет другое — невостремленность достигнутого, развал, демонтаж, неизвестность. Последнее — сильнее всего.

...А волны, пригнув седые головы, крадутся к ногам, приглашая разуться и постоять босыми ногами на отшлифованных окатышах в прозрачной глубине Синяры. Постоять, а потом зачерпнуть полные пригоршни и, не торопясь, с благодарным сердцем осушить их. И при

этом не терзаться мыслью, что родниковый нектар нуждается в дезактивации.

Послесловие

Приехал домой, развернул свежий номер «Известий» — сообщение агентства Рейтер:

«На самой большой планете Солнечной системы постепенно затягиваются следы от ударов кометных осколков. Размеры отдельных воронок сравнимы с размерами Земли. Однако не пройдет и двух лет, и Юпитер будет выглядеть как обычно. Таково мнение астрономов из Массачусетского технологического института (США)».

Предположений о том, как выглядела бы в случае подобного столкновения наша Земля, в сообщении не содержится.

Отечественные психологи пришли к однозначному выводу, что низкая усвояемость рекламной снэди, скармливаемой нам с телевизоров, объясняется «левополушарной» нацеленностью, упором на убеждение, на логику. Между тем, считают они, попадание в десятку будет обеспечено, стоит лишь подключить правое полушарие мозга телезрителей, полушарие, где сосредоточен могучий потенциал эмоций.

Не знаю, справедливо ли это в отношении рекламы, но что касается штормового предупреждения из Снежинска, убежден: оно заслуживает соответствующей реакции обоих полушарий человеческого мозга всех землян на обоих полушариях планеты.

СЕКС - дело тонкое, ребята!

Сразу предупредим: женщины могут этот материал не читать, поскольку разговор пойдет о сугубо мужских проблемах.

Прежде всего, положи руку на сердце, признаемся, что не найдется среди нас, мужчин, ни одного, кто бы хоть раз в жизни не потерпел фиаско в сексе. При этом многие убеждены, что они должны быть потентны всегда, при любой обстановке и по отношению к любой женщине. Но одно дело — наши желания, а другое — наши возможности. Как отмечают врачи, по меньшей мере каждый четвертый мужчина старше сорока лет замечает, что сексуальные ощущения теряют былую остроту. Стремясь вернуть утраченное, кто-то ищет молодую подругу. Это явление во врачебной практике имеет свое название — «демон полдня» (*demonium meridianum*). Как ни странно на первый взгляд, те, кого пленил этот «демон», стареют быстрее. А после периода игры во «вторую молодость» наступают быстрый надлом, импотенция.

Импотенция нередко отравляет жизнь и мужчинам «в самом соку». Говорят, половой слабости подвержено 80 процентов потенциальных сексуальных партнеров. Есть в этой интимной проблеме, как говорится, и другие «нюансы», но вот появилась возможность значительно повысить свой тонус и даже прослыть супермужчиной — благодаря препарату «Иохимбе», разработанному фирмой «Американские спортивные лаборатории».

Известно, что мужские половые железы вырабатывают гормоны, основной из них — тестостерон. Он не только напрямую влияет на потенцию, но и омолаживает организм. А что, если ввести тестостерон внутримышечно?

— Польза будет, но сиюминутная, — говорит вице-президент Лиги независимых ученых России, доктор медицинских наук Валерий Рево. — Тестостерон, привнесенный в организм извне, своего рода химический протез. Изнуренный организм, обновленный с помощью такого протеза, в дальнейшем может полностью блокировать собственное производство этого гормона.

Действие же «Иохимбе» принципиально иное. Эта пищевая добавка содержит порошок коры африканского дерева. Кстати, охотники племен, обитающих в районе, где растет это супердерево, славятся как суперлюбовники. «Иохимбе» стимулирует выработку тестостерона самим организмом. Мужчина чувствует себя так, как в 18—20 лет. Причем это относится не только к сексуальным желаниям, но также и к темпераменту в целом: появляются оптимизм, жизнелюбие, активность. Вот почему пищевая добавка «Иохимбе» необходима и тем, кто пока ни на что не жалуется; аккумулятору ведь не помешает периодическая энергетическая подзарядка.

Итак, вам хочется быть сильным, выносливым и любимым. Тогда советуем обратиться в Агентство «PR-квадрат», где есть абсолютно полная информация обо всех клинических исследованиях «Иохимбе» и других пищевых добавок. Вы ознакомитесь с пакетом документов, подтверждающих российскую и международную сертификацию, аттестатами и техническими отчетами, получите консультацию наших специалистов, прошедших стажировку в США.

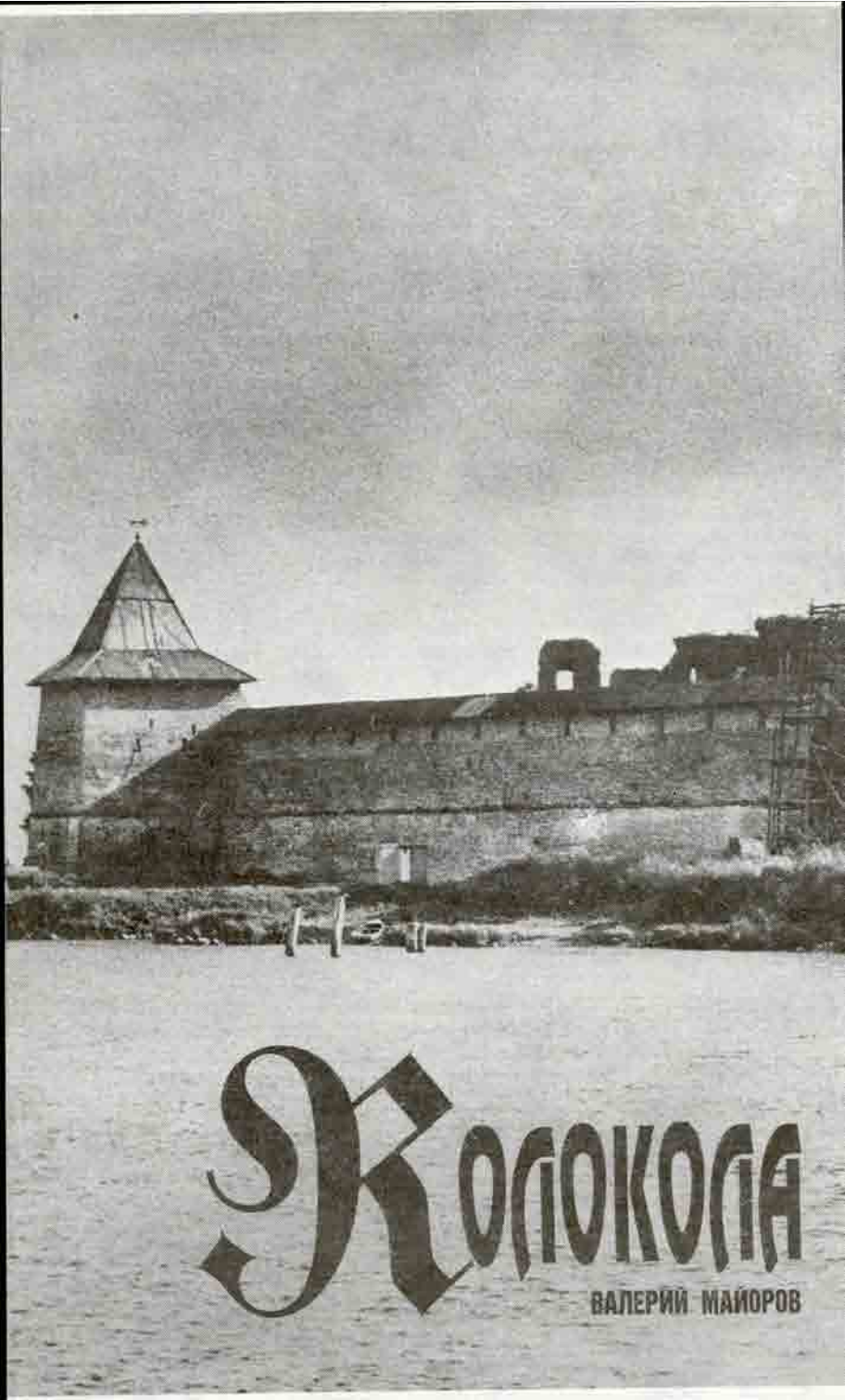
Адрес Агентства «PR-квадрат»: Москва, Кутузовский проспект, д. 22 (с 10 до 20 часов, без перерыва на обед и без выходных). Тел. (095) 421-66-51, 112-23-94, 140-01-05.

(В следующем номере «Смены» мы поместим информацию по пищевым добавкам и для мужчин, и для женщин.)

АНАТОЛИЙ СЕЛИВАНОВ

USA SPORTS LABS™





Колокола

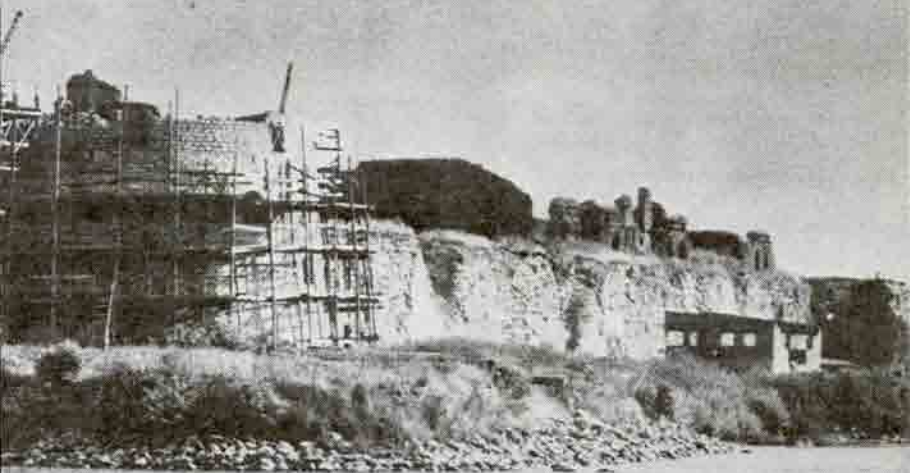
ВАЛЕРИЙ МАЙОРОВ

Шлиссельбургская крепость... Высокая стена со щелями-бойницами поверху. С левой стороны она завершается громадной в поперечнике башней, которая оттенком отличается от прочей кирпичной кладки. На вершине башни работают реставраторы.

— Это башня Головина, — говорит Римма Сытикова, научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга. — Она, как и многие другие строения кре-

пости, была разбита немецкими снарядами и бомбами.

Проход через воротную Государеву башню не сквозной, что обычно для крепостей, а изогнут под прямым углом. Такая инженерная хитрость древних россиян усиливала оборонные качества сооружения — башней нельзя овладеть, даже применяя таран. Вдобавок она была оснащена с внешней и внутренней сторон коваными решетками, опускавшимися сверху



Шлиссельбург

Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ

из каменных пазов. Ворвавшись сюда, неприятель оказывался в западне.

Ступив на крепостной двор, попадаешь в довольно обширное, но ограниченное толстыми стенами пространство, в котором на протяжении многих веков как бы пресовалась история нашего отечества.

«В лето 6831 ходиша новгородцы князем Юрьем и поставиша град на устье Невы на Ореховом острове» — это из старинной новгородской летописи. Если перевести дату на современное летосчисление, то получается: крепость на острове основана внуком Александра Невского, новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году. Остров издревле именовался Ореховым — был когда-то весь в зарослях лесного ореха, нынче более известного как фундук. Отсюда и название крепости — Орешек.

Та же летопись объясняет, что вольнолюбивым и предприимчивым новгородцам крепость понадобилась для того, чтобы удерживать за собой торговый выход к Финскому заливу. А в геополитическом (как сейчас бы сказали) масштабе — дабы исправно и безопасно действовал «путь из варяг в греки».

За этим выражением, вошедшим в бытовую оборот, скрывается, как должно знать со школьной скамьи, точная картографическая определенность. Лады с товарами из Варяжского (Балтийского) моря через Неву, Ладожское озеро, Волхов достигали озера Ильмень и реки Ловать. Оттуда их волоком тащили до верховьев Днепра (на нынешней Смоленщине), по которому суда направлялись в Черное море, к Царьграду.

После разгрома Александром Невским немецких крестоносцев на пути этом столкнулись интере-

сы Руси и Швеции. В самом начале XIV века шведы поставили в устье Охты крепость Ландскрона — на месте разгромленного ими русского рыбацкого поселка. Новгородцы тут же большой ратью двинулись к Ландскроне и ответно до основания порушили и пожгли ее. Следствием этой жестокой стычки и стала крепость Орешек. Любопытно, что в год основания ее был заключен примечательный в нашей истории договор, названный Ореховецким. Князь Юрий и шведский король Магнус Эриксон «заключили мир вечный и крест целовали».

«Мира вечного» не получилось. Спустя четверть века, после множества безуспешных попыток, шведам удалось на год овладеть Орешком. А спустя чуть более двух с половиной столетия, в мае 1612 года (на исходе смутного времени), завоевать ее на целых девяносто лет. Орешек стал Нотербургом. Что переводится, впрочем, как «ореховый город».

Окончательное возвращение крепости в российское лоно связано с Петром Великим. С боевыми кораблями, построенными под его началом в Архангельске, а затем волоком перетащенными через тайгу и карельские болота — белозерскими, каргопольскими, онежскими крестьянами и поморами — до Онежского озера, где уже была наготове целая лодочная флотилия. Отсюда корабли своим ходом, а лодки волоком через прорубленную просеку были переправлены в Ладогу...

11 октября 1702 года крепость вновь стала российской, в честь чего был произведен в Москве фейерверк и отчеканена наградная медаль. Петр повелел крепость и побережное поселение именовать отныне Шлиссельбургом. Что значит — ключ-город. Через семь месяцев государь-победи-

тель заложил Санкт-Петербург...

Всего сорок минут автобусной езды до Питера. Но здесь, в Шлиссельбурге, близость бывшей императорской столицы не очень-то ощущается. Нет вызывающе богатых офисов и витрин. Не увидишь «новых русских», вальяжно вылезавших из иномарок. Хотя есть здесь и иномарки, и коммерческие магазины, палатки. Есть и приезжий торговый люд, и новенькие щеголеватые особняки.

Но все это (во всяком случае, на взгляд приезжего из Москвы) не вырывается — хвастливо и откровенно показушно — из привычного естества города с 15-тысячным населением. Не мозолит, грубо говоря, глаза тем, кто живет не столь обеспеченно. Может, оттого и чувствуешь здесь большую, чем в крупных городах, открытость, доброжелательность людей.

Едва приехав в Шлиссельбург и направляясь в гостиницу, увидел я седобородого старика, который, отталкиваясь то одной, то другой ногой, лихо катил на неком сооружении, напоминающем одновременно санки и самокат. Длинные полозья впереди загнуты, как у коньков-снегурок. К полозьям приварено сделанное из арматуры то ли сиденье для ребенка, то ли полка-корзинка. Над всем этим поручень-руль, не без изящества точенный из дерева. Подумалось — какой-нибудь местный чудак-изобретатель. А на следующее утро глянул: чуть ли не каждая вторая бабушка, попадающаяся навстречу, именно при таком средстве передвижения. Старожилы потом рассказали, что эти санки-финки вошли здесь в моду со времени финской войны. По глубокому снегу на них не очень-то разбежишься. А по заледенелому тротуару или тем паче по льду передвигаться — одно удовольствие.

В недавние годы такие санки за бутылку мог сделать любой мужик с судостроительного. Сейчас не каждый возьмется, потому что нужные материалы под ногами не валяются. Да и оплата за работу совсем другая...

Издавна эти места заселялись крепкими и толковыми людьми. Строилась крепость Орешек, ставшая образцом оборонного зодчества. Ширились и посадские поселения. В крепости нес службу отряд ратников, затем стоял гарнизон (первым начальником которого, кстати, был Александр Данилович Меншиков). Земледельцы, ремесленники, торговые люди освоили Карельскую и Лопскую стороны — правый и левый берега Невы.

Ныне на правом — деревни Шереметьевка и Морозовка, слившиеся в одну, с пристанью и железнодорожной станцией (откуда электричкой можно доехать до Питера), с кирпичным заводом на месте бывшего порохового производства. На левом берегу — по диагонали, проходящей через крепость, — Шлиссельбург, о котором историки говорят, что он был типичным русским городом прежней поры, административным и военным центром округа. И даже когда крепость, вскоре после Петра, полностью утратила свое оборонное значение, а пушечные казематы превратились в тюремные, город продолжал развиваться.

Через него пролегал Староладожский канал, прорытый в обход Ладожского озера. Это упростило доступ к Шлиссельбургу для товаров из южных провинций России.

— Хорошо помню, как лодьи — длинные узкие суденышки — по каналу доходили до самого центра города. Это было уже в середине, даже ближе к концу пятидесятых годов, — рассказывал мне один из

старожилов Шлиссельбурга, Александр Иванович Феоктистов. — Особенно красочное зрелище, когда приходили ладьи с арбузами... Все жители шли к каналу.

Более двух столетий назад в городе была построена ситценабивная мануфактура. Она стала одной из самых именитых в дооктябрьской России.

В начале этого века, «вылупившись» из прежних механических мастерских, начал набирать силу Невский судостроительный. В довоенные и послевоенные годы он снабжал своими судами весь северо-запад страны, став в конце концов финансовым гегемоном бывшего уездного центра. А Шлиссельбург — как бы придатком к предприятию-монополисту. На его средства и в его интересах город строился и развивался, но зависел от воли руководства завода и Северо-Западного речного пароходства — даже день города отменялся в день речника.

— Раньше это казалось в порядке вещей, — говорит экономист Виталий Барболин, работающий ныне в городской администрации. — Но с началом реформ все круто изменилось. Причем для завода и для города весьма болезненно. Завод (ныне акционерное общество закрытого типа), производивший в последние годы высококлассные и дорогостоящие суда класса «река — море», в условиях «свободно плавающей экономики» оказался в труднейшей ситуации: из-за отсутствия заказов закрываются цеха. Предприятию стало не под силу содержать ведомственное жилье, садики, школы... Все передали в муниципальную собственность. От краха предприятие спас контрактный заказ из Германии.

С мэром Шлиссельбурга Светланой Юрковой (до этого была она главным специалистом судострои-

тельного завода по сварочным работам, кандидат технических наук) встретиться мне не довелось. Уехала в Москву на конференцию по проблемам местного самоуправления. Дело в том, что с 1992 года у Шлиссельбурга особый статус: город вышел из районного (с центром в близлежащем Кировске) подчинения. С областью отношения строятся на основе договорного разделения властных полномочий и функций.

Муниципальная власть теперь обладает полномочиями формировать бюджет, выделяя «наверх» из доходной части строго определенную долю. (Ранее отчисления города составляли 40 процентов районного бюджета. Шлиссельбургу же «спускалось» только пять процентов от него.)

— Наш город, — рассказывала вице-мэр Людмила Рагозина, — наряду с Обнинском, Дзержинском (что под Нижним Новгородом), Омском получил преимущественное право «по опережающему внедрению общих принципов местного самоуправления». Проще говоря, в Шлиссельбурге происходит возрождение уездного звена власти. Даже газета, которая недавно стала издаваться у нас, так и называется — «Шлиссельбургский уезд»...

В конце прошлого года был принят устав города. Разработан перспективный план его экономического и социального развития.

Я смотрел эти документы. Они не сулят «сияющих вершин», немногословны и конкретны. Дай Бог, как говорится, чтобы их удалось претворить в жизнь! Но городу нужна помощь. Нет, не денег, не ресурсов просит местная власть, а самостоятельности...

В Шлиссельбурге, например, много лет назад начали строить больницу. Стройка заморожена — у Министерства здравоохранения





Городской «пейзаж».

не хватает средств.

— Мы просили передать этот объект в муниципальную собственность. Москва молчит. А облздрав сам решить этот вопрос не может, — говорила мне Рагозина. — У мэрии пока нет достаточных финансов, чтоб закончить стройку, но мы будем искать их и, уверена, найдем! Многие сомневались: достанем ли средства для закупки шведских автобусов «вольво». Но ведь достали! Сумели привлечь коммерческие структуры и приобрели четыре машины... Создаем нынче автопредприятие, которое будет обслуживать трассу Шлиссельбург — Санкт-Петербург... Так и с больницей; она-то шлиссельбуржцам гораздо нужнее, чем министерству.

В развалины крепостного Ивановского собора вмонтирована композиция-памятник воинам, защищавшим крепость в Великую

Отечественную. С сентября сорок первого по январь сорок третьего здесь держал оборону небольшой гарнизон — пограничники, красноармейцы и моряки-балтийцы. Он охранял, в частности, «ледовую дорогу жизни». Немцы так и не смогли захватить город. Хотя саму крепость порушили основательно.

— Реконструкция началась в семидесятые годы, — рассказала мне Наталья Дементьева, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, в состав которого в качестве одного из филиалов входит и Шлиссельбургская крепость. — Но на это понадобится не одно десятилетие, тем более при сегодняшних экономических трудностях. Бюджетное финансирование — крохи. Правда, худо-бедно, в прошлом году на восстановление Орешка было выделено более полумиллиарда рублей и на эти деньги удалось сделать немало.

В отреставрированной Старой тюрьме (самой первой, построенной в XVIII веке) Нина Анатольевна Дьякова, заведующая отделом по эксплуатации музея, звякнув связкой ключей, открыла тяжело скрипнувшую дверь, ведущую в темноватую комнату с зарешеченным окном. Когда-то здесь было дежурное помещение для офицеров инвалидной команды, что несла внутреннюю охрану арестантов. Почти три столетия назад крепость стала превращаться в тюрьму для содержания особых узников. Воинская слава сменилась другой — мрачной и грозной.

Первыми арестантами стали члены царской семьи, претенденты на престол, царедворцы и вельможи, попавшие в высочайшую опалу. Сестра Петра Мария Алексеевна, его первая жена Евдокия Лопухина, князья братья Долгорукие и Дмитрий Голицын, престолонаследник Иоанн Антонович, баш-

кирский мулла Батырша Алеев, писатель Федор Кречетов, издатель и просветитель Николай Новиков...

Печален и долговат этот список. Его продолжили декабристы — братья Бестужевы, пушкинские друзья Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер, всего 17 человек... За ними появляется майор польской армии, организатор движения против царизма Валериан Лукасинский, проведший последние 38 (!) лет своей жизни в одиночном заточении, секретно скрывааемый даже от охранников. Здесь же сидел «народник» Михаил Бакунин, участник каракозовского заговора Николай Ишутин. Позже построили новое тюремное здание — специально для «народовольцев» — сорок одиночных камер. «Мрачных ящиков», как назвала их Вера Фигнер, которая двадцать лет провела тут.

Зашел в ее камеру. Железная

Стапеля Невского судостроительного...



откидная кровать, чем-то напоминающая корыто. К каркасу из толстого прута прикреплены наглухо решетки из металлических полос, на которую на ночь укладывался жидкий матрасик. Маленький стол. Рядом сиденье...

В витрине, стоящей в коридоре, арестантская одежда: длинная юбка и куртка из толстого грубого сукна уныло-серого цвета. В мужском варианте — безразмерные брюки из того же материала.

Над широким коридором — металлическая сетка, выше которой видны двери камер второго этажа, протянувшиеся по обе стороны вдоль узких переходов.

Тускло светят лампочки, едва выхватывая из темноты лица на музейных трафаретках — портреты бывших узников.

На год больше Веры Фигнер сидел Николай Морозов. В крепости он начинал свой знаменитый труд «Периодические системы построения элементов», который после освобождения принес ему ученую степень доктора химии (по настоянию самого Менделеева). Позже Морозов женился на генеральской дочке, дружил с Горьким, Короленко, Брюсовым, Репиным...

Другая загадочная и яркая личность среди «народовольцев» — Михаил Старорусский, сын потомственного священника из Старой Руссы (откуда и фамилия). Блистательный выпускник Петербургской духовной академии, перед которым открывалась большая карьера на церковном поприще. Каким-то неведомым образом он соединил в своей натуре глубокое истинное православие с революционными идеями, став участником покушения на императора Александра III, помазанника Божия на земле. По выходе из тюрьмы написал «Записки шлиссельбуржца» — книгу, переведенную на многие языки, ставшую знаменитой. Петр

Лесгафт пригласил его преподавать естественные науки в свою Вольную высшую школу.

Серго Орджоникидзе, отбывавший срок после событий 1905 года, писал в крепости стихи...

Но ее история знает и другое — иные не выдерживали тяжести одиночного заточения, ломались духовно, теряли рассудок, кончали жизнь самоубийством. Привозили сюда из Петропавловской крепости и «смертников», чтобы привести в исполнение приговор. В их числе был Иван Каляев...

А почти двадцатью годами раньше, в ночь на 5 мая 1887 года, привезли сюда пятерых, осужденных на смерть за убийство Александра III. У них мелькнула мысль, что казнь заменили каторгой. Но через три дня ночью их вывели из камер во дворик Старой тюрьмы. У стены стояла виселица с тремя петлями. Первыми к помосту повели Василия Генералова, Пахомия Андреюшкина, Василия Осипова. Когда их тела были уложены на землю, на эшафот ввели Петра Шевырева и Александра Ульянова.

Вскоре виселицу разобрали. На том месте, где она стояла, захоронили казненных, утоптав грунт, чтоб и следа не осталось.

Подведя к этому месту, Сытикова указала на массивную мемориальную доску, прикрепленную к крепостной стене, с выбитым в камне портретом старшего брата Ленина.

— Ее установили к столетнему юбилею Владимира Ильича. Но, как видите, только в честь одного из казненных...

Сейчас, по соседству с «ульяновской», в стену вмонтирована вторая доска с четырьмя фамилиями: восстановление подлинной истории тоже часть нашей истории.



Освящение Никольской церкви состоялось в Рождественский сочельник 1990 года. Вскоре на Пасху прошла первая после долгого перерыва служба.

Церковь выглядит необычно. Двухэтажное, непритязательной архитектуры здание с небольшим куполом посередине четырехскатной крыши.

Еще более необычен внутренний вид. Сначала идешь коридором, минуя несколько дверей по сторонам и вход на лестничный пролет, ведущий наверх. Потом попадаешь в широкое, длинное, с пяти окнами по каждую сторону, помещение с невысоким побеленным потолком. На столиках и подставках вдоль стен — иконы, храмовая атрибутика.

В глубине помещения, за алтарем и подобием царских врат, угадывается пространство, уходящее вверх (то ли его искусная, игрой света созданная, имитация...). В довершение ко всему необычный для церквей пол, покрытый линолеумом.

Ясность внес дьякон церкви отец Алексей.

Оказалось, это здание было в свое время сооружено как пристройка к расположенному по соседству Благовещенскому собору (уменьшенной копии Санкт-Петербургского Петропавловского собора — того самого, в котором покоятся российские императоры). Потом, в начале века, когда число прихожан увеличилось, пристройку приспособили под церковь и освятили. Потолочное перекрытие было убрано. Пол выложили «демидовской плитой».

— Это бруски, выточенные из добывавшегося в этих местах камня, казавшегося мягким, когда ступаешь по нему, и бесшумным, — пояснил о. Алексей.

После октябрьского переворота священников выгнали. Сначала из

церкви. Потом из собора. А собор пустили под склад. «Демидовскую плиту» из церкви вывезли для строительных нужд. Сделали вновь потолок между этажами. Открыли ткацкую фабрику. (Потом вместе с музеем здесь размещалась и городская библиотека.)

— Сейчас возвращается все на круги своя, — говорит о. Алексей, — и то главное, что прежде всего стараниями самих прихожан, благодаря посильной помощи разных городских организаций и предприятий. У нас ведь, как у иных московских и петербургских храмов, нет богатых ктиторов (на церковном языке это значит примерно то же самое, что «спонсор» в нынешнем мирском обиходе. — В. М.). С радостью принимаем и малую помощь.

Большинство икон, утвари получено от горожан. Один из старожилов даже сберег серебряный на престольный крест. Возвращение этой реликвии было особенно радостным и памятным. Много труда вложила в настенные росписи и оформление художница Лариса Погодина.

Судостроительный завод предоставил материалы для сооружения солеи — возвышения для алтаря. Сам алтарь сделали заводские мастера. Другой завод, опытно-механический, прислал подъемный кран, чтобы поднять на крышу купол-луковицу. И все — безвозмездно.

Была середина дня, церковь пустовала между литургией и всенощной. Лишь две женщины — старая и молодая, — облаченные в черное, делали приборку. Да два парня, одетых цивильно, что-то мастерили за алтарем.

— Также ваши служащие? — спросил я о. Алексея.

— Нет. Это прихожане.

Познакомился с ними, Алексей

Казанин и Александр Добряков. Давнишние приятели. Нынче кооператоры-строители. Своих дел — выше макушки. Но не проходит недели, чтоб не выкроили часок-другой поработать в храме. Дядя одного из них, Александра, Константин Леонидович Шкляр, несмотря на возраст, работает на реконструкции крепости Орешек. Полвека назад он ее защищал. Был матросом-балтийцем.

— Все же именно такие, как они, будут определять дальнейшую жизнь, — сказал о. Алексей, кивком головы указывая на парней.

Отец и дед о. Алексея были священниками. По их пути пошел и старший брат Дмитрий. А сам Алексей, несмотря на то, что был верующим, стал инженером-электронщиком. «Вырос» до начальника вычислительного центра. Но несколько лет назад, хорошо зная вероучение и церковную службу, резко изменил свою жизнь...

Отец Алексей плотен, широк в кости; бросаются в глаза руки — мощные, как у каменотеса, с бугорками мозолей.

Когда возник вопрос о сооружении купола для церкви, дьякон сказал настоятелю о. Николаю:

— Я ее сделаю. Сумею...

Вытесал, обстругал и выгнул доски для каркаса. Собрал его. Тут прослышал об этих стараниях его друг, адвокат Валентин Скуратов. Приехал из Питера помогать. Споро вдвоем обшили каркас цинковым листом. Загрунтовали и покрасили. Крест установили.

Колокола пока поднимать некуда — соборная колокольня порушена, лестница на нее и перекрытия сгорели в давнюю пору. Собор освящен, но еще не действует. Нет денег на ремонт. И все же звонницу — хотя и временную пока — сделал. Из арматуры сварил че-

тырехгранный пирамидальный каркас. Над ним — шатровый навес; подвесили колокола — так прямо с земли они сейчас и звонят.

Их мелодичный звон вливается в окна неподалеку расположенного морского лицея, где учатся полтысячи мальчишек и девчонок из северо-западных областей страны.

Какими они вырастут?

Такими, как те, кто несколько лет назад «увел» из витрины крепостного музея кремневое ружье? Кто в Петропавловском соборе ухитрился стащить с крышки саркофага Александра III золоченые российские гербы?

Или похожими на тех, кто приходит помочь возрождению Никольской церкви?

Чтобы глянул старец в изумленьи,
разом
охватив крошечный день,
на свое поспешное творенье,
на дела и помыслы детей.

==

Черт не страшен. Да малюют
так, что оторопь берет...
Тот ворует, тот воюет,
ну, а тот — в глухую пьет.
Нечего
кивать на время,
на события пенять.
Между этими и теми
бесполезно выбирать.
Да и как прожить нам
— между,
накопить или сберечь,
и примеривать одежду
с неказистых чьих-то плеч?!

...Выключаю чертов «ящик»,
без меня доспорят пусть,
думая о настоящем,
будущему улыбкусь!
Где мы будем жить с тобою,
не ругая зеркала,
обогретье любовью,
той,
что прежде обожгла.

Жить без зависти и лести
Ныне, присно да и впредь...
Только бы достало чести
эту жизнь переболеть.

РЕКВИЕМ

Воздух с привкусом горечи. Вода с привкусом меда...
Выцветшее облако не оставляет следа,
Когда страну покидает четверть ее народа,
Она — будто истлевшая, падающая звезда.
Время по циферблату отсчитывает сумасшедший.
Секунды толкает по венам
густая, как деготь, кровь.

Кто это улыбается?
 или черт, проповедуя *Ангел, с небес сошедший,*
 смирение и любовь?!
 Уже затвор передернут,
 и дослан патрон в патронник.
 Теперь, дорогой, узнаем,
 кому и в чем повезет.
 А ты отвали отсюда
 — не надо нам посторонних,
 Не надо чертей и ангелов,
 когда меж смертными счет!
 Что делим — пространство и время?
 Сами порой не знаем.
 Но сладкая твердь приклада
 снимает заботы с плеч.
 А кто ворожит над картой,
 кто поднимает знамя,
 Кто молится, кто прокликает?..
 Об этом иная речь!
 А нам за минуту до боя,
 всего за мгновенье до смерти
 увидится вдруг в прицеле: не оставляя следа,
 летят лепестки ромашек
 — куда их уносит ветер?! —
 и падает, падает, падает
 утренняя звезда...

БОРИС РЯБУХИН

ПУРГА

Опять в России воеет волчий холод,
 Бесчинствует зловеющая пурга.
 По меди солнца бьет сполошный молот,
 И лунный серп косит снегов стога.
 Сквозило реки ледоставом вражьем.
 Раздетый донага простор сердит.
 И каждый сук культу бесстыже кажет.
 И заживо минувшее смердит.

С окраин по небу пожары лезут.
 Сквозняк сабанит в душу — ледяной.
 И жметя зверь к жилью, а люди — к лесу.
 И пахнет серой отчий дым курной.

==

Во тьме степной стихии
 Горят сполошные костры,
 И ветры носится лихие,
 И небо в ярости искрит.

*Мои осенние знамена
В кострах поверженно горит,
И хлещет лавой воспаленной
Тысячелетия закат.*

*И гибнут в пламени химеры
Моих кровотокающих лет.
И новую рождает веру
Тысячелетия рассвет.*

СЦЕНЫ ВРЕМЕНИ

*В паяца заgrimирован,
Играю сцены времен.
Сошедшим с небес покровом
Храним и, но не смирен.*

*Морщинится небо в кронах,
Седеет земля в снегах.
А мне бы — вешнего грома,
Чтоб вещей пыл не сникал.*

*Тепло по взорванным верстам
Развеяла круговерть.
А мне б замерзшие звезды
Дыханием отогреть...*

*Но, маски содрав слоями
С заграничного лица,
Разбойничьим изваяньем
Склонюсь к распятью отца.*



*Нагулялся я на воле допоздна
И к себе вернулся — дома не узнать:
Полям скошенным задумалась жена,
И метелью тяжело вздыхала мать.
На меня взглянул простором звездным сын —
И быстрее стал выцветать его портрет.
И пошли давно стоявшие часы —
И пробили пятьдесят минувших лет.*

В ТВЕРСКОЙ АЛЛЕЕ

*Заплечный ветер толкает в спину,
Сечет под горло дамоклов дождь.
С опавших крыльев годов не скину,
Ты новых взлетов напрасно ждешь.*

*Нелетный возраст! Синюшно небо.
И тромбом в кронах — рыбы гроздь.
В Тверской аллее вписаться мне бы —
Отточьем почек грядущих гроз.*

Психологи
считают:
седьмой
год
семейной
жизни —
самый
«взрывоопасный».

СЕДЬМОЙ ГОД

АЛЕКСАНДР ПЬЯНКОВ

36

В прошлом году, по весне, с четырнадцатого этажа типовой многоэтажки выбросился молодой мужчина: семейная жизнь довела.

Он лежал на асфальте в светлой рубашке и фирменных джинсах, один башмак — метрах в трех, нога голая, а лицо — красивое и спокойное.

Это как же плохо человеку было, если он в двадцать восемь жить отказался?..

Об этом случае мне рассказал приятель Дима. Дом, в котором живет он, как раз напротив того дома.

— Представляешь, приходит парень домой с работы, а его жена с любовником в чем мать родила на кухне водку пьет. Он вспылил, конечно, а жена на него ноль внимания. Только что не послала. Ну, бедняга пошел в спальню, распахнул окошко и сиганул вниз...

Дима знает подробности прыжка, поскольку работает в сфере милицейской — электромонтером во вневедомственной охране. Домашние сигнализации — это как раз его «вневедомство», он их и устанавливает, и обслуживает, и ремонтирует.

Я после того дикого случая спросил Димку по глупости: а ты, дескать, уверен, что сам однажды не сиганешь со своего восьмого? И нарвался на холодное и жесткое: «Уверен. Надо знать мою жену Марину».

Познакомились они в новогодний вечер. Были званы в гости к общему приятелю. Марина слегка опоздала. Вошла, когда гости уже сидели за столом.

— Димка как раз в это время снял очки. Посмотрел на меня так неуверенно, беспомощно, что я подумала: ну вот, один уже набрался, разглядеть меня пытается, но



Рисунок ВЯЧЕСЛАВА КАПРЕЛЬЯНЦА

не может, — смеется Марина.

А Дмитрий, водрузив очки на место, отчетливо увидел высокую, стройную, с длинными темными волосами девчонку. Взор ее был строгим, но это был именно взор.

Через два часа они сидели вдвоем поодаль от веселившейся компании и разговаривали обо всем на свете. Разговор сложился как-то сам собой — теплый и доверительный.

В тот первый вечер Дима узнал,

что у Марины есть маленькая дочка от уже распавшегося, неудачного брака. На следующий день он позвонил ей, и вечером они пошли в кино, на французскую комедию. Потом, бродя по родным московским улицам, рассказывали друг другу анекдоты. Но анекдоты казались все менее и менее смешными.

— Наконец она сказала: «Проводи меня домой, а то так и будем всю жизнь друг другу дурацкие

анекдоты рассказывать». Это «всю жизнь» было совершенно случайным; идиомой вроде «сто лет» или «бесконечно», — вспоминает Димка. — Но я зацепился за фразу...

Говорят, обжегшись на молоке, дуют и на воду. Кто знает, как сложились бы их отношения, если бы не свалившаяся беда — у Марины тяжело заболела мама.

Рафинированная московская девочка, единственная дочка в семье, прекрасно игравшая на пианино и учившаяся на первом курсе английского отделения иныза, в те трудные дни осознала — возле нее не просто веселый дружок, а друг настоящий, надежный.

Поначалу родители его упрекали: дома почти не бываешь. Они не верили, что это «всерьез и надолго», то есть навсегда. А для Димы стало смыслом жизни заботиться не только о выплакавшей все глаза Марине, но и о дочке ее Анжеле, и об умирающей Инне Васильевне.

Вместе с отцом своей будущей жены он думал обо всем — о лекарствах для больной, которые, кстати, помогали доставать его же родители; о молоке и кефире для маленькой; о том, чтобы Марине не пришлось бросить институт.

Мотался, куда необходимо, а поздним вечером рассказывал своим родным, что произошло за день. И те наконец все поняли.

...Они уже не могли обходиться друг без друга. Такое и называется, наверное, родством, любовью. Загс оказался логическим завершением небурного — без страстей и «сумасшествий», — но накрепко связавшего обоих романа.

— Я когда-то вычитал у Ницше, что хороший брак покоится на таланте к дружбе. Честно говоря, всегда исповедовал ненавязчивое отношение к браку: будет «бумага» — не будет, не имело значе-

ния. Но для Маринки, я понял тогда, и особенно для ее родителей было принципиально важно: или она разведенная женщина, или замужем... А талант к дружбе у нее гигантский! Сказать, что я ее тогда уже больше чем любил, — ничего не сказать. Сказать, что чувство это сегодня прошло, — взять грех на душу... Анжелка для меня — моя дочь.

И он отправляет сопротивляющуюся дочку разогревать молоко — она немного подкашливает.

— Диктатор, — смеется Марина и идет вслед за Анжелкой на кухню, подсвистывая на ходу устремившемуся за ней пуделю Джонни, существу весьма музыкальному и любопытному.

Мнение специалиста

— Привычно думать, что любовь — такой источник, в котором купаешься 24 часа в сутки, а если нет — значит, любовь прошла. Это вовсе не так. Если хотя бы неделю в месяц вы «говорите» — уже прекрасно, — говорит психолог, старший научный сотрудник НИИ «Центр семьи и детства» Александр Черников.

— Каждая молодая семья проходит через испытания, — продолжает он. — Абсолютно все проецируют на свою семейную жизнь отношения в родительском доме. Часто молодые люди подбирают себе партнера по качествам, либо присущим их родителям, либо прямо противоположным. Одно это порождает целый блок проблем... Психологи различают три фазы в выборе партнера. Первая — привлечение, где главенствуют такие факторы, как внешняя привлекательность, оценка избранника друзьями. Вторая — фаза достоинств; здесь во главу угла ставятся общие интересы, ценности, взгляды на жизнь, материальная обеспе-

ченность. И, наконец, ролевая фаза, где наибольшее значение имеют установки, взятые из родительской семьи.

Молодые люди, которые начинают жить вместе, очень скоро обнаруживают, что по-разному смотрят на вещи. В лучшем случае это касается мелких бытовых привычек. В худшем — основополагающих ценностей и правил жизни. Им трудно понять и принять, что другой человек — действительно другой человек, и всегда возникает желание переделать его «под себя». Эта грубая ошибка нередко приводит к распаду семьи. Если же люди до замужества достаточно долго живут вместе, а так бывает все чаще, они успевают «притереться» и понять — подходят они друг другу или нет.

В самом «брачном» возрасте, то есть в 18—25 лет, молодые ни финансово, ни эмоционально, как правило, еще незрелы. И когда молодожены живут на родительской территории, то границы их брака постоянно нарушаются ненужными «вторжениями». И это дестабилизирует семейные отношения.

Сразу после свадьбы молодожены стали жить у Марины — Инне Васильевне нужен был уход, и иного расклада в тот момент просто не могло быть.

Тесть помог Диме перейти на новую работу (ту самую вневедомственную охрану), где и платили побольше, и график был удобен — сутки через трое.

Вскоре ребятам повезло и с квартирой. (Получить ее бесплатно в наше время практически невозможно. Купить — никаких денег не хватит...) Отец Димы, проработавший на своем предприятии почти тридцать лет и давно ожидавший улучшения жилищных условий, наконец дождался от родного НИИ крохотной двухком-

натной квартирке в центре столицы. И отдал ее сыну. Двадцати квадратных метров полезной площади на троих молодым показалось мало, и они быстро поменяли престижный центр на большую двухкомнатную квартиру в хорошем спальном районе...

Марина устроилась в ближайшую школу, а Дима остался на прежней работе, которая дает возможность в свободные дни подхалтурить, то бишь заработать никогда не лишние деньги.

Приработок он находит, как правило, через знакомых. У кого-то приемник «полетел», у другого магнитофон «накрылся» — все несут не желающую работать технику в Димины «очень умелые ручки».

Впрочем, к заказам он относится выборочно. Делает что-то либо из большой симпатии к человеку, либо если ему самому интересно «покопаться»... В остальных случаях берется за ремонт только из-за крайней нужды. Тем более что малознакомые люди и обмануть могут, как уже несколько раз бывало.

Однажды подрядился кафелем ванную выложить. Деньги пообещали хорошие, но времени дали в обрез. Дима все сделал, а денег не получил. Шибко умные заказчики придрались к швам — здесь, мол, на полмиллиметра шире, чем там. (Я, к слову, видел, как выложена плитка в Диминой ванной, — качество отменное.) Тогда он, не промолвив ни слова, всю плитку обратно снял и аккуратненько сложил в уголок.

— Жалко работы, времени убитого, но надо же как-то учить чудаков. Если бы не приработок, прожить было бы просто нельзя, — делится со мной Дима. — В свое время институт не окончил, а теперь какой институт? Время не то. Да и нет его, времени. Зарплата

учительницы английского — вообще слезы, на начало года — 120 тысяч в месяц. Учителей английского столько, что найти учеников для индивидуальных занятий очень сложно. Марина и объявления развешивала по окрестным столбам да подъездам, и к знакомым, и к коллегам обращалась — толку мало. Разве что к концу учебного года озабоченные родители приводят своих беспечных чад подучить английский перед экзаменом. Но тут раз на раз не приходится. Поэтому я, как мужик, и должен обеспечивать семью. На основной работе больше 350 тысяч не получишь. Сотню-другую я всегда сверх того в дом принесу... 500 тысяч в месяц уходит на еду. Остальное — за квартиру, за телефон заплатить да какую-то мелочевку купить. Так что бывает то густо, то пусто. Если бы не Маринкин отец, который раз в квартал подкидывает сотню долларов, никаких серьезных покупок позволить себе не могли бы. А ведь мы почти не пьем, курим совсем немного, сам знаешь...

Да, знаю. Знаю, насколько гостеприимен этот дом. Знаю, что летом Марина с дочкой и собакой уезжает на родительскую дачу, где сначала сажает, а потом собирает фрукты-овощи, обеспечивая семью вареньями, компотами и соленьями на всю зиму. Это тоже подспорье.

Еще знаю, что за полтора года жизни в новой квартире появились хороший холодильник, маленький черно-белый телевизор — для кухни, чтобы хозяйке готовить было нескучно, небольшая стенка в прихожей и не новая, но очень приличная стенка в гостиной.

А недавно, скопив «отцовские баксы», Марине купили шубу!

— Конечно, мы не «нувориши», — говорит Марина, — но и не нищие.

Статистика

Согласно социологическому исследованию, проведенному НИИ семьи Министерства социальной защиты населения России при содействии Российского Фонда мира и ВЦИОМ, подавляющее большинство семей оценивают свое материальное положение на начало нынешнего года очень низко; по десятибалльной шкале это всего 4 балла, а если результаты перевести в пятибалльную — злополучная двойка.

Среди опрошенных — 42 процента молодых семей. Многие из них ставят своим доходам даже единицу. Но и положительная оценка своего благосостояния в этой группе встречается чаще, чем в других. Так что картина расслоения общества на богатых и бедных становится с каждым годом все отчетливее.

Впрочем, сегодняшней семье, как никогда, чужда житейская пассивность. Стало нормой работать на приусадебном участке, приторговывать, брать дополнительную работу.

Лишь 17,6 процента опрошенных не шевелят мозгами и не прикладывают рук для улучшения своей жизни. А в 17,3 процента семей вклад в бюджет вносят и дети, в основном 14—18-летние. Причем 5,2 процента детей работают систематически, а 12,1 процента — эпизодически.

Наверное, это все же лучше, чем болтаться без толку, пугая прохожих...

В этом доме никто ни на кого никогда не давит, не старается переделывать другого «под себя». Конечно, в их дом заглядывает и ревность, но, согласитесь, какая без этого молодая семья.

Впрочем, их ревность — скорее дань вековым традициям, нежели

что-то серьезное: Дима, считая, что «запретный плод сладок», не запрещает жене пофлиртовать и позаигрывать с кем-то из знакомых.

Уверен, что дальше легкого флирта дело никогда не пойдет.

Что же касается непонимания, которое нет-нет да и возникнет между ними, то выход ребята нашли самый простой и потому самый надежный. Если их взгляды в чем-то не сходятся и каждый думает, что прав именно он, спор прекращается, не начавшись, — не в их правилах навязывать друг другу свою точку зрения.

— Единственное, что меня выводит из себя, — говорит Дима, — это когда Маринка начинает психовать. У женщин гениальная способность делать из мухи слона и погружаться в безмерную депрессию. Раньше я ее утешал, потом пробовал не замечать, теперь «завожусь». Самое главное: о том, из-за чего изводилась три дня, завтра она уже не вспомнит. Я ей это сколько раз объяснял — не помогает.

— Зато ты бываешь слишком резким, прямолинейным, и это хорошо не для каждой ситуации, — пошла в контраступление Марина.

В ответ муж молча закурил сигарету, давая понять, что инцидент исчерпан.

Лично я никакого давления не выношу, и потому мне ужасно нравится, что приятель мой, если ему лень в данный момент что-то делать, может ничего и не делать. То же самое касается и Марины. Если же лень обоим — сидят, читают, телевизор смотрят да с собакой играют. И прекрасно знаю: что положено — все сделают — по вдохновению. А оно находит часто, потому и в доме всегда чистота и блеск, и все приборы и техника работают исправно.

Мнение специалиста (психолог А. Черников)

Каждая семья проходит еще через одну серьезную проблему — проблему власти.

Кто в доме хозяин? Как распределяются обязанности в семье? Делится ли власть между супругами или кто-то один узурпирует ее в своих руках? А может быть, оба уходят от ответственности, перекладывая эту тяжкую ношу друг другу на плечи?

Однажды я консультировал молодых супругов, которые постоянно ссорились из-за мелочей. Это продолжалось у них довольно долго, и в конце концов в этот непрекращающийся конфликт был втянут и ребенок. После разговора с ними я выяснил, что они попросту не могут разрешить проблему власти. Каждый из них хотел показать, что он умнее другого, лучше разбирается в каких-то вещах. Одним словом, каждый хотел самоутвердиться за счет своего партнера, даже не пытаясь щадить его самолюбие. После того, как они убедились, что спорить между собой бесперспективно, супруги начали вымещать недовольство друг другом на ребенке, выдвигая его на роль козла отпущения, тем более что к ребенку всегда можно придрасться.

Вот вам целая цепь причин дестабилизации отношений в молодой семье. Поэтому, может быть, и не стоит очень сильно торопиться с женитьбой или замужеством. Итальянский профессор психологии Антонио Менегетти вообще считает, что люди должны вступать в брак не ранее тридцати лет.

— Марина, — спрашиваю, — ты счастливая женщина?

— Счастливая. У меня есть подруги, которые так и не выбрались из ситуации, в которой когда-

то оказались, — ужасного, тяжело-го для женщины брака. А мне от Димки родить хочется, и, если бы полегче жилось материально, я бы ему нарожала много детишек. И воспитывала бы их, а из школы ушла бы: наглецов и хамов среди нынешних учеников стало ужасно много, и это противно. Не занимают родители своими чадами и не хотят заниматься — это я знаю как учительница...

Пыталась она однажды оставить школу, но завуч поставила условие: уйдешь — забирай дочь, переводи в ту школу, которая относится к вашему дому. Анжелка тогда училась во втором классе, и отпускать ее в школу «по принадлежности», через оживленную магистраль, Марине не хотелось. И она осталась...

Вы скажете: не семья, а прямо-таки лубочная картинка. В том-то и дело, что семья эта нормальная. Просто такие «глупые», по нынешним временам, понятия, как «дружба», «сочувствие» и «бескорыстная помощь», здесь еще не утратили смысл...

Недавно мы все вместе перевозили старинного Димкиного друга из комнаты в коммуналке в двухкомнатную квартиру в Лобне. Если кому-то надо помочь — Кузнецову только свистни. Что такое переезд — сами знаете. Вещи — вниз, в машину, вещи — вверх, из машины. Как принято, стол потом накрыли. А где Димка? А он по квартире среди коробок и тюков бродит, хозяйским взглядом стены осматривает, «Ты вот здесь прежде, чем обои клеить, малость подштукатурь. Дрель у тебя есть? Ладно, свою привезу, прикрутим твою баракло навечно». И ведь приехал через несколько дней в эту Лобню с дрелью: гвозди забивать, шурупы вкручивать. Хотя об этом его никто не просил.

Мнение специалиста

Рассказывает ведущий специалист Комитета по делам семьи и молодежи при правительстве Москвы Любовь Ивановна Ищук:

— В 1987 году в Москве было 350 тысяч молодых семей, с 1990-го по 1993-й, когда мы проводили последнее социологическое исследование, — 400 тысяч. Именно на молодую, то есть до 30-летнего возраста обоих супругов, семью приходится 80 процентов новорожденных. Самое большое количество браков заключается в возрасте от 20 до 24 лет. И рождаемость в таких браках самая высокая. Вторая по численности группа молодоженов — 25—29-летние.

Традиционная московская семья никогда не была многочисленной, но сейчас показатель наиболее низкий — 3,1 человека в семье. Вторые и третьи дети появляются редко. Думаю, что в первую очередь это зависит от материального положения молодой семьи...

Многие из тех, кого знаю, в совместной жизни (не решусь жизнь такую назвать семейной) в лучшем случае терпят друг друга, в худшем — уже в разводе. А есть и такие, как моя соседка снизу. Молодая, замужняя, вечно растрепанная и небрежно одетая, она день и ночь благим матом орет на своих детей.

Детей у нее ни много ни мало — трое. Так что ор и визг — не детский, а материнский — слышен всему дому с утра до вечера. Голоса мужа не слышно никогда...

Жалко мне его до ужаса: какая может быть любовь к истеричке? И какими вырастут дети в этой семье, где слова «гад» и «сволочь» по отношению к себе они слышат ежедневно — от матери! Тем более что, как помните, психологи утверждают: на свою семей-

ную жизнь дети проецируют семейную жизнь своих родителей. То-то семейки получатся в не столь уж отдаленном XXI веке!

Хотелось бы, чтобы психологи ошибались. Чтобы одинокие матери воспитывали хороших будущих мужей и жен. Чтобы у набитых дураков вырастали замечательные дети. Но, честное слово, больше всего мне хотелось бы, чтобы все молодые семьи были похожими на семью Кузнецовых.

По утрам Анжела поет. Поет про солнце, про скачущего вокруг нее черного пуделя Джонни, про папу и маму, которых она сейчас разбудит.

Звонкий голосок слышен в соседних квартирах. И там, не зная, как нынче принято, Анжелину семью, абсолютно верно догадываются, что это семья счастливая — в несчастливых дети не поют с утра...

Остается добавить: семье Кузнецовых пошел нынче седьмой год. Тот самый — «взрывоопасный». Но для Марины, Анжелы и Димы он такой же, как и предыдущие шесть, — наполнен любовью, заботами, бытом.

Словом, жизнью. Не книжной, не придуманной, а той, которой все мы живем.

От редакции. Этим материалом мы открываем новую рубрику «Семейные люди». Думается, бесхитростный рассказ об «обычной» московской семье Кузнецовых поможет вам пристальнее всмотреться в жизнь своей семьи, семей друзей, близких, знакомых... И задуматься: что мешает нормальному, счастливому течению жизни? Какие проблемы волнуют сегодня молодую (и не только!) семью и насколько решение проблем этих зависит от нас самих. А насколько — от государства.

Мы будем рады получить от вас письма-размышления на эту тему — для них всегда найдется место в новой рубрике.

В

«Чем грубее и проще в наше время народ, тем легче лукавым и неверующим вождям увлечь его куда угодно».

К. Леонтьев

Сергиев Посад попал я на Крещение. В неравном поединке с обильными снегами дворники отступили, и тротуары обозначились утрамбованными дорожками, падающими в грязную кашу перекрестков. Таксисты, ссылаясь на заносы, отказывались ехать к дальнему Гефсиманскому скиту, где погребен Константин Леонтьев.

Выходя из многолюдья вечерней службы Трапезного храма, я разговорился с семинаристом (духовная семинария рядышком), мы побродили, засматриваясь на кружение куполов, и на прощание, как бы в знак нечаянно возникшего духовного родства, семинарист посоветовал:

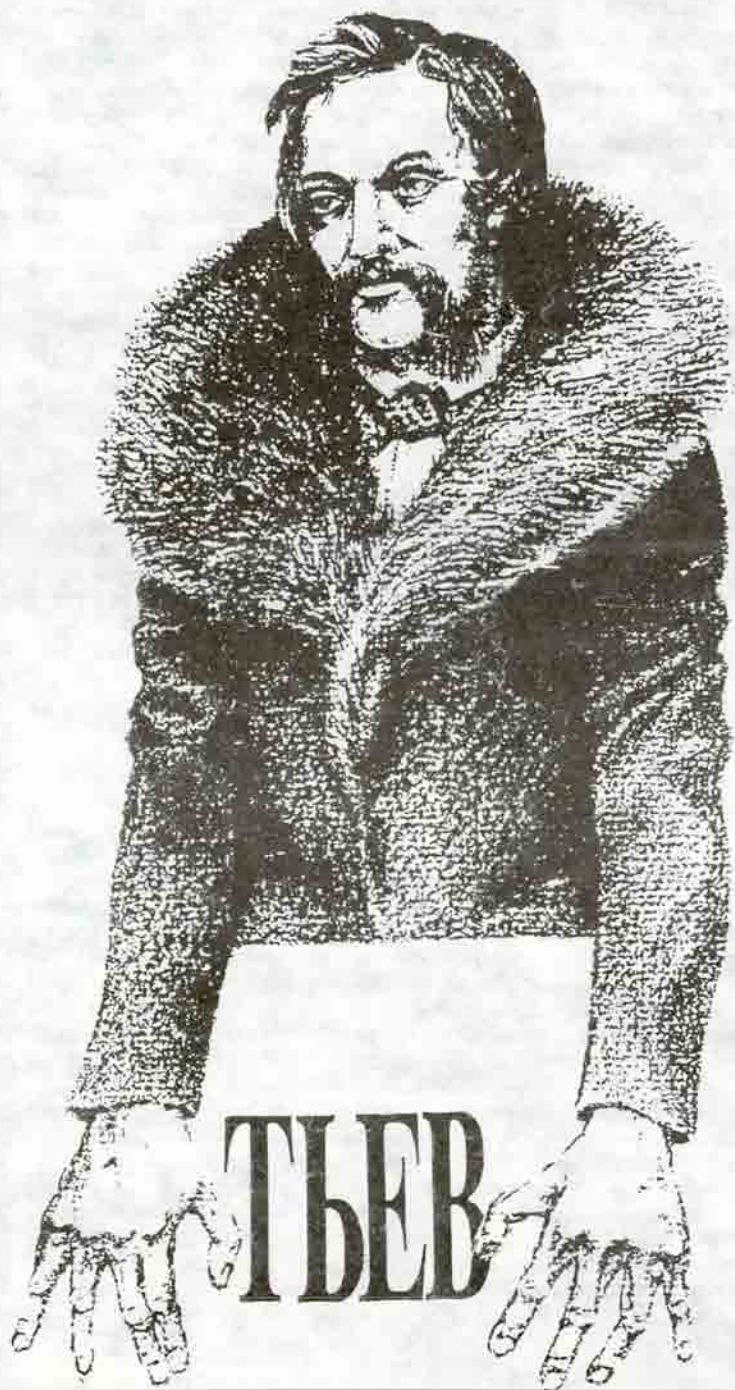
— Сходите завтра в Троицкий храм к пяти утра. Не полнитесь встать, такой службы вы не видели, будут только монахи. Ошалелая от раннего пробуждения горничная выпустила меня из гостиницы в студеную темень города.

В Троицком храме разгорались, пощелкивая, свечи. Живое пламя, вздрагивая на образах, вершило тайну возвращения в тот спасительный для Руси четырнадцатый век, когда здесь перед «Троицей» Андрея Рублева молился преподобный Сергей Радонежский. Только здесь ощутилось, как выжигает электрический свет тайну и благодать, скрытые в старых русских иконах; неспешная утренняя молитва, в которой ясно звучало каждое слово, плотное монашеское братство уводило от сиюминутности, лики притягивали и просветляли, сила их оставалась той же, что

НЕУСЛЫШАННЫЙ

АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ

ЛЕОН



Литография ЮРИЯ СЕЛИВЕРСТОВА

и во времена Дмитрия Донского, благословленного на битву отцом Сергием; точно так же стояли перед этим иконостасом русские монахи и сто, и шестьсот лет назад.

Минуло около часа, служба близилась к окончанию. Приоткрылась боковая дверь, и я невольно обратил взгляд на вошедшего монаха, красивого, молодежавшего, хотя ухоженная тургеневская борода его сверкнула серебром проседи. Мы встретились взглядами, он не по-монашески иронично улыбнулся, колеблющаяся тень спрятала его лицо, пламя свечи отразилось в пенсне, и в этот миг смены света и тени лицо монаха показалось мне знакомым, почудилось что это он, Константин Леонтьев.

Открыли раку святого Сергия Радонежского. Цепочка монахов потянулась на поклон и целование к нетленным мощам. Я рассеянно оглянулся, надеясь увидеть Леонтьева, но чудо не повторилось...

«Поверьте, не нужно быть «малосведущим», чтобы не знать меня. Не вы первый «открываете» меня, как Америку...» — это строки из письма Константина Леонтьева, обращенные к Василию Розанову, который пытался как-то объяснить, отчего современники просмотрели самого значительного, по его мнению, русского мыслителя. Причины тому Розанов нашел колдовские: Леонтьев слишком напряженно ждал признания своих идей, и если бы он вдруг забыл, заснул возможность славы, если бы ослабла сила душевного напряжения в эту сторону, то слава тут же явилась бы к нему. Природа любит покуражиться над человеком, и, если мы чего-то чрезмерно желаем, оно не исполняется, а как только желание ослабевает, результат приходит сам собой.

46 Похоже, что узнавание Константина Леонтьева наступило именно сейчас, на излете XX столетия, с того часа в ноябре 1991 года, когда в церкви Петербургской духовной академии отслужили молебен в память 100-летия со дня кончины монаха Климента, в миру Константина Николаевича Леонтьева. С тех пор, как в 1912 году вышло неполное, но все же девятитомное собрание художественных, философских, публицистических сочинений Леонтьева, не было такого зальпа публикаций его произведений, какой случился в последние два-три года. Всплеск интереса к Леонтьеву — в совпадении его размышлений, поисков нашим сегодняшним чувствам смятения перед шаткими идеалами, в угаданной им гибели государственной устойчивости, зыбкости национальной и личной судьбы.

Леонтьев первым проник в тайны всплесков жизни государств, культур, наций. Это он десятками исторических примеров обосновал, что у государств, как и у людей, есть возраст рождения, зрелости и смерти. Никому не дано избежать естественной старости, но неизбежность смерти люди могут собственными усилиями ускорить, и не всякие государства и культуры достигают отпущенного им тысячелетнего возраста. В XX веке много написано о цикличности культур, цивилизаций, но немногие при этом вспоминают о прозрениях Леонтьева. До октября 1917-го оставались еще десятилетия, а он уже предупреждал: «По мере возрастания равенства гражданского, юридического

и политического увеличивалось все больше и больше неравенство экономическое... Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен привести к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, вероятно, даже к новым формам личного рабства».

Среди тех, кто на Западе писал о русской философии, утвердился штамп о Леонтьеве как о русском Ницше. Совпадения между двумя мыслителями удивительны, но все-таки скорее Ницше следовало бы именовать немецким Леонтьевым, хотя бы потому, что знаменитый немец родился на тринадцать лет позднее русского философа. Впрочем, Леонтьев настолько неповторим, что не нуждается в поддерживающих аналогиях. Его предельная искренность обескураживает, подталкивает к осуждению, но стоит нам заглянуть в себя столь же честно, мы вынуждены будем восхититься глубиной леонтьевского проникновения в наши противоречия, в наши тайны тайн.

Это он создал стиль противоречивых исповеданий души, ставший столь распространенным в литературе XX столетия. Леонтьев — мыслитель, но он не имел охоты читать головоломные философские труды и тем более сам не стремился к созданию фундаментальных исследований. Его труды — дети вдохновенного порыва, поэтическая философская проза, самое сокровенное он сказал как бы проходя — в письмах, заметках, статьях по поводам сиюминутным, подчас политическим. Его называют импрессионистом, экспрессионистом, экзистенциалистом, слов таких в пору творчества Леонтьева еще не употребляли, но он действительно предугадал многое и в мучениях личного бытия, и в стилистике, и в извивах мировой истории, что другим открывалось только десятилетия спустя. Трагизм исторических катастроф терзал его больше, чем трагизм смерти отдельного человека. В прозе он изображал красивых людей на фоне величественной природы, а в страстных философских проповедях клеймил распад европейской культуры, неистово скорбел о надвигающемся либерально-революционном выборе России, который приведет к исчезновению ярких творческих личностей, ослаблению государственности, уравниению и усреднению в иллюзиях стремления к демократии, прогрессу, личной свободе.

«Однообразие лиц, учреждений, мод, городов и вообще культурных идеалов и форм распространяется все более и более, сводя всех и вся к одному весьма простому, среднему, так называемому «буржуазному» типу западного европейца, смешение ведет к разрушению и смерти (государств, культуры)...

Мы, русские, должны опасаться этого, должны страшиться, чтобы и нас история не увлекла на этот антикультурный и отвратительный путь, мы поэтому должны всячески стараться укреплять у себя внутреннюю дисциплину, если не хотим, чтобы события застали нас врасплох, что мы не обязаны, наконец, идти во всем за романо-германцами».

Все, в чем прекращалась пульсация красоты, энергия цветения, не вызывало в нем восхищения, повергало его в тоску. Примечателен в этом отношении очерк «Пасха на Афоне»

(1882 г.). Казалось бы, очерк для того и написан, чтобы нарисовать великолепие самого значимого для православия праздника. Вместо этого мы встречаем почти гнетущие ощущения от великого поста («Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы»), а подлинная радость и живописность появляются не столько в описаниях литургии, сколько от случайных впечатлений, связанных с албанцами («Странный народ! Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия, почти смешного, и самой коварной хитрости»).

Можно порой подумать, что Леонтьев не умеет надолго сосредоточиться на одном предмете, однако это не так. Последовательности и четкости его доказательств позавидует любая математик, но одно дело — последовательность в изложении идей и другое дело — описание мятежности, неутомности души. В пору хождений к старцам на Афон он пытался соединить, примирить лирику Лермонтова и Байрона с псалмами Давида, и даже в Оптиной пустыни, когда Леонтьев называл Байрона и Лермонтова поэтами-развратителями, не переставал их читать, в нем клокочет по-прежнему юношеское непостоянство, когда от святоотеческих книг он вновь бросается к лирике, политической публицистике, философии.

Как никто другой, мыслитель знал: русская интеллигенция, а вместе с ней и все, кто читает книги, слушает лекции, буйствует в дискуссиях, свернули с дороги цельной веры отцов, критицизм и нигилизм все более поглощали души. «Самих себя, Россию, власти, наши гражданские порядки, наши нравы мы (со времен Гоголя) неумолкаемо и омерзительно браним. Мы разучились хвалить; мы превзошли всех в желчном и болезненном самоуничижении, не имеющем ничего, заметим, общего с христианским смирением». Но читаем у него и другое: «Я верю, что в России будет пламенный поворот к православию, прочный и надолго. Я верю этому потому, что у русских душа болит».

В русской прозе этот мотив «душа болит» зазвонит во всей силе у Василия Шукшина. Леонтьев же почувствовал спасительную для русской культуры, для веры основу. Русские не смогут стать утилитаристами, не смогут жить только выгодой, наживой, сиюминутностью, ибо *душа болит*.

Всегда находились на Руси люди, в коих верх брали либо безудержная стихия языческого буйства, либо беззаветное следование святоотеческим преданиям. Константин Леонтьев удивительным образом проявил и силу языческих страстей, и светлое стремление к монастырю. Такое соединение противоречий высекало не искры, а пламя душевных терзаний, определило напряженные жизни, в которой было все: распутство, творчество, монашество.

Воспитанный в дворянской усадьбе Калужской губернии, где он каждодневно видел продуманно прекрасные покои с незабываемым выходом в сад, Константин рано стал ценить красоту и нетерпимо, брезгливо воспринимать мельчайшую неряшливость, а тем более уродство, дисгармонию. Сильное влияние матери, образованной женщины, сказалось в женственности, поэтичности сына, но это не помешало ему после окончания медицинского факульте-

та Московского университета отправиться в военные госпитали Крымской кампании. Потом — дипломатическая карьера. Она протекала на острове Крит, в Константинополе... Поначалу Леонтьев отдавался страстям, впечатлениям, тому, что он назвал эстетикой жизни. Восхищенно писал приятелям о красоте и темпераменте восточных женщин, не скрывал своих увлечений и похуждений, и в него влюблялись женщины, ибо он был по-мужски гармоничен: красивое лицо, аристократические манеры, обостренное чувство чести, побудившее его как-то ударить хлыстом французского консула.

Влюбленность в женщин — лишь одно из проявлений влюбленности Леонтьева в красоту мира. «Он не имел другого отношения к вещам и идеям, кроме влюбленного или ... негодующего и презирающего до степеней едва вообразимых, — отмечал Розанов. — Но судьба, — «почитателями» его сделались люди, не способные даже к кой-какой любвишке... Влюбляющий и влюбленный — так хочется назвать его, как собственным и исключительным именем».

Кроме любви, жил в душе Леонтьева еще и страх, ставший первым мощным толчком к религиозности. И здесь, равно как в увлеченности его женщинами, не было примитивизма, голый чувственности, и это, к счастью, оценили богословы, писавшие о христианском мировоззрении Леонтьева.

Летом 1871 года Леонтьев тяжело заболел. Профессиональный врач, он понимал трагизм ситуации — все симптомы холеры. Наступило ожидание смерти. И вдруг в одно мгновение вспыхнула вера в силу Божьей Матери, образ которой стоял перед ним в зашторенной комнате. Он обратился к ней с самой сердечной, горячей молитвой: «Мать Божия! Рано! Рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду в Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...»

Молитва была услышана. Леонтьев в тот же день выздоровел. Ему было отпущено еще ровно двадцать лет жизни для творчества, достойного его способностей, для спасения молитвами и покаянием. Не сразу созрел он для монашества, может быть, он так и остался бы около церковных стен, но духовный перелом наступил, и мысль о монастыре стучалась все настойчивее в сердце Леонтьева, и вовсе не случайно последние четыре года жизни он прожил в «консульском доме» Оптиной пустыни, а скончался в Сергиевом Посаде.

Путь русского народа от язычества к православию — это и путь Леонтьева, и оттого, что путь этот был сжат тугой пружиной, каждый шаг его жизни таил невыносимое напряжение. Он ждал от жизни чего-то несбыточного, верил в свой литературный гений, в свои провидения. Бывало, что он жаждал признания своих талантов, страдал от бесчувственности и недомыслия современников, но бывало, что успех у женщин радовал его больше, чем успех литературный; наступало время, когда он становился безраз-

личен и к тому, и к другому. Импульсивность, непостоянство, замешенные на романтизме, соединенные с элитарным скепсисом, как бы предвосхищают уmonoстроения поколения молодых конца XX столетия.

Как будто о сегодняшних бранных днях державинские строки:

*Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.*

«Река времен»... У талантливого нашего писателя Бориса Зайцева есть рассказ с таким названием. Удивительна связь между деталями этого рассказа, давшего наименование книге, и судьбой Леонтьева. Дело не только в том, что у героя рассказа, архимандрита, на стене висит портрет красавца Леонтьева, но в неслучайности совпадения названия рассказа с огромным романом Константина Леонтьева «Река времен», сотни страниц которого погубли в огне по воле их автора: он принес в жертву лучшее свое литературное создание, желая спасти душу от соблазнов, коими долго жил.

Русские доверяют сердцу, первому впечатлению, чувственному порыву. Оттого-то у нас высочайшая поэзия, но вечные проблемы при столкновении с практическими, рассудочными задачами. У нас и философия мало похожа на европейскую: художественные интуиции и образы врываются в тексты, страсть проповедника и публициста незаметно переходит в тончайший анализ с формулами-афоризмами. Какой бы предмет ни обсуждал русский мыслитель, всегда просвечивает неслучайность выбора темы, сердечная привязанность к предмету. Как Святой Владимир, плененный красотой православной литургии, совершил точный выбор истинно русской веры, точно так же эстетическое начало ведет почти всех наших философов, о чем бы они ни писали, о логике или морали.

Обостренное всех выразить эстетизм русского сознания удалось Леонтьеву, это ему часто ставят в вину, приписывая невнимание к типичным для русской литературы этическим сюжетам.

Подлинная нравственность, по убеждению Леонтьева, никогда не расходится с красотой. Беду русского сознания, представленную литературой критического реализма, он усматривал в принижении красоты русской жизни. Желание изобразить мерзости жизни уводит художника от культуры, приближает мрак бунтов, революций, распатывания красоты национального бытия.

Русские писатели слишком принижают русскую жизнь, в отличие, например, от французов, кои любят поднимать все собственное на каблук и ходули. «Сама жизнь лучше, чем наша литература. Все у наших писателей более или менее грубо: комизм, отношение к лицам; даже «Война и мир», произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе не нужных подробностей». Безусловным исключением из этого ряда, символом гармонии, меры был для Леонтьева лишь Пушкин.

Со своим первым литературным опытом юный Леонтьев не случайно обратился к Тургеневу, даже внешность великого писа-

теля имела для Леонтьева существенное значение: аристократизм, достоинство, красота Тургенева соответствовали образу подлинного писателя.

По чисто эстетическому неприятию внешних манер поведения, неряшливости того или иного человека Леонтьев мог навсегда отшатнуться от него. Константин Николаевич курил, но не любил, чтобы ему подносили спичку, не желая ненароком увидеть рядом грязные ногти. Он не стеснялся обидных слов, коль речь шла об убийстве красоты. Один сослуживец полюбопытствовал, что Леонтьев подразумевает под словом «хам», на что услышал такое разъяснение:

— Ну, вот вы, например, хам, потому что на вас не ряса и даже не кафтан, не поддевка, а европейский некрасивый кургузый пиджак. Разве вас художник захочет перенести на полотно? А какого-нибудь старого боярина, черногорца, грека в феске перенесет, и будет красиво.

Леонтьев не идеализировал спасительную миссию красоты, его эстетизм — это восхищение перед стихией вечной борьбы добра и зла, его никак не удовлетворила бы унылость абсолютной победы добра над злом. Отвергая кошмар революции, он способен был найти красоту в самом революционном порыве. Красота — в многообразии жизни, красиво все особенное, неповторимое, прекрасны самые острые противоречия действительности — оттого он одновременно мог стремиться к монашескому аскетизму, к молению о спасении души и вместе с тем бесконечно любить все земное. Никакое искусство не может создать той красоты, того великолепия, какие дает жизнь.

Красота — единство разнообразия. Цветение культуры — разнообразие, скрепляемое державным единством с уверенной властью, церковным авторитетом, сословным обществом. Понятно, что подобные представления о зрелости общества и культуры совсем не устраивали либерально-демократическую и революционную интеллигенцию, которая бредила идеями равенства, бессословности, демократических свобод. Пик цветения общества, государства, культуры приходится на эпоху средневековья, а вовсе не на желанное для прогрессистов время промышленного и научно-технического подъема. Для красоты цветущей сложности одинаково губительны и социализм, и капитализм, ибо один откровенно провозглашает социальное равенство, другой ведет к уравнительности потребностей, вкусов, ококультурных стандартов. Коммунистическое равенство рабов и буржуазное сползание в массовую культуру — это смешительное упрощение, свидетельствующее о разложении, гниении, старении органического целого.

*Демократическая конституция (высшая степень капитализма и какой-то вялой и бессильной подвижности) есть ведь ослабление центральной власти, а демократическая конституция теснейшим образом связана с эгалитарным (уравнительным. — А. К.) индивидуализмом, доведенным до конца. Она подкрадывается неожиданно. Сделайте у нас конституцию — капиталисты сейчас разрушат поземельную общину; разрушьте общину — быстрое расстройство доведет нас до окончательной либеральной

глупости — до палаты представителей, т. е. до господства банкиров, адвокатов и землевладельцев, как представителей такой недвижимости, которую очень легко обратить в движимость когда угодно, ни у кого не спросясь и нигде не встречая препятствий».

В гнущихся, деградирующих обществах, по наблюдению Леонтьева, меняется психология людей, гаснет энергия жизнедеятельности, падает, как говорил столетие спустя последователь Леонтьева Лев Гумилев, пассионарность. Империи гибнут при внешне благополучных условиях, при какой-то расслабленности властей и народа. Граждане Трира наслаждались в цирке, когда стены их города дрожали под ударами таранов, Гонорий испугался лишь за судьбу любимого петуха, узнав о падении Рима. Немало поводов проследить в связи с этим апатию правителей, всех сограждан, сопровождавшую разрушение недавней мощи России, почти всеобщее одобрительное улюлюканье по поводу краха последней Империи.

Схема развития любого государства, культуры такова: рождение и созревание (первичная простота); цветущая сложность; вторичное смесительное упрощение, то есть упадок, приближение к гибели. Национальные государства не жили дольше двенадцати веков, меньше жили, но предел возможного возраста не перешагнул никто, как и человек-долгожитель все-таки неминуемо умирает. Македония прожила 1170 лет, Византия — 1128, Римская империя — 1229.

Леонтьев чувствовал приближение грозы над Россией, хотя и знал, что ей еще далеко до исчерпания своего срока жизни. Возраст России он, как и впоследствии Л. Н. Гумилев, исчислял от Куликовской битвы, от года объединительной миссии Сергия Радонежского.

Писатель сердцем, художественной интуицией прозревает порой проблему, о коей философы еще не догадываются. Россия всемирно прославилась писательскими именами, но долго незамеченной оставалась важнейшая особенность русской школы философствования — вчувствование в предмет, отчего столь часто писатель и философ в России неразделимы. Рождение специфически русской философии с ее просветленной чувственностью отмечено в немалой степени как раз творчеством Леонтьева. Его мысли то и дело побуждают нас прибегать к вненаучным характеристикам: предугадал, предчувствовал, пророчески прозревал истину.

«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» — именно так назвал К. Леонтьев свой неоконченный труд, хотя написание его заняло двенадцать лет, то есть мыслитель многие годы был сосредоточен на идее, которая еще никак не беспокоила ни одного философа в самой Европе. В самом деле, никто из научно ориентированных философов в XIX веке не мог писать о массовой культуре, о конформизме, о стереотипах мышления, о пагубе интернационализации ценностей, о социальной психологии. Никто не писал об этом, кроме Леонтьева. Он даже термин «социальная психология» уже употреблял, он описал разрушительную силу массового сознания.

Сегодня, когда так часто бездумно рассуждают об общечеловеческих ценностях, нелишне повнимательнее прочесть предупреждающие фрагменты леонтьевских работ.

«Тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы ни казались они современникам хорошими, человечество постоянно жить не может».

Без национального своеобразия «можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией».

«Культура есть не что иное, как своеобразие, а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей, наций».

Европа не погибает еще как цивилизация с ее научно-техническими достижениями, но она гибнет в своем культурном своеобразии, она усредняется и превращается в некое европейское сообщество.

Леонтьев осуждал и порицал не Европу как таковую, а разлагающийся культурный потенциал Европы. Он восхищался культурой Европы средневековой, он и в России ценил тот период расцвета в XVIII столетии, когда западная культура благотворно повлияла на нашу жизнь. Это, безусловно, отличает его от славянофилов, настроенных подчас изоляционистски, но это роднит его с Пушкиным и Достоевским, которые также дорожили вершинными достижениями Запада.

Задолго до напумевшей книги Шпенглера «Закат Европы», Леонтьев установил диагноз болезни. Главная беда — обезличенность жизни при всех разговорах о личности, свободе, демократии, прогрессе. Нарастает однообразие, унификация, «бесцветная вода всемирного сознания». «Практику политического гражданского смешения Европа пережила, — писал Леонтьев в «Византизме и славянстве», — скоро, может быть, увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, окончательного упрощительного смешения!.. Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим!»

Всматриваясь в гибельные для России идеи, Леонтьев то и дело срывается почти на мольбу, уговаривая соотечественников остановиться, одуматься, противодействовать гниению, поразишему уже Европу.

Чтобы вразумить читателей, он не скупится на сравнения. Есть своеобразный дуб, сосна, яблоня, тополь, и вот в один прекрасный момент они вдруг стали бы жаловаться на ограниченность своего существования, на недостаток свободы, на сдерживающие вериги коры, на обременительность собственных цветов, листвы, плодов, им возжелалось бы стать неким среднестатистическим деревом, то есть просто деревом (просто людьми с общечеловеческими ценностями), без собственного цветения, без отличительных особенностей. Используя близкую ему медицинскую аналогию, Константин Леонтьев предостерегает: одинаковые организмы легче заражаются одинаковыми болезнями.

«Приемы эгалитарного прогресса сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных».

Нелегко было Леонтьеву найти единомышленников при жизни, нелегко ему достучаться и до наших современников, опыненных либо идеями социализма, либо рыночного процветания. Он обнажил шпагу перед самыми безусловными ценностями цивилизованного, но малокультурного мира: прогрессом, равенством, свободой, всеобщей образованностью. Потому-то он и оказался одиноким, непонятым, забытым.

Мир очевидностей, ходячих истин и предпочтений — это не леонтьевский мир. «В душе его было окно, откуда открывалась бесконечность», — писал Розанов. «Лишь один Леонтьев думал иначе, чем большая часть русских», — замечал Н. Бердяев. Подлинных провидцев редко и мало слушают, пока не нахлебаются собственного печального опыта. А опыт этот повлек нас поначалу к разрушению монархической власти и сословного общества, потом к мигающим во тьме огонькам коммунизма, а теперь — к демократии и индивидуализму. Именно оттого, что мы не исчерпали блужданий, о коих предупреждал Леонтьев, нам его трудно слушать, или, точнее, мы слышим в нем лишь то, что уже согласуется с почерпнутым нами опытом, с нашими готовыми мнениями.

54
Теперь мы, конечно же, с чувством интеллектуального превосходства по отношению к фанатикам социализма можем прокричать в прошлое: «Что же вы не слушали мудрого современника, который в десятках статей предупреждал — к какой беде катится Россия?!» Запоздалой мудрости не бывает, мудрость всегда преждевременна, глупость и заурядность — современны.

О перспективах социализма Леонтьев высказался безошибочно тогда, когда еще пребывал в младенчестве вождь мирового пролетариата. «Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя».

Единицы прочитали Леонтьева, и даже прочитавшие ненесли пророческую весть. Слушали других, вещавших о неизбежности социального прогресса, смене общественно-экономической формации, о равенстве и свободе. Теперь-то легче умничать, а на самом деле совершать не менее тяжкие ошибки, которые тоже провидел Леонтьев, но нашу близорукость осудит уже иные поколения. Нам же дана тонкая ниточка национально-

го спасения, и крепость ее станет возрастать, если не перестанем вчитываться и вдумываться в строки искренних и пронизательных русских мыслителей.

Попробуйте хотя бы сегодня заснуть не с мельтешением телевизионных картинок, не с короткими сиюминутными желаниями, а с мыслью Константина Леонтьева, обращенной к каждому из нас: «Все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству, — и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они падут — и человек станет абсолютно и впервые «свободен». Свободен, как атом трупа, который стал прахом».



*Православный
Свято-Тихоновский
Богословский
Институт*

Православный Свято-Тихоновский Богословский институт объявляет прием студентов на дневное и вечернее отделения следующих факультетов: богословско-пастырский, историко-филологический, педагогический, катехизаторский, церковных художеств и церковного пения.

Документы принимаются по адресу:
113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23б.
Телефон: (095) 231-67-84.





Гарви Гейтвуд распорядился, чтобы меня пропустили к нему, как только я приду, так что менее чем за четверть часа я пробрался мимо привратников, рассыльных и секретарей, заполнявших почти все пространство между парадной дверью корпорации «Лесоматериалы Гейтвуда» и личным служебным кабинетом ее президента. Просторный кабинет был сплошь отделан бронзой и красным деревом, удачно сочетающимися с зеленым плюшем. Посередине комнаты стоял огромный письменный стол, тоже из красного дерева.

Навалившись могучей грудью на стол, Гейтвуд с яростью обрушился на меня:

— Прошлой ночью была похищена моя дочь! Найдите этих

ДЭШИЛ ХЭММЕТТ

ШАНТАЖ Гейтвуда

бандитов, отдам все до последнего цента!

— Расскажите, что вам известно, — спокойноотреагировал я.

Но он не желал отвечать на вопросы, ему требовались результаты, так что у меня ушел битый час, чтобы выжать из него сведения, которые он мог бы выдать за пятнадцать минут.

Это был человек-гора, похожий на борца-тяжеловеса: более двухсот фунтов тугой красной плоти, царь — от макушки его круглой башки до носок башмаков двенадцатого размера, не меньше, не будь они изготовлены на заказ по мерке.

Он сделал свои миллионы, безжалостно устраняя каждого, кто стоял у него на пути, и гнев, кипевший в нем теперь, не смягчал его сердце, так что мне пришлось туго. Злодейский подбородок выпирал, как гранитный монолит, глаза налились

кровью; по всему чувствовалось, что он в прекрасном расположении духа. Похоже, что «Континентальное сыскное агентство» потеряет клиента, потому что я был полон решимости отказаться от заказа, если не получу необходимой информации.

Однако в конце концов я вытянул из него подробности.

Накануне вечером, приблизительно в семь часов, его дочь Одри сказала горничной, что пойдет прогуляться, ушла и не вернулась. Отец узнал о случившемся лишь из письма, доставленного сегодня утром.

В нем некто неизвестный сообщал, что девушка похищена, и требовал за ее освобождение пятьдесят тысяч долларов. При этом настаивал на том, чтобы Гейтвуд приготовил деньги в сотенных банкнотах во избежание промедлений при выплате выкупа. В подтверждение того, что все это не блеф, к письму прилагались локоны волос Одри, кольцо и ее собственноручная приписка, в которой она умоляла отца выполнить условия вымогателей.

Получив письмо в конторе, Гейтвуд тотчас же позвонил по телефону домой. Ему было сказано, что постель дочери так и осталась неразобранной минувшей ночью, и никто из прислуги не видел девушку с тех пор, как она вышла на прогулку. О происшествии Гейтвуд немедленно поставил в известность полицию, передав им письмо, а спустя несколько минут решил нанять вдобавок и частных детективов.

— Сейчас же беритесь за дело! — взревел он и при этом обмолвился, что понятия не имеет ни о привычках своей дочери, ни о ее приятелях. — Я плачу вам вовсе не за то, чтобы вы рассиживались здесь и чесали язык!

— А что вы намерены предпринять? — спросил я.

— Упрятать их за решетку! За ценой не постою!

— Безусловно, — согласился я. — Но сперва подготовьте пятьдесят тысяч долларов, чтобы отдать по первому же требованию.

— Никому ни разу в жизни не удалось заставить меня сделать подобную глупость! А теперь я слишком стар, чтобы начинать! — При этом Гейтвуд лягнул зубами и подался вперед, словно хотел меня укусить. — Все это чушь собачья!

— В таком случае ваша дочь может оказаться в пикантном положении. Так или иначе, это неверный ход. Пятьдесят тысяч для вас не слишком большая сумма, рискните ею, и мы получим хоть какие-то шансы. Во-первых, попробуем схватить того, кто придет за выкупом, или на худой конец проследить за ним. А во-вторых, как бы вымогатели ни осторожничали, Одри все равно что-нибудь расскажет, когда вернется, и это поможет нам их найти.

Гейтвуд сердито замотал головой. Я устал с ним препираться и ушел, не теряя надежды, что он осознает, насколько я прозорлив, пока не будет слишком поздно.

В резиденции Гейтвуда я побеседовал с дворецкими, помощниками дворецких, шоферами, поварами, горничными, служанками с нижнего этажа и служанками с верхнего этажа, короче говоря, опросил штат, достаточный для обслуживания гостиницы. То, что они поведали мне, сводилось к следующему.

Одри, перед тем, как исчезнуть, не разговаривала ни с кем по телефону, не получала ни телеграммы, ни записки с посылным, в общем, к ней не применялся ни один из испытанных приемов выманить из дома жертву, чтобы убить или похитить. Девушка сказала горничной, что вернется через час-другой, однако та не встревожилась, когда Одри не вернулась.

Одри была единственным ребенком у супругов Гейтвуд и после смерти матери жила предоставленная самой себе. С отцом они не находили общего языка, слишком уж схожи были их характеры, так что отец никогда и не знал, где его дочь. Она взяла за правило не ночевать дома, частенько даже не удосуживаясь обмолвиться хотя бы словечком, у кого из друзей собираются остаться.

Ей было девятнадцать, однако выглядела она на несколько лет старше. Худенькая, пяти футов и пяти дюймов ростом, бледная и очень нервная. С фотографий, которых я обнаружил множество, на меня смотрела угрюмая девица с большими голубыми глазами, маленьким носиком и острым подбородком. Волосы у Одри цвета каштана, очень густые и длинные. Ее нельзя было назвать красавицей, но на одном снимке она вышла очень даже милонидной.

Из дома Одри ушла в светлой твидовой юбке, жакете того же цвета от лондонского портного, темно-желтой шелковой блузке в темную полоску, коричневых шерстяных чулках и полуботинках на низком каблуке. На голове — простенькая фетровая шляпка мышиного цвета.

Я поднялся в ее комнаты — их было три на третьем этаже — и порылся в вещах. Мне удалось обнаружить кипу любопытных фотографий юношей, девиц и писем интимного характера, подписанных различными именами и прозвищами. Все адреса я переписал в свой блокнот.

Складывалось впечатление, что ни одна из принадлежащих Одри вещей к ее похищению никакого отношения не имеет. Но я все же надеялся найти адрес или имя человека, послужившего приманкой. Друзья девушки тоже могли поведать мне нечто полезное.

Я забежал в агентство, раздал фамилии и адреса незанятым сотрудникам и отправил их выяснять, что из этого можно извлечь. Затем связался по телефону с О'Гаром и Тодом, полицейскими агентами, работающими с этим делом, и договорился о встрече с ними в здании суда. Там к нам присоединился надзиратель за почтовыми отделениями Ласк, и сообщая мы принялись ломать головы. Мы изучили дело со всех сторон, но согласились лишь в том, что не следует предавать его огласке, пока девушка подвергается опасности.

Между тем полицейские детективы тщетно пытались найти общий язык с Гейтвудом. Он настаивал на немедленной публикации в прессе фотографии дочери и обещания щедрого вознаграждения за содействие в розыске. Конечно, он отчасти был прав: оповещение общественности — наиболее эффективный способ ускорить обнаружение преступника. Однако поступить так при сложившихся обстоятельствах было бы опрометчиво

и жестоко по отношению к Одри: ведь ее похитили наверняка не агнцы.

Я взглянул на их письмо Гейтвуду. Оно было написано печатными буквами карандашом на линованной бумаге, которая продается в любом магазине канцелярских принадлежностей. Конверт был самый обыкновенный, адрес написан также карандашом, а, судя по штемпелю, письмо опущено в Сан-Франциско 20 сентября вечером и в 9 часов уже погашено на почте. Именно в тот вечер Одри и похитили.

Письмо гласило следующее:

«Сэр! Ваша очаровательная дочь у нас, и мы оцениваем ее в 50 000 долларов. Немедленно подготовьте деньги в банкнотах по 100 долларов, дабы избежать проволоочки, когда мы сообщим вам, как их надлежит передать.

Позволим себе заверить вас, что вашей дочке не поздоровится, если вам взбредет в голову поступить не так, как будет указано, или же впутать в это дело полицию, или же выкинуть еще какое-нибудь дурацкое коленце.

Пятьдесят тысяч долларов — всего лишь малая толика украденного вами, пока мы страдали по вашей вине во Франции, и теперь мы получим с вас свое!

Тройка».

Послание весьма странное по целому ряду причин. Как правило, подобные письма пишут с нарочитыми ошибками и непременно стремятся направить подозрения по ложному следу. Не исключено, что в афере замешан отставной полицейский, но это не более чем одна из версий.

Имелся также и постскрипtum:

«Мы знаем кое-кого, кто купит ее даже после того, как мы с ней покончим, в том случае, если вы не проявите благоразумия».

Далее следовала приписка от похищенной, выведенная дрожащей рукой:

«Папочка! Умоляю, сделай, как они велят! Мне очень страшно. Одри».

Дверь в противоположном конце комнаты приоткрылась, и чья-то голова сообщила:

— О'Гар! Тод! Только что звонил Гейтвуд. Немедленно отправляйтесь к нему в контору!

Мы вчетвером пулей вылетели из здания суда и сели в полицейскую машину.

Когда не без труда пробились в кабинет Гейтвуда, он с безумным видом расхаживал от стола к двери и обратно. Лицо его покраснело от прилива крови, а в глазах сверкали огоньки ярости.

— Она только что позвонила мне! — прорычал он, заметив нас.

Не менее двух минут мы его успокаивали.

— Так вот, Одри позвонила мне, — продолжал он, отдышавшись, — и сказала: «Папочка, ну сделай же что-нибудь! Я этого больше не вынесу, они меня убьют!» Я спросил, знает ли она, где находится. Она ответила: «Нет, но отсюда видны вершины Твин-

Пикс. Здесь трое мужчин и женщина, и...» Потом я услышал, как выругался мужской голос, раздался звук, словно ее ударили, и аппарат умолк. Я позвонил на коммутатор и потребовал, чтобы установили, откуда мне звонили, но они не смогли! Это просто возмутительно, как работает связь! Мы им платим вполне достаточно, черт подери!

О'Гар почесал затылок и отвернулся от Гейтвуда.

— Твин-Пикс виден! — пробурчал он. — Да там сотни домов!

Между тем Гейтвуд оставил в покое телефонную компанию и принялся стучать по столу увесистым пресс-папье, пытаясь привлечь наше внимание.

— Так вы уже что-нибудь сделали? — вытаращился он на нас.

— А деньги вы приготовили? — в свою очередь спросил я.

— Нет! Я не позволю себя грабить!

Но было очевидно, что в его словах уже нет прежней самоуверенности и произнесены они скорее по привычке: поговорив по телефону с дочерью, он утратил былой кураж и задумался наконец-то об ее безопасности.

Еще несколько минут Гейтвуд вяло сопротивлялся, но в конце концов послал клерка за деньгами.

После этого мы разделили поле деятельности: Том с несколькими помощниками должен прочесать район, прилегающий к Твин-Пикс. Уверенности в успехе операции у нас не было, поскольку площадь зоны поиска оказалась слишком велика.

Ласку и О'Гару предстояло аккуратно пометить банкноты, доставленные клерком из банка, и следовать за Гейтвудом, не привлекая внимания, на максимально близком расстоянии. Я же оставался в доме Гейтвуда.

Похитители настаивали на том, чтобы Гейтвуд немедленно подготовил деньги, дабы лишить его возможности связаться с кем-нибудь или обдумать контрдействия. Сразу же по получении сигнала Гейтвуд должен был отнести деньги в указанное место.

Когда же девушка будет в безопасности, Гейтвуд должен по нашему настоянию передать прессе все подробности происшествия и пообещать награду в десять тысяч долларов за поимку шантажистов: таким образом мы надеялись привлечь к розыскам преступников общественность и вернуть выкуп, не ставя под угрозу жизнь Одри.

Полиция всех близлежащих городов была уже оповещена о случившемся еще до телефонного звонка похищенной, не оставляющего сомнений в том, что она где-то в Сан-Франциско.

В этот вечер в резиденции Гейтвуда ничего не произошло. Гарви Гейтвуд рано вернулся домой, отобедал и отправился в библиотеку, где до самой ночи пил виски и рассказывал по комнате, каждые несколько минут требуя от нас, сыщиков, не сидеть, словно истуканы, а что-то делать. О'Гар, Ласк и Тод дежурили на улице, не спуская глаз с дома и подходов к нему.

В полночь Гейтвуд отправился спать. Я отверг предложенную мне кровать и предпочел улечься в библиотеке на кушетке, подтащив ее к телефонному аппарату.

В половине третьего ночи раздался звонок. Я поднял трубку

и стал слушать, как Гейтвуд разговаривает с кем-то, лежа в постели.

— Гейтвуд? — спросил отрывистый и решительный мужской голос.

— Да.

— Деньги готовы?

— Да.— Гейтвуд говорил невнятно и хрипло, можно было представить, что у него в душе все кипит.

— Вот и славненько,— похвалил нахальный голос.— Завернешь денюжата в газету и пойдешь к Клей-стрит по той стороне, где твой особняк. Не торопись, но и не останавливайся. Если не будет хвостов, к тебе подойдут возле порта. Положишь сверток на тротуар, повернешься и пойдешь назад. Если только деньги не мечены и все обойдется, тогда получишь спустя часок-другой свою девчонку. Но заруби у себя на носу: начнешь дергаться — пожалеешь. Все понял?

Гейтвуд промычал что-то в ответ, что было воспринято как знак согласия, и телефон смолк, издав напоследок громкий щелчок. Я не стал терять времени на проверку, откуда звонили — конечно же, из уличной кабины,— и крикнул что было сил:

— Эй, Гейтвуд! Делайте, как вам сказано, и без глупостей!

Затем выскочил в предрассветную мглу разыскивать своих помощников.

К детективам из полиции и почтовому надзирателю к этому времени присоединились два филера, в их распоряжении были два автомобиля. Я обрисовал им ситуацию, и мы составили план действий.

О'Гару и Тоду, каждому — на своей машине, предстояло незаметно сопроводить Гейтвуда по параллельным Клей-стрит улицам, первому — по Сакраменто-стрит, второму — по Вашингтон-стрит. При этом им следовало обгонять Гейтвуда и останавливаться на каждом перекрестке, проверяя, пересек ли он его.

Если вдруг Гейтвуд в разумный промежуток времени не пересекает перекресток, тогда оба сыщика выезжают на Клей-стрит и действуют по своему усмотрению в зависимости от обстановки.

Ласк должен был брести несколько впереди Гейтвуда по другой стороне улицы, прикинувшись пьяным.

Мне выпало идти следом за Гейтвудом с одним из филеров. Второй должен бежать в участок за подкреплением, надежды на которое, впрочем, было мало, поскольку оно наверняка замешкается и не сможет нас быстро найти на Сити-стрит, где, по нашим прикидкам, и должна состояться передача денег. Но нужно было рисковать, ибо предвидеть все, что может случиться до утра, мы не могли.

Схватить на месте явившегося за выкупом мы не решались, опасаясь за жизнь заложницы: судя по телефонному разговору Одри с отцом, похитители намерены жестоко расправиться с ней, если заметят грубую слежку.

Едва мы все обговорили, как из дома, одетый в тяжелое пальто, вывалился Гейтвуд и побрел по улице.

Впереди него, почти незаметный в сумерках, тащился, что-то бормоча себе под нос, прикидывающийся подгулявшим пьян-

чужкой Ласк. Больше на улице не было ни души, поэтому мне следовало выждать, пока Гейтвуд удалится хотя бы на два дома вперед, иначе тот, кто придет за деньгами, мог бы меня заметить. Один из филеров шел следом за мной по другой стороне Клей-стрит.

Когда мы прошли два квартала, впереди показался коренастый мужчина в котелке. Он прошел мимо Гейтвуда, мимо меня и пошел дальше.

Еще три квартала.

Нас обогнал большой черный легковой автомобиль с мощным мотором и занавесками на окнах. Возможно, разведчик, подумал я и, не вынимая руки из кармана пальто, записал на листе блокнота номер.

Еще три квартала.

Мимо нас прошел полицейский, даже не подозревая, какая опасная игра ведется под самым его носом. Такси промчало одинокого пассажира, я записал номер машины.

Ласк исчез из моего поля зрения, впереди маячила лишь фигура Гейтвуда.

Вдруг из темного подъезда прямо на него вывалился какой-то тип, повернулся и крикнул в окно, чтобы ему отперли дверь.

Внезапно, откуда ни возьмись, в пятидесяти шагах от Гейтвуда появилась женщина. Обтерев лицо носовым платком, она словно бы нечаянно уронила его на мостовую.

Гейтвуд замер как вкопанный, и я заметил, что его правая рука, сжимавшая в кармане пистолет, поползла вверх, увлекая за собой полу пальто. С полминуты он стоял как истукан, наконец резким движением левой руки извлек из кармана тугой сверток с деньгами и швырнул его на тротуар себе под ноги, после чего повернулся и зашагал назад.

Подхватив с проезжей части платок, женщина столь же проворно подняла с тротуара сверток с банкнотами и нырнула в близлежащий темный переулок. Вскоре ее высокая сутулая фигура слилась с темнотой.

Слегка замедлив шаг, когда Гейтвуд замер при виде женщины, я отстал от него примерно на квартал и, едва сообщница похитителей исчезла, припустился бежать следом за ней, не жалея резиновых подошв своих ботинок.

Когда я вбежал в переулок, он был пуст.

Переулок тянулся до перекрестка со следующей улицей, но я догадался, что женщина не могла успеть достичь его конца раньше, чем я добежал до начала, потому что при всей своей грузности пробежать в хорошем темпе один-два квартала я еще способен. Выходящие в переулок двери черных ходов безучастно глядели на меня, не желая раскрывать тайну.

Подоспел висевший у меня на хвосте филер, потом подъехали на машинах О'Гар и Тод, а вскоре появился Ласк. О'Гар и Тод отправились прочесывать соседние улицы, Ласк и филер заняли наблюдательные посты на перекрестках. Я исследовал переулок в надежде обнаружить незапертую дверь, раскрытое окно или любой другой след таинственной дамы, столь поспешно исчезнувшей с деньгами.

Ничего!

Вскоре вернулись О'Гар с подоспевшим подкреплением и Гейтвуд.

— Опять все к черту запороли! — неистовствовал Гейтвуд. — Да я гроша ломаного не заплачу вашей конторе и позабочусь, чтобы некоторые горе-детективы снова напялили мундиры и топали по улицам!

— Как эта женщина выглядела? — спросил я.

— Почему мне знать! Я же понадеялся на вас! Сгорбленная старуха, лица за вуалью не разглядел. Вы-то куда смотрели, черт бы вас подрал?! Это просто безобразие!

Я с трудом успокоил его и повел домой, оставив место происшествия филерам, благо теперь их было уже человек пятнадцать — вполне достаточно, чтобы не пропустить ни одну тень.

По идее, девушка должна была сразу же, как только ее отпустят, направиться домой, и я хотел тотчас же допросить ее, чтобы не упустить шанс схватить похитителей, пока они не ушли далеко, — если только она будет в состоянии что-либо рассказать.

Дома Гейтвуд поднялся наверх и налег на виски, а я не спускал глаз с телефона и парадной двери. О'Гар и Тод звонили каждые полчаса и справлялись, нет ли вестей от похищенной.

В девять утра они вместе с Ласком прибыли в дом и сообщили, что женщина в черном на самом деле была переодетым мужчиной, который ловко исчез. Выяснилось это при следующих обстоятельствах.

В подъезде одного из стоящих в переулке многоквартирных домов им удалось обнаружить женскую юбку, пальто, шляпу и вуаль, все черного цвета. Опрашивая обитателей дома, они выяснили, что три дня тому назад там снял квартиру некий молодой человек по фамилии Лейтон.

Когда они вошли в квартиру, жильца в ней не оказалось. Кроме сигаретных окурков и пустой бутылки, никаких вещей, принадлежащих ему, в комнатах не было. Стало ясно, что квартира понадобилась Лейтону исключительно для осуществления задуманного им плана. Надев поверх своей собственной женскую одежду, злоумышленник вышел через черный ход, оставив дверь незапертой, на встречу с Гейтвудом. Затем бегом вернулся в дом, сбросил ставшее ненужным женское платье и скрылся через парадный подъезд, прежде чем мы успели оцепить квартал.

Судя по описанию, Лейтон был щуплым человечком лет тридцати, пяти футов и восьми-девяти дюймов ростом, с темными волосами и глазами. Одетый в коричневый костюм и бежевую фетровую шляпу, он производил приятное впечатление, как сообщили жильцы, видевшие его мельком один-два раза.

Оба детектива и почтовый надзиратель в один голос утверждали, что девушку никак не могли держать в этой квартире.

Прошел час, но похищенная **ТАК И НЕ ОБЪЯВИЛАСЬ**.

Гейтвуд окончательно утратил свой кураж и впал в прострацию, измученный неопределенностью. Виски ему уже не помогало, и он отодвинул от себя бутылку. Как бы ни был он мне лично неприятен, в то утро мне стало его жаль.

Я позвонил в агентство и получил кое-какие сведения от оперативников, разыскивавших приятелей Одри. Оказалось, что последней ее видела Эгнис Дэнджерфилд. Одри шла одна по Маркет-стрит, недалеко от Шестой улицы, между 8.15 и 8.45 вечером того же дня, когда ее похитили. Поговорить с ней подружка не смогла, поскольку Одри была слишком далеко.

Кроме этого, узнать ничего не удалось, разве только то, что Одри была буйной, испорченной девицей, весьма неразборчивой в выборе знакомых — как раз такого сорта легкомысленные молодые особы и попадались в лапы преступных шаяк.

Настал полдень. Девица не объявлялась. Мы связались с газетчиками и попросили дать сообщение о происшествии, добавив описание событий последних часов.

Гейтвуд раскис окончательно: уронив голову на руки, он обводил всех бессмысленным взором. Наконец спросил, обращаясь ко мне:

— Как вы думаете, почему она не возвращается?

У меня не нашлось мужества признаться, что теперь, когда деньги отданы, а Одри так и не появилась, у меня возникли определенные сомнения. Я лишь попытался успокоить убитого горем отца туманными обещаниями и поспешно покинул дом, торопясь проверить свои подозрения.

Поймав такси, я велел шоферу отвезти меня в район магазинов и обошел пять крупных универмагов, пытаясь узнать у продавцов в секциях женской одежды и обуви, не покупал ли в минувшие два дня мужчина, похожий на Лейтона, что-либо размера Одри Гейтвуд.

Потерпев неудачу, я поручил обход остальных близлежащих магазинов одному из сотрудников нашего агентства, а сам отправился на другую сторону залива прочесывать магазины Окленда.

На этот раз мне сразу же улыбнулась удача. Накануне мужчина, который вполне мог быть Лейтоном, покупал в этом магазине женскую одежду размера Одри, причем купил массу всяких вещей — от нижнего белья до пальто. Мало того, он попросил доставить покупки по оставленному им адресу на Четырнадцатую улицу для миссис Оффорд. Мне дьявольски везло!

Как я узнал из списка жильцов многоквартирного дома на Четырнадцатой улице, мистер и миссис Оффорд занимали квартиру номер 202 с отдельным входом.

Дверь мне открыла полная женщина в клетчатом домашнем халате. Прочитав в ее взгляде недоумение, я спросил:

— Не подскажете ли, где найти управляющего?

— Управляющий перед вами, — сказала она.

Я вручил ей свою визитную карточку и вошел внутрь парадного.

— Я из местного отделения «Североамериканской страховой компании», — повторил я вслух ложь, напечатанную на карточке. — Мы получили запрос относительно страховки мистера Оффорда. Не знаете случайно, с ним все в порядке? — Я состроил извиняющуюся мину человека, вынужденного исполнять не слишком значительную, но необходимую формальность.

— Страховка, говорите? Забавно! Ведь завтра он уезжает!

— Видите ли, точно не знаю, зачем понадобилась страховка, — не растерялся я. — Мы, инспектора, получаем лишь фамилии и адреса. Возможно, это интересует его работодателя, а может быть, решила навести справки фирма, в которой он хотел бы работать. Знаете, некоторые компании предпочитают подстраховаться на всякий случай.

— Насколько я знаю, мистер Оффорд — милый молодой человек. Но ведь он прожил здесь всего лишь неделю.

— В самом деле?

— Да. Они приехали сюда из Денвера, намеревались остаться, но дешёвый климат не подошел миссис Оффорд, поэтому они уезжают.

— Вы уверены, что они прибыли из Денвера?

— Во всяком случае, именно так они мне сказали.

— И сколько же человек живет в квартире?

— Двое, молодая супружеская чета.

— И какое они производят впечатление? — поинтересовался я, делая вид, что полностью полагаюсь на ее проницательность.

— Очень приличные молодые люди. Не шумят. Жаль, что они уезжают.

— Их часто не бывает дома?

— Признаться, не могу точно сказать. У них есть свои ключи, а поздно они не возвращаются.

— Всегда ли они приходили ночевать?

— Нет, затрудняюсь, — покачала она головой, смерив меня подозрительным взглядом.

— Их часто навещают?

— И этого я не знаю. Мистер Оффорд не похож на человека, у которого... — Она загнулась, испуганно закусив губу: с улицы почти бесшумно вошел мужчина в коричневом костюме и бежевой шляпе и стал молча подниматься по лестнице на второй этаж.

— О Господи! — прошептала она. — Надеюсь, он не слышал, что я говорю о нем. Это мистер Оффорд собственной персоной.

Я видел его только со спины, он меня — тоже, поэтому я не спускал с него глаз: если он слышал, что было упомянуто его имя, он непременно должен был хоть искоса взглянуть на меня, открывая дверь.

Он так и сделал.

Я сразу же узнал его, но не подал виду: это был известный по всему восточному побережью мошенник Куэйл по кличке Грош. В последний раз мы сталкивались с ним лет пять назад.

На его лице тоже не дрогнул ни один мускул, но и он явно узнал меня.

Дверь на втором этаже захлопнулась, я сказал:

— Пожалуй, поднимусь и побеседую с ним. — И стал подниматься по ступеням.

Осторожно подкравшись к двери квартиры 202, я прислушался. Ни звука. Обстоятельства не оставляли времени на раздумья, и я нажал на кнопку звонка.

Подобно клавишам пишущей машинки под пальцами опытной машинистки, один за другим резко прозвучали три выстрела, и в двери квартиры 202 на уровне груди образовались три пулевых отверстия.

Эти три пули наверняка застряли бы в моей туше, не обрети я еще много лет назад полезную привычку вставать сбоку от незнакомой двери, являясь без приглашения.

— Прекрати, детка! — резко приказал мужской голос. — Ради Бога, только не это!

В ответ пронзительный женский голос начал выкрикивать злобные оскорбления и ругательства, а следом еще две пули прошли дверь.

— Прекрати! Не смей! Нет! — Мужской голос зазвучал испуганно.

Женщина продолжала яростно ругаться, послышались звуки борьбы, грохнул еще один выстрел, но уже не в мою сторону. Я изо всей силы ударил по ручке замка, и дверь распахнулась.

Мужчина — это был Куэйл — и женщина лупили друг друга, упав на пол. Он выкручивал ей запястье, пытаясь отнять дымящийся пистолет, она норовила вырваться и встать. Я прыгнул и вырвал у нее оружие.

— Довольно, — сказал я. — Поднимайтесь и встречайте гостей.

Куэйл отпустил запястье противницы, и она тотчас же ударила его, целясь в глаз, но промахнулась и расцарапала щеку. Грош отполз от нее на четвереньках, и оба наконец встали на ноги.

Он плюхнулся на стул, тяжело сопя и вытирая кровь носовым платком.

Она встала, подбоченясь, посередине комнаты и фыркнула, вытаращившись на меня:

— Как я понимаю, вы предвкушаете большой скандал!

— Скандал вам устроит дома ваш папаша, — расхохотался я. — И хорошенько выпорот ремнем, если еще не потерял рассудок. Хорошенькую шутку вы с ним сыграли!

— Будь вы на моем месте, вы бы тоже пошли на что угодно, лишь бы раздобыть денег и начать жить своей жизнью! Никому не пожелаю таких унижений! Это тиран!

Я ничего на это не ответил, потому что худшее, что я мог ей сказать, было: «Яблоко от яблони недалеко падает». Учитывая приемчики, которые использовал Гарви Гейтвуд в делах, особенно при заключении военных контрактов, весьма заинтересовавших министерство юстиции, янисколько не сомневался, что Одри унаследовала все качества своего отца.

— Как же вы вышли на наш след? — вежливо поинтересовался Куэйл.

— Следов вы оставили предостаточно, — сказал я. — Во-первых, одна из подружек Одри случайно видела ее на Маркет-стрит в день ее исчезновения, между 8.15 и 8.45 вечера, а письмо, отправленное вами Гейтвуду, было погашено уже в 9 вечера. Вам не следовало так торопиться с отправкой. Она ведь опустила конверт в почтовый ящик по дороге сюда, не так ли?

Куэйл молча кивнул головой.

— Во-вторых, — продолжал я, — телефонный звонок. Ей ведь было известно, как трудно дозвониться до отца, когда он у себя в офисе, на это требуется 10—15 минут, не меньше. Если бы она на самом деле была захвачена и хотела сообщить о своем местонахождении, она бы не стала терять драгоценные секунды и рассказала бы все первому, кто поднял трубку, скорее всего телефонистке. Но она поступила иначе, значит, преследовала иную цель: направить поиск по ложному следу и сломать отцовское упрямство.

Когда после передачи выкупа Одри не объявилась, я смекнул, что она похитила саму себя. Вернись она домой, мы бы легко вывели ее на чистую воду. Одри это прекрасно понимала и предпочла не возвращаться.

В остальном же мне просто повезло. Обнаружив брошенную вами женскую одежду, мы поняли, что сообщник Одри — мужчина. Потом мне пришло в голову, что ей понадобится какая-то одежда на смену, ведь из дома она прихватить с собой ничего не могла. Идти самой в магазин было рискованно, можно было случайно встретиться с подружкой. Поэтому она послала вас. Но вы поленились лично доставить сюда вещи — либо их было слишком много — и оставили свой адрес. Круг замкнулся.

— Это было непростительным легкомыслием с моей стороны, — согласился со мной Куэйл. — И все из-за нее! Она накачалась опиумом, а я только и делал, что следил за ней, ведь от этой идиотки можно что угодно ожидать! Вот, например, только что пыталась угробить вас. Мало ей того, что провалилось все дело, подавай еще и труп!

Воссоединение Гейтвудов происходило в кабинете старшего инспектора на втором этаже оклендского муниципалитета. Это была довольно забавная сценка.

Больше часа никто не мог точно сказать, хватит ли папашу удар, задушит ли он свою дочь собственными руками или отправит в исправительное учреждение до ее совершеннолетия. В конце концов Одри взяла над ним верх. Она побила его своим главным козырем — пригрозила сдать его со всеми потрохами газетам. А по меньшей мере одна из газет Сан-Франциско уже давно охотилась за скальпом Гейтвуда.

Я не знаю, что ей было известно, и не уверен, что это знал и сам Гарви, но пока его махинации с военными поставками интересовали министерство юстиции, он не мог рисковать. А уж она-то наверняка исполнила бы свою угрозу.

Итак, они вместе укатили домой, кипя от взаимной ненависти.

Куэйла мы поместили пока в камеру, но при богатом опыте его вряд ли это сильно огорчило. Он прекрасно понимал, что если Одри не привлекут к ответственности, то и ему не так-то просто будет предъявить какие-то обвинения.

А я лично вздохнул с облегчением. Хлопотное попалося дельце.



*Ясно. Ветрено. Морозно.
Но, судьба, не обессудь:
продолжаю я тревожно
одинокий синий путь.*

*Где тот труд, чтоб жизнь горела,
где та песня, чтоб вела?
На душе они, и смело
бьют любви колокола.*

*Отвечают им сквозь ветры
сопки, наледи, ручьи
и, конечно, друг заветный,
чувства нежные твои.*

*Здесь, где насмерть замерзают
птицы прямо на лету,
они сердце согревают
крепче браги на спирту.*



*Все проходит, радость остается,
ну а с ней любовь и красота.
И восходит над землею солнце!
И пылает в небесах звезда!*

*Кто я в этой жизни, праздный зритель?
Нет, творец, желающий поднять
из разора злого Храм Спаситель,
и крещение, что любить, принять.*

*Скоро ли, а что, как не успею,
и расстанусь с жизнью, как изгой?
Сам отвечу, сил не пожалею,
только вот разделаюсь с бедой.*

*Знаю, у нее огромна сила,
ну, а стрелам просто нет числа.
Не один я, а за мной Россия —
свет благодаренья и тепла.*



Я чувствую, как в глубине души
восходит то единственное слово,
которому подвластны рубежи
грядущего,
как равно и бывшего.

Наступит утро. Непростая жизнь
откроется широко, как равнина,
где золотится поздним светом высь
и пламенеет ягодой калина.

Мне бы заплакать — надо же, пришел!
Но лишь плотнее запахну я душу
и вдалеку пойду — там новых дней монгол
опять сватыни дорогие рушит.

Крестьянин я, как, впрочем, и поэт,
но в час, когда Отчизне очень нужно,
словно Ослябя или Пересвет,
готов принять из рук ее оружие.



Шаман повел свой ветер-пляску
вокруг трескучего костра.
Больной лежит, через повязку
рука, в которой боль остра.

Все доктора ему в доuku,
кроме шамана, тот сейчас
прольет бальзам ему на руку —
и он вернется на аллас.

Не знаю, совершится ль чудо,
но бубен вновь и вновь звенит,
шаман, как будто из-под спуда
земного, с Богом говорит.

В глазах то пламя полыхает,
то лед морозом обдает...
И, пораженный, затихает
вокруг толпящийся народ.

От бед,
что яростно кружили,
отмахиваясь, как от мух,

якуты, выжив, сохранили
далеких предков мир и дух.



Печально, что тебя не принимают,
печально, что тебя не понимают,
печально, что вокруг тоска и ложь.
И все-таки назло всему, что мучит,
отыскиваешь свой заветный ключик —
по правилу в неправиле живешь.

Взирает Бог тревожными глазами
на всех, кого сплошными мелочами
вконец задергал своенравный быт.
Но прозвучит симфонией начало
любви, какой душа еще не знала,—
и будет путь кому-то в рай открыт.

А на дворе февраль, и светит солнце,
и льет лучи в закрытое оконце —
не утро — вечной красоты приют.
Любуйся! И пускай отступят в дали
все долгие, все горькие печали,
а радости, наоборот, придут!



Вспорхнув с березы на кленовый сук,
поет синица, ей другая вторит.
Упрямый дятел знай себе тук-тук
стучит-стучит, как будто с кем-то спорит.

Цветет багульник, соки по корням
стремятся кверху — почки набухают.
По самым дальним в чаще уголкам
свой терпкий запах хвои расточают.

Стоишь безмолвно, жадно дышишь им,
как наилучшим средством от печали.
И времени голубоватый дым
плывет и исчезает за плечами.



В ночь одну березы пожелтели —
и вот-вот закружится листва.
Милая, о чем бы мы ни пели,
об Отчизне главные слова.

А дорога тянется к закату,
за которым не видать ни зги.
Жизнью битый и судьбою клятый,
я взываю к небу: помоги!

От рябин, наверно, придорожных
пламя перекинулось на лес —
и пошел, пошел он с треском грозным
польхатъ неистово окрест.

Не боюсь ни черта я, ни Бога,
но боюсь, чего тут говорить,
что к любви высокая дорога
оборваться может, словно нить.

В горле запершило от угара,
сердце защемило от тоски.
Тяжело, как поздняя гагара,
я кружу у стынувшей реки.



Еще смогу в судьбе, что злится,
добыть свой ключ из-под горы.
И в церкви скорбно помолиться
за всех ушедших до поры.

Еще смогу... Ах, разве надо
перечислять, что до конца
твоя душа исполнить рада
по зову страстному Творца?

Содеял доброе — и ладно!
Замри и слушай, как трава
растет, и в дали неоглядной
звонит от зноя синева.

От них ушел и к ним прибудешь,
недолог жизненный закат.
Свою же память — это людям
оставь, достойна — сохранят.



Люблю! Люблю! Но мои чувства,
как сильно ими не томим,
встречаешь ты всегда искусно
лишь равнодушием одним.

*О бессердечная! О злая!
В отчаянье с тобой я рву,
но, в дальних далях наскитаясь,
опять, опять тебя зову!*

*Наверно, это страшно глупо
так по-мальчишьи бунтовать,
когда тебя совсем не любят
и не желают понимать!*

*Но и до срока, уже ныне
бессилья поднимая флаг,
не совершу ли я в унынье
последний невозвратный шаг?*

≡

*Как медленно, почти по-черепашьи
жизнь тянется грядущему назло.
Мы снова разлучились, души наши
от ожидания горечью свело.*

*Звонит мороз неистово, как бубен,
поет метель тревожно, как хомус.
Путь до тебя, я знаю, страшно труден,
но все равно однажды я вернусь.*

*В унтах оленьих, в меховом тулуне
предстану я из стужи пред тобой,
и расцелую с чувством счастья в губы,
и назову заветной, дорогой.*

*И это все, чего душа желала,
и это все, о чем не надо слов.
И снимет мою долгую усталость
твоя в снегах рожденная любовь.*

Необходимые пояснения

Третий год занимаюсь вопросами, связанными с деятельностью так называемых нетрадиционных религий, проще — сект.

За это время познакомилась не только с учениями — идеологиями, тактикой, акциями, методами вербовки, способами «психотехники», но и с описаниями судебных процессов над теми или иными сектами за рубежом.

Именно поэтому, наблюдая первый подобного рода судебный процесс в Москве, могу сказать: зрелище для людей с крепкими нервами.

Процесс этот без преувеличения можно назвать громким. Ответчиками по делу, заявленному Комитетом по спасению молодежи, являются, помимо филиала японской религиозной корпорации Аум Синрике, известные теле- и радиовещательные компании — радиостанция «Маяк» и телеканал «2x2», которые до недавнего времени предоставляли эфирное время для пропаганды учения и деятельности секты. Комитет по спасению молодежи* обвиняет руководителей японской религиозной корпорации в совершении актов психического насилия.

* Комитет этот образован родителями, дети которых стали жертвами различных сект.

По свидетельству представителя Комитета, после посещения так называемых семинаров-медитаций в Аум (не только ночных, но и дневных) в психике их близких наблюдаются необратимые изменения. Обращения к психиатрам и экстрасенсам не сулят ничего утешительного — они попросту не знакомы с техникой психического воздействия, которую использует японская секта, и соответственно ничего не могут ей противопоставить.

Музыкальная пауза-I

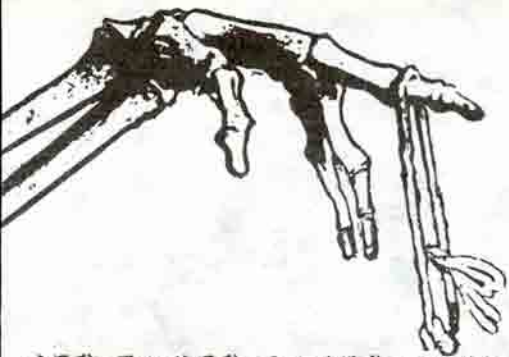
Из разговоров с группой музыкантов оркестра «Кирен», выступивших на судебном процессе в качестве свидетелей**:

— Сколько лет существует оркестр?

— Оркестр «Кирен» при Аум Синрике был создан более двух лет назад, сразу после того, как секта начала действовать в Москве. В него вошли, спасаясь от безработицы и безденежья, высококлассные музыканты, лауреаты многих международных конкурсов.

— Надо сказать, что для Аум оркестр — очень дешевое приобретение. По европейским меркам мы получали раз в десять меньше. Но абсолютные цифры в наше бед-

** По понятным причинам фамилии музыкантов не называются (Авт.).



ственное время весьма приличны: около тысячи долларов в месяц у солистов, около 900 — у рядовых музыкантов. В оркестр входило более ста человек.

— Каков был репертуар?

— До начала работы нам говорили, что мы будем играть классику. На деле играли так называемые симфонии Секо Асахары — откровенный плагиат, составленный из отдельных кусков Бетховена, Брамса, Моцарта вперемежку с компьютерными фантазмагориями Асахары.

— Ваши обязанности, кроме работы в оркестре?

— Согласно контракту каждый день по четыре часа мы должны были репетировать и по три часа заниматься в различных молебных секты. Мы понимали: из нас хотели сделать «верующих музыкантов», чтобы оркестр работал бесплатно. Но относились к этому весьма иронично.

Однако саботировать «духовную практику» удавалось отнюдь не всегда. Существует, например, такой «молебен стоя», когда необходимо сто раз прохнуться об пол. Эта процедура была обязательна и для меня, уже немолодого человека с повышенным давлением. Приходилось брать бюллетень или придумывать что-то другое...

Фальшивки

Деятельность Аум Синрике в Москве началась летом 1992 года с мощнейшей рекламной кампании.

Японские, а затем уже и специально обученные российские проповедники сменили «Белых братьев» и «богородичников», став в метро на те же места. Представители японской секты сумели «закупить» и средства массовой информации.

Радиокомпания «Маяк» за ежедневную часовую передачу получила в 1994 году около миллиона долларов. Телеканал «2x2» за получасовую еженедельную рекламу — 120 тысяч. (Цифры названы в ходе судебного слушания...)

Как свидетельствует представитель Комитета по спасению молодежи, радиопередачи «Маяка» сумели донести сектантскую пропаганду и в армию: возвратившиеся со срочной службы ребята в первые же дни шли в секту. Непонятная завораживающая информация об Аум вызывала любопытство. Ну а потом родители сыновей своих чаще всего уже не видели...

«Манеры поведения» этой секты в обществе, мягко говоря, своеобразны. За фальсификацию регистрационных документов, что доказано московской прокуратурой, Аум Синрике, как российский филиал, была лишена регистрации своего Устава. Но вдруг обнаружилось, что под несколько иным названием она успела зарегистрироваться в Управлении юстиции Москвы, как московский филиал.

Еще один немаловажный штрих к общественному облику Аум Синрике: рекламную кампанию в Москве секта начала с выпуска красочных буклетов, бесплатно распространяемых в метро. В подтверждение международного признания своего учения и организации лидер секты Секо Асахара поместил фотографии, где он запечатлен беседующим не только с малоизвестными буддийскими руководителями, но и с крупными российскими государственными и религиозными деятелями.

Чаще всего можно было видеть его совместный портрет с митрополитом Питиримом.

— Владыко! — обратилась я к митрополиту (эта встреча произошла в марте прошлого года). —

Что вы скажете о «дружеских отношениях» Православной церкви с Аум Синрике?

— Говорю однозначно: нет никаких отношений... Во время одной из миротворческих миссий ко мне подошел этот человек, чтобы представиться. Он всюду ходил со своим фотографом и сделал тогда немало снимков с различными видными религиозными и государственными деятелями разных стран. Затем, сопроводив их произвольными текстами, использовал в тех странах, где разворачивал свою деятельность.

На что, собственно, рассчитывает лидер секты Секо Асахара, распространяя подобные фальшивки? На то же, на что рассчитывает любой авантюрист — на выигрыш во времени. Когда еще все это будет опровергнуто? И все ли станут этим заниматься? Время же между тем работает на секту...

И он пропагандирует свое учение на радио, ТВ; снимает для массовых медитаций спорткомплекс «Олимпийский» — действует практически бесконтрольно.

Учитель и Истинная вера Аум

О лидере секты Аум Синрике Секо Асахаре — «Учителе» — известно немного.

Ему лет сорок, настоящее имя Тидзуо Мацумото. По некоторым сведениям, он владеет в Японии сетью ресторанов, приносящих ему стабильный и значительный доход.

Любит туманно намекнуть, что в свое время «потерпел за правду». Дескать, пропагандируя «истинное учение», приносит в жертву свое доброе имя, подвергается гонениям со стороны государства, средств массовой информации. Но обвиняют его главным образом в финансовых махинациях, неуплате налогов, использо-

вании средств, собранных на религиозные нужды, в личных целях.

По сведениям, представленным японской полицией, деятельность секты Мацумото находится под постоянным полицейским контролем. Косвенное признание того, что у полиции были причины интересоваться биографией Асахары, можно найти у самого «учителя». На одной из своих лекций в Москве он заявил: «Я на собственном опыте знаю, что употребление наркотиков и обладание женщиной приносит меньшее удовольствие, чем мантра».

Своим «добрым именем», именем человека, претендующего на роль... Христа, Асахара жертвует постоянно, ездит на «мерседесе» последней модели, постоянно находится в окружении 17–18-летних девушек.

Последнее время японская полиция большой интерес проявляет к деятельности Асахары в России. Он подозревается в контрабанде оружия.

В распространяемой повсеместно брошюре «Истинная вера Аум. Приглашение на Святую Истину» учение это выглядит вполне добропорядочно. Альтруизм, идея спасения всех и каждого; главный бог — Шива; Аум — священная мантра; истинный путь к просветлению и саморазвитию...

Словом, доверьтесь Учителю и достигнете счастья в этом мире. Привлекательно, не так ли?

Особенно для молодых неокрепших душ или же для тех, кто успел надломиться, разочароваться в окружающей реальной жизни: мол, кругом грязь и обман — а тут предлагают не то что «свет в конце туннеля», а вообще райское сияние...

На самом деле Аум Синрике достаточно эклектичная мешанина из самых различных религиозных учений (что вполне компетентно

в ходе судебного разбирательства доказываемые крупнейшими специалистами). Основа — буддизм. Но искажен до неузнаваемости: Учитель — выше Бога, в нем сосредоточены все силы, он — Великий Дух и Великий Разум!

И это вдалбливается в головы членов секты методично, настойчиво и агрессивно; многочасовые медитации доводят человека до иступления. Проще говоря, идет продуманная психотронная обработка сознания. В переводе на обывательский язык — «зомбирование».

И это — не шутка, не досужие домыслы.

Музыкальная пауза-II

— Что произошло с оркестром в декабре 1994 года в Японии?

— Руководство японской секты, очевидно, решило, что слишком долго платит деньги оркестру. Мы же видели, как они обирали свою «паству» — зачумленные юноши и девушки тащили из дома все, что могли. «Жертвуйте, жертвуйте, жертвуйте! — кричал на проповедях Асахара. — Жертвуйте на пределе! Голодайте, но жертвуйте!..»

— В Японии мы дали для верующих несколько концертов в полупустых залах. Рекламы о выступлениях нашего оркестра не было никакой. Асахара опасался акций протеста — в Японии его не любят...

— Поездка оказалась на редкость изматывающей. До тридцати часов кряду мы были на ногах в тянувшихся один за другим переездах. Зачастую нас не кормили. Сопровождающие не скрывали, что хотят показать нам — мы ничто, быдло. И мы здесь в их полной власти.

— В предгорья Фудзиямы, где

находится Центр Асахары, мы прибыли на автобусах к вечеру. С самого утра ничего не ели... Мы увидели несколько сборных металлических барачков. Туалеты находились на улице (естественно, никакой канализации), всюду грязь... Нас привели к барачку, который изнутри напоминал совершенно пустой спортивный зал. В высоту он был примерно метров десять. Сверху капал конденсат. Там же, в вышине, мы видели странно мерцающий светильник. На полу были разложены пронумерованные поролоновые маты с подведенными к ним неизвестными электронными приборами, усилителями, наушниками. Ощущалась вибрация какихто постоянно работающих агрегатов. Часть пространства занимал экспериментальный медицинский центр, где шли испытания на тренажерах с использованием приборов, датчиков, шприцев. Один японский монах ходил со вставленным в вену левой руки катетером, держа капельницу в правой руке.

— Сопровождавшие объявили нам, что это милость Асахары. Он жалуется свой оркестр бесплатной «инициацией». Нам предстояло лечь на эти маты и не сходить с них двенадцать часов — с восьми вечера до восьми утра. Мы воспротивились сразу: «С какой стати? Это не входило в условия контракта!» Многие вышли из барака, требуя подать автобусы и отправить всех в гостиницу.

Охранники, похожие на бандитов, вернули их обратно и стали кричать: «Ложитесь! Ложитесь! Ложитесь! Иначе все немедленно будете уволены. В Россию добираться, как хотите».

— Что делать, куда деваться? Совершенно пустынное место в горах. Чужая страна, вокруг никого, кроме этих охранников. Я пошел на свой матрац под номером сто

шестнадцать. Ну что, думаю, электровибратор? Может быть, он как массажер?.. Кто знает, что еще от них можно ожидать? Домой-то ведь как-то надо возвращаться — обратные билеты у администрации...

В зале суда

Начнем с представления сторон.

По одну сторону, слева от судьи, сидит адвокат, представитель религиозной корпорации Аум Синрике.

В глубине зала находится довольно молодой человек, который с предельным вниманием следит за действиями этого адвоката. Он — из руководства секты.

Рядом с представителем Аум — юрист радиокompании «Маяк». Оба настроены жестко и решительно. Представитель «Маяка» обвинений Комитета по спасению молодежи не принимает и делает вид, что обстановки в зале, заряженной горем родителей, не чувствует. (В начале нынешнего года трансляции Аум по «Маяку» продолжались в прежнем режиме и объеме и были прекращены лишь после разгоревшегося «токийского скандала»...) Весьма своеобразную позицию занимает телеканал «2x2». К началу судебных слушаний редакция прекратила трансляцию видеоматериалов Аум, но договора не расторгла.

Суду долго пришлось уточнять у представителя телеканала: будут ли они по-прежнему предоставлять секте эфирное время согласно договору. К концу дня дама, представляющая интересы «2x2», заявила: все будет зависеть от решения суда.

— Разве редакция не способна составить собственное заключение о характере видеоматериалов

Аум Синрике? — удивилась судья. — Причем здесь наше решение?

Но, как оказалось, редакции телеканала «2x2» и «Маяка» даже не интересуются содержанием материалов. Кассеты приносят накануне, а после передачи сразу же изымают. Так что все — на полнейшем доверии. И принести на телевидение, как и на радио, Аум может все что угодно.

(Осознав двусмысленность своей позиции, делящаяся уже полгода, редакция телеканала «2x2» расторгла-таки договор с Аум, не дожидаясь решения суда, о чем и было сообщено в январе этого года...)

Вполне понятны финансовые сложности редакций телеканала «2x2» и «Маяка» — Минсвязи берет за эфирное время астрономические суммы. Государственной дотации (если эти крохи можно назвать дотацией!) явно не хватает. Сегодня СМИ (и не только радио и ТВ) вынуждены сами «изыскивать» деньги на выживание. Вот и «изыскивают».

Получается, что государство, так или иначе, само подталкивает ТВ, радио, газеты в объятия проходимцев — «спонсоров», таких, как Асахара.

Свидетельские показания

Совершенно обескураженный сорокалетний мужчина не знает, как вернуть из секты жену.

— У нас двое сыновей. Жена в них души не чаяла. Теперь же... Когда мы с мальчиками пришли за ней в секту Аум, она сказала, чтобы мы убирались. А придет она домой, когда сочтет нужным. Она не дрогнула даже тогда, когда младший взял ее за руку и заплакал... Старший-то сдержался. Что делать, просто не знаю!

Показания дает пожилая дама, пенсионерка, в прошлом референт-переводчик.

Ее дочь, биофизик, мать двоих детей, оказавшись в секте Аум Синрикэ, постепенно утратила материнские чувства. «Дети — мои, — говорила вчерашняя нежно любящая мать, — могу делать с ними, что захочу. Могу и подарить кому-нибудь».

— После двух месяцев частных посещений секты, — говорит свидетельница, — физическое и психическое состояние дочери резко ухудшилось. Она и раньше не отличалась крепким здоровьем, а тут... эти «медитации» без сна и еды превратили ее просто... Короче, мы уговорили ее показаться психиатру. Муж отвел ее в диспансер. Зафиксировав сильнейшее нервное и физическое истощение, дочь мою немедленно госпитализировали. Через некоторое время она самовольно ушла из больницы. Вход для посетителей там был свободным. Очевидно, «новые друзья» уговорили ее вернуться в секту.

За слушание, — продолжает свидетельница (в секте существует строгий запрет на общение с психиатрами. — Авт.), — ей был назначен «искупительный режим»: пять часов «медитаций», затем два часа сна, пять часов «медитаций», два часа сна...

Дома она не появляется, но ее детям по почте из Аум присылаются приглашения (суду был предъявлен нераспечатанный конверт с таким приглашением), звонят по телефону. Ласковый голос спрашивает, не хочет ли мальчик видеть маму, говорит, что у них в Центре очень хорошо, появились новые мультики. В страхе за внуков мать сектантки советует зятю развестись. На суде будет настаивать на том, чтобы детей оставили с отцом.

К церемонии «инициации» или «крещения», к «секретным медитациям» допускаются только члены секты. Посторонним, то есть интересующимся, вход строго воспрещен. (Честно говоря, я пыталась попасть в «Олимпийский». Но охрана у Аум не слабее, чем у некогда знаменитой «девятки»...)

Секта арендует в Москве семь помещений, одно из которых по адресу: Звездный бульвар, 21, — она приобрела в полную собственность (данные Министерства юстиции).

Уходящие в секту (до этого они, посещая суточные или многосуточные медитации, выполняя какую-то работу для секты, жили дома) становятся «монахами». Первое время не выходят из помещения в течение двух месяцев. Окна в этих комнатах замаскированы таким образом, что создается иллюзия сплошных стен. Мощная иллюминация, постоянно включенные компьютеры и видеомагнитофоны, на полную мощность звучащая музыка — все это работает в постоянном режиме сутки за сутками. Таким образом временная ориентация теряется — день ли, ночь ли?... Питание одноразовое, скудное. Для сна, чисто теоретически, отводится время с половины третьего ночи до восьми утра. Но практически часа через два или три всех начинают будить. Именно в это время у духовного инструктора «возникает желание» прочесть лекцию.

Бывают и другие поводы. Если кто-то не просыпается, его бьют палками. За каждым постоянно следят. Ограничено даже время пребывания в туалете — две минуты.

Как можно было заключить после выступлений бывших «монахинь», «инициация» на поролоновых матах с разночастотными виб-

раторами и постоянным прослушиванием через наушники «секретных мантр» Асахары, практикуемая и в Москве, не самое сильное «духовное испытание». Гораздо серьезнее другое. Назовем его — «шапочка».

На голову надевается плотно прилегающая «шапочка», подключенная к компьютеру. Едва терпимые боли, ощущения кошмара, даже ожоги от периодически повторяющихся более или менее сильных разрядов не являются причиной для того, чтобы прекратить «медитацию».

В этой же «шапочке», в помещении без окон, при постоянной иллюминации и оглушительной музыке, на разовом скудном питании и практически без сна нужно пробыть пять суток.

Гной из ушей, кровавый понос, страдания от электроразрядов — все это якобы свидетельствует о выходящей из организма «дурной карме».

Если у кого-то хватает еще воли противостоять (блокирование воли и критичности — это первое, что происходит с человеком, начинающим посещать разного рода «медитации») и он вознамерится уйти, его пригласят «побеседовать».

Говоря об энергии, ему подаренной, о раскрепощении сверхчеловеческих сил, инструктор долго смотрит ему прямо в глаза. Очень скоро под этим взглядом человек сникает и забывает о своем намерении. Его отправляют для прохождения следующего этапа «духовной практики».

Атака на души и разум

Приходится признать: эйфория первых лет перестройки способствовала принятию большого числа законов, не прошедших достаточной апробации и взвешенных

обсуждений. Казалось, что положение можно автоматически нормализовать вплоть до «цивилизованных стандартов» простым снятием запретов.

Был принят Закон о свободе совести и религиозных организациях; упразднили Совет по делам религий; из Уголовного кодекса РФ была изъята статья, которой можно было воспользоваться для дискриминации по мотивам религиозных убеждений. Это представлялось серьезным достижением. Но почти тут же был зафиксирован резкий рост нетрадиционных религиозных объединений, как отечественных, так и зарубежных филиалов. И летом 1993 года Верховный Совет РФ был вынужден ввести в УК России статью, согласно которой «...организация религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, или руководство таким объединением является уголовно наказуемым деянием».

Что же мы имеем сегодня?

Контроль за деятельностью различных сект практически не осуществляет никто. Минюст занимается **исключительно и только регистрацией** уставов. Экспертно-консультативного совета по делам религий нет.

Правда, в Государственной Думе пытаются сформировать подобный совет, но пока безуспешно. А так называемые «новые религии» между тем плодятся и процветают.

Что же это за «новые религии»?

Каким образом они в несколько приемов превращают нормальных людей в религиозных фанатиков?

...В 1994 году в Москве появилась весьма любопытная организация, называющая себя «Наркон». Возглавляют ее два американских психиатра. Распространяв рекламу о своей организации даже

в Государственной Думе, они обещали быстро и эффективно, с использованием современных методик, помочь избавиться от наркотической зависимости. Оказалось, что это всего лишь еще одно отделение секты «сайентологов», представленной в Москве «Центром дианетики» и «Хаббард-колледжем по управлению».

В США «Нарконон» приобрел скандальную известность — его специалисты чисто психологическими методиками замещают наркотическую зависимость на зависимость сектантскую. Бывшего наркомана они превращают в религиозного фанатика.

Находившаяся в Москве в январе нынешнего года американский нарколог Шелли Маршалл свидетельствовала: «секретная методика» тщательно скрывается от специалистов. Сама она предпринимала неоднократные попытки проникнуть в суть этой методики, хоть как-то познакомиться с ней, но безрезультатно. Ей мешала репутация противника «сайентологии» — жертвами секты стали ее отец и сестра...

Серьезные исследования сознания молодых людей, попавших под влияние сект и резко изменивших в связи с этим свое поведение, проводились в Киеве. Была образована комплексная комиссия из специалистов по судебной психологии, экстрапсихологии, психофизики и психотроники, имеющих научно-практический опыт работы в области суггестии (внушения), психоэнергетики и в других смежных отраслях. В число репрезентативных выборок были включены лица, попавшие под влияние «Белого Братства», общества «Сознание Кришны», подвергавшиеся психоэнергетическому воздействию. («Кришнаиты» позднее, после того, как текст заключения судебно-психологической экспер-

тизы был опубликован в «Медицинской газете», оспаривали участие членов их секты в обследовании. Но в копии текста заключения, который у меня имеется, эта религиозная община значится.)

Вот некоторые выдержки из заключения:

«Молодые люди, попавшие под влияние руководителей «Белого Братства» и «Сознания Кришны», подвергались «глубокому зомбированию» психоэнергетическими средствами, в результате которого в структурах личности, прежде всего интеллектуальных, произошли существенные изменения.

Наибольшие изменения проявляются в механизме нервной регуляции поведением и жизнедеятельностью: извращается природный механизм функциональной асимметрии (подобные результаты наблюдались у подопытных доктора Камерона при применении им шоковой, нейрологической и других форм вмешательства в психику). Снижаются высшие интеллектуальные функции и вербальный интеллект, что ведет к снижению критичности, повышению догматизма и стереотипии интеллектуальной деятельности...

Огрубленно: поведение становится определяемым механизмами высшей нервной деятельности, более приближенными к роботизированным. В то же время ухудшается адекватность общего реагирования на факторы среды; подавляются механизмы интеграции, снижается критичность. Подавляется творческая индивидуальность, особенно творческое воображение, интуиция, пластичность поведения, активность и способность сопротивляться стрессам... Все эти изменения глубоко физиологичны и вытекают из примененных методов зомбирования и принятого в сектах образа поведения и жизни».

В итоге, заключают ученые, «мы имеем дело с психологически поработанными и даже не осознающими этого людьми».

Вот оно, настоящее лицо «новой религии»!

Музыкальная пауза-III

...Согласившиеся пройти через «инициацию» были уложены на маты. Врачи-монахи — их было около десяти человек — измеряли температуру и кровяное давление. Повышенная температура, высокое давление, учащенный пульс, болезни и даже беременность не являлись, по их словам, уважительными причинами для отказа от участия в «медицинском» эксперименте.

Поролонный мат был двухслойным: в нижний слой на уровне груди, живота и ног вмонтированы специальные приборы, усиливающие вибрацию. На голову следовало надеть наушники, из которых на низких частотах шла бесконечная и кошмарная проповедь Асахары на японском языке, его «секретные» мантры, заклинания. На глаза надевали черную повязку. Усиленные вибрации голоса через три прибора передавались основным энергетическим центрам.

Уже через полчаса после начала «инициации» стали проявляться признаки ухудшения самочувствия: головная боль, повышенное давление, учащенный пульс, головокружение, боль в области сердца... Монахи-врачи измеряли температуру, давление, записывали данные в журнале, но, несмотря на жалобы и резкие отклонения показателей от нормы, прерывать «инициацию» не разрешали.

— У нашего валторниста давление поднялось до отметок 220 на 140, но монахи только дали какую-то таблетку и сказали: «Это

очень хорошо! Продолжайте!»

— Попробую передать свои ощущения во время этой «инициации», — рассказал один из музыкантов. — В целом, или, как говорят, «практически», я человек здоровый. К тому же однозначно был настроен на то, чтобы все это выдержать. От вибраций сотрясались все тело, весь организм. Совершенно терялась ориентация и во времени, и в пространстве. Не знаю, но, наверное, так подступает безумие. К тому же этот голос из наушников... Трудно сказать, сколько прошло времени. Я терпел до тех пор, пока еще мог себя контролировать, но не думаю, что более часа или двух... Потом стали вскакивать и другие. Мы не видели себя, но видели друг друга. Что это было за зрелище! Безумные, полные страха и ужаса глаза, перекошенные лица. Один наш товарищ потерял сознание. Охранники отнесли его куда-то, привели в чувство и снова положили на матрац. Трое или четверо, сорвавшись с матрацев, были особенно не в себе. Они пришли в безумный восторг и, несмотря на ночь, побежали в горы с криками «Нам здесь хорошо!», «Мы здесь останемся навсегда!», «Мы никуда больше не хотим!». Охранники побежали их ловить...

С одной девушкой случилась истерика, ее едва удалось успокоить.

Наконец на шикарном лимузине приехал Асахара.

— Неблагодарные! Да знаете ли вы, что эта «инициация», которой я удостоил вас бесплатно, стоит десять тысяч долларов. Люди ждут ее годами! Все уволены!

Мы стали требовать подать автобусы.

— Никаких автобусов не будет!

— У нас легкая одежда, мы здесь замерзнем!

— Ваши проблемы. Но если за-

мерзнете, мы будем за вас молиться.

С этим он сел в свой лимузин и уехал...

Дирижер оркестра посоветовал всем выйти на воздух. Но и в здании, и на улице вокруг здания ощущался неизменный специфический запах, действовавший на психику. От него бросало в дрожь, передергивало. Мы поняли, что против нас были применены какие-то газы. Началась паника. Медицинскую помощь нам не оказывали. Мы стали обмениваться имеющимися кое у кого таблетками.

— Несколько человек отправились на поиск наших автобусов, — продолжил рассказ другой оркестрант, — где находился багаж, инструменты, деньги, документы. Но нигде поблизости автобусов не было. Наша скрипачка сломала ногу, поскользнувшись на замерзшей жиже, вытекавшей из туалетов... Домой нас все же отправили...

— Сейчас начинаются некоторые игры в духе «его святейшества Асахары» с целью воссоздать оркестр. Всех обзывают отдельно и приглашают... на семинары и молебны. Если мы будем их регулярно посещать, если искренно покаемся перед Асахарой в своих грехах и заблуждении, нас, возможно, простят и заключат с нами новый договор, согласно которому платить уже будут существенно меньше.

— Еще до поездки в Японию Асахара говорил нам — он ведь отдает себе отчет в том, чем занимается, — что если его организация в России будет запрещена, он заберет всех нас с семьями в Японию, где у него имеется свой Центр. Теперь мы знаем: в этих бараках-ангарах, как в концлагере, могут поместиться десятки тысяч людей, которые будут в его полнейшей власти...

Продолжение следует?

Следы трагедии в токийском метро, когда после химической атаки террористов погибли от отравления зарином 10 человек и более пяти тысяч оказались в госпиталях, привели в лаборатории секты Аум Синрике. Там проводились эксперименты по производству отравляющих газов. Но японских следователей весьма тревожит и «российская ветвь» секты, ибо именно в России секта действовала абсолютно бесконтрольно со стороны властей.

Останкинским межмуниципальным народным судом в конце марта был вынесен запрет на деятельность секты в Москве, наложен арест на ее имущество, включая банковские счета, прекращена наконец сатанинская пропаганда в эфире. Но остались ведь еще сотни и даже тысячи людей, психике которых нанесен, возможно, непоправимый ущерб. Они нуждаются в квалифицированной, дорогостоящей реабилитации.

Горькое торжество истины! Японские события вполне материально доказали, что в Россию были свезены грязные религиозные отходы (впрочем, в Японии эта организация лишена спасущей ее приставки «религиозный»). Но в Москве за последние годы зарегистрирован не один десяток иностранных религиозных филиалов, которые действуют так же бесконтрольно. (Чего стоит сомнительная репутация секты «сайентологов», против которой в США и Дании прокатилась волна судебных процессов...)

Факты убеждают: деятельность новых религиозных объединений социально небезопасна. В 1993 году «белые братья» решили устроить «конец света» в Киеве провокацией насилия. Аум Синрике, судя по всему, своими экспери-

ментами с отравляющими веществами готовила «конец света» гораздо большему числу людей.

Похоже, что именно Россия, опрометчиво качнувшись от тотальных запретов к свободе на все и вся, оказалась в наиболее уязвимом положении. Не слишком ли дорогая цена для общества — смиренно дожидаться, когда следующая секта объявит ему «конец света»?

Причем способом, известным только этой секте...

Хочется верить, что истец — Комитет по спасению молодежи — выиграет дело. Определенные санкции будут применены и к Аум Синрике.

Ну а станет ли этот процесс правовым и нравственным уроком для тех, от кого так или иначе зависит духовное и психологическое здоровье общества, особенно молодежи?

Не уверена, потому что по-прежнему, включая телевизор, нет-нет да и вижу иноземных миссионеров, толкующих христианское учение в собственных «с акцентом» вариациях. И в метро останавливают спешащий люд проповедники с ласковыми улыбками и бегающим взглядом. И впихивают в руки слегка ошарашенных пассажиров очередные листовки, вещающие то о «конце света», то о «всеобщей нирване». И по-прежнему «под сукном» столь необходимые законы, регулирующие взаимоотношения различных конфессий и общества, религиозных общин и государства. А проповедь любого, даже самого бредового, агрессивного толка, обеспеченная солидной валютной поддержкой, чувствует себя привольно на просторах православной России. Эмиссары отнюдь не «доброй воли» находят поддержку и в госструктурах, и в СМИ. Но, что самое удивительное, наши пасты-

ри — деятели русской Православной церкви — не спешат сказать свое слово.

Духовный, психологический терроризм (а как еще прикажете называть деятельность сект, подобных Аум Синрике?) ничуть не безопаснее терроризма физического. Мертвая душа, искалеченная психика страшнее смерти физической: те, кто прошел обработку в подобных сектах, сами становятся святыми боли и несчастий.

В оформлении использовано фото из «Общей газеты».



В Театр- за ЧУДОМ

Помните знаменитый диалог Ф. И. Шаляпина с извозчиком? «Что ты, барин, делаешь?» — «Пою». — «Дак я тоже пою, когда выпью. А работаешь-то где?» И сегодня зачастую встречается подобное отношение к труду артиста. Культ «золотого тельца» и материального благополучия порой перечеркивает все то, что когда-то называлось «жизнью духа». И с содроганием слышишь ехидно-циничные вопросы: «Да кому он нужен сегодня, этот твой театр?» А каково слышать подобное артистам, для которых театр — жизнь? Евгения Князева, актера Театра

имени Евг. Вахтангова, все это задевает за живое:

— Если рассуждать, что театр не нужен, книги не нужны, музеи... Тогда в чем смысл жизни? Чтобы быть сытым? Но если нет духовности, то зачем тогда роскошь, богатство, благосостояние? Недавно один мой знакомый вернулся из поездки в Италию, и я его спросил о самом сильном впечатлении. Он с каким-то удивлением ответил: «Все-таки Микеланджело, Боттичелли». А почему «все-таки»? Неужели должен потрясти только «западный рай»? Странно, если бы «Рождение Венеры» или «Пьета»

оставляли человека равнодушным. Когда вижу, как на нашем спектакле «Без вины виноватые» люди плачут, чувствую, что они эмоционально пробуждаются... У них словно какие-то новые шлюзы открываются. Не это ли и есть цель искусства и не это ли дело театра?

— Вам самому, как зрителю, приходилось переживать подобные потрясения?

— Да, совсем недавно, когда смотрел спектакли Роберта Стурюа — «Кавказский меловой круг» и «Добрый человек из Сычуани». Может быть, красиво прозвучит, но для меня такой театр, как гло-ток воздуха.

— Интересно узнать, когда у вас зародилось такое отношение к театру? Что заставило быть не только благодарным зрителем, каких тысячи, а попытаться самому войти в этот мир?

— Я вырос в деревне, под Ясной Поляной. Мои родители никакого отношения к искусству не имели. А в театр впервые попал лет в семь, когда меня привели в ТЮЗ. Я, конечно, не помню, о чем был спектакль. Но то неожиданно сильное впечатление от раскрывшегося занавеса, красивых декораций, музыки запало в душу — неизведанный, удивительный, такой влекущий мир. И захотелось войти в него, увидеть изнутри, понять...

— Какие-то кумиры у вас тогда были?

— Нет, хотя некоторые артисты нравились — Тараторкин, Киндинов... Но никогда не собирал открыток, да и образовать меня в области театра было некому. Просто существовала тяга к нему.

— От мечты до ее осуществления, как известно, путь неблизкий и зачастую не прямой. Как произошло у вас?

— После школы поступал в Щукинское училище, но меня туда не взяли. А учиться где-то надо, и, поскольку мой отец занимался горной профессией, я поступил в Горный институт. Даже сумел его закончить.

— А как же театр?

— После четвертого курса, будучи на практике в Ленинграде, решил попробовать еще раз. И, к моему великому удивлению, меня приняли. Но я все же решил Горный институт закончить. Получив диплом, поступил в Щукинское. Именно туда, где всегда хотел учиться.

— Как вы представляли тогда свою будущую сценическую судьбу?

— Конечно, хотелось играть только большие, главные роли. Мечтал работать в крупном театре. Заканчивая училище, знал: если не попаду в такой театр, не смогу работать актером, психологически не получится. Мне близок театр с большой сценой, занавесом, красивыми люстрами, фойе, буфетом. Не люблю подвалов, не ощущаю за этим театра. Короче говоря, очень хотелось попасть именно в Вахтанговский.

И это мне удалось, благодаря Е. Р. Симонову. У нас на курсе он ставил спектакль «Сенсация», и мы показывали его в театре. Симонову нравилось то, что я делаю, он и предложил мне прийти к нему. Конечно, были показы, отрывки. В общем, приняли.

— Трудно было войти в знаменитый коллектив?

— Поначалу нелегко приходилось, поскольку обстановка в театре в то время была сложная. Вскоре началась «революция» по свержению Е. Симонова. Я не принимал в ней участия, да и вообще не люблю свар. Тогда всем хотелось бороться, чего-то добиваться,

а чего именно — никто не знал. Руководить театром — дело сложное, тут одного хотения мало. Иногда времени не остается на основное — на актерский труд.

— Хорошо, давайте об «основном». Труд актера — это его роли. Что вам близко, что запомнилось?

— Симонов приглашал меня в театр с совершенно конкретной целью. Собирался ставить спектакль о Казанове по пьесам Марины Цветаевой «Приключение» и «Феникс». Я должен был играть Казанову во всех трех ипостасях — молодого, зрелого и старика. Мы уже начали репетировать, но замысел изменился. Спектакль получил название «Три возраста Казановы», и на каждый «возраст» назначили актеров: В. Ланового, В. Шалевича и меня. Так что мне досталась только «молодость». Но спасибо и на этом. Кстати, спектакль идет до сих пор, его замечательно принимают зрители. Можно соглашаться или нет с режиссерской трактовкой, но прекрасные стихи Цветаевой, декорации Б. Мессерера, музыка завораживают, погружают зрителя в какой-то особый мир.

Не хочу жаловаться на судьбу, она ко мне достаточно благосклонна. Я играл Дон Гуана в «Маленьких трагедиях», Шопена в спектакле «Лето в Ноане», Обольянинова в «Зойкиной квартире», работал с такими великолепными мастерами, как П. Фоменко, Г. Черняховский.

— Наверное, ваша работа с П. Фоменко заслуживает отдельного разговора. Наконец-то театральная Москва дождалась спектакля, который ее действительно потряс, подарил зрителям эмоциональный заряд небывалой силы и глубины. Я имею в виду, конечно, спектакль «Без вины виноватые», где вы сыграли роль Незнамова.

ты», где вы сыграли роль Незнамова.

— Петр Наумович Фоменко — лучший режиссер, встретившийся в моей жизни. До этого я с ним работал в двух спектаклях — «Дело» и «Государь ты наш, батюшка».

Поначалу ни пьеса Островского, ни роль Незнамова меня не вдохновили. Думал: кому сейчас нужно, кому интересно? Да и репетиции проходили очень трудно, с сомнениями, неуверенностью. Но у Фоменко есть одно замечательное качество — увлекается сам и умеет зажечь других. С ним интересно работать. И когда начинало что-то получаться, появлялись азарт, вера, не хотелось уходить с репетиций. К тому же и партнеры оказались замечательные — Ю. Борисова, Ю. Яковлев, В. Шалевич, Ю. Волынцев.

— Евгений, ваше актерское поколение часто называют поколением одиночек. Действительно, многие актеры, например, О. Меньшиков или А. Феклистов, уходят в никуда, пытаются самостоятельно строить свою актерскую судьбу. Вы остаетесь в стационарном театре, в коллективе. У вас нет опасения, что многое может пройти мимо вас, что нужно искать какие-то иные пути?

— Да, у актеров бывают «пустые» сезоны, и у меня они были. Но это не значит, что ничего не делаю и терпеливо жду милостей от судьбы. Например, начал преподавать в Щукинском училище, что явилось для меня некоей отдушиной. Предложили сыграть в театре «Бенефис» в спектакле «Уличная ласточка», и я согласился. Постоянно снимаюсь в кино. Жаль только, все эти фильмы куда-то исчезают. И если, не дай Бог, в Вахтанговском театре у меня опять случится простой, я смогу

найти себе работу. Но по доброй воле из театра не уйду. Не хочу организовывать свое дело, потому как на это потребуется тратить слишком много сил — добывать деньги, искать спонсоров. И с уверенностью не скажу — смогу ли после всего этого играть, хватит ли сил...

— Когда-то еще Пушкин устами своего героя сказал: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Как, по-вашему, актер и человек — одно и то же? Накладывает ли постоянное «актерство» отпечаток на человеческую личность?

— Все мы — актеры. Только кто-то играет на сцене, а кто-то в жизни. Взять, к примеру, тех же политиков — разве не актерство, не театр? Порой кажется, что артист — обыкновенный человек, такой же, как и все. Хотя еще Дидро в «Парадоксе об актере» назвал их «сукиными детьми». Нелестно отозвался, как, впрочем, и Станиславский.

— А Жванецкий недавно сказал: «Актеры — это братья наши меньшие... по разуму».

— Ну не знаю, как насчет разума, все очень индивидуально. Но для жизни, для быта актеры — трудные люди. Нельзя останавливаться, надо идти все вперед и вперед, наступать. Особенно если у тебя уже случались удачи. А когда не получается, это мучительно и для самого себя, и для окружающих. Но полного благополучия, по-моему, не существует. Вряд ли кто-то может сказать: «У меня всегда все в порядке». Кем бы он ни был — «звездой» или обыкновенным человеком.

— Актеры делятся как бы на две категории. Одни, их немного, живут в «иных мирах», почти не пересекающихся с реальностью. Других живо волнует то, что проис-

ходит вокруг. Как вы ощущаете себя в этой жизни, вникаете ли в политические, экономические перипетии?

— Конечно, стараюсь быть в курсе событий, знать, что происходит вокруг. Но все эти политические перестановки меня, честно говоря, не волнуют. Ведь в них надо вникать, разбираться.

Меня другое волнует. Начитавшись газет, переварив информацию о взрывах, убийствах, мне иногда страшно бывает выйти с детьми на улицу. Недалеко от моего дома недавно действительно взорвали машину, погиб человек. У меня две маленькие дочки, и мы всегда стараемся держаться подальше от всяких инцидентов. Хотя бы дети этого страха не ощущали. Можно, конечно, сделать железную дверь, попытаться отгородиться от мира, чтобы он к тебе не проник. Но ведь это не выход. Впрочем, мне кажется, все вскоре наладится.

— Вы из редкой породы оптимистов?

— Это не оптимизм. Просто без веры жить нельзя. Очень хочется, чтобы мои девочки спокойно существовали. Хочу дать им хорошее образование, музыке научить. Чтобы им было хорошо, да и нам с женой рядом с ними. Хочу, чтобы студенты, пришедшие ко мне на курс, погрузились в особую атмосферу, атмосферу искусства. Чтобы поняли: театр имеет право на существование. И верили, что каждый вечер в зрительный зал будут приходиться хорошо одетые люди, будет открываться занавес, и все будут ждать чуда. Я не знаю, смогу ли все это сделать, но постараюсь. Во всяком случае, хочу, чтобы так было...

**Беседу вела
ИРИНА АЛПАТОВА.**

СВЕТЕЙШИЙ

Рисунок ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА





Странная, непостижимая, как ни кинь, судьба! И пути ее — от самого пачала — замысловатее не придумаешь: смолоду норовил в монахи, да, видно, заплуталась дорожка в *потемках* истории, и не в монастырь, а прямехонько в царскую угодил опочивальню. Но ведь ни мысли тайной, ни затаенного какого тщеславия тут не было — одна судьба только и хозяйничала...

А вышло так: 28 июня 1762 года, в тот самый день, который великой княгине Екатерине Алексеевне доставил корону Российской империи и когда молодая императрица принимала присягу от гвардии, двадцатитрехлетний вахмистр Григорий Потемкин не где-нибудь в ином месте и не в иной, а в сей самый час обретался всего в нескольких от нее шагах. А когда подъехала Екатерина к конногвардейскому полку и обнажила уже шпагу, то в великом смущении заметила, что на шпаге ее нет темляка. И тут не другого кого, а одного только Потемкина как бес толкнул: на лошади выскакивает он вперед, срывает со своего палаша темляк и протягивает его императрице. Государыня благосклонно принимает, Потемкин хочет уже отъехать к своему месту, но жеребец его, не слушаясь ни усилий, ни шпор, как вкопанный стал подле лошади императрицы. Та, женщина деликатная, ободряет сконфуженного вахмистра несколькими любезными словами... Ну не судьба ли, не случай ли? Да только не в них суть, а в том кому эта судьба вышла, на *кого* сей случай пал... Это уже потом будет слава непомерная, богатство неисчислимое. Последний же этот «грех» и по сию пору не всеми, кажется, с потемкинских счетов списан. А между тем забывается главное.

Когда окольными путями доходили до императрицы попреки, что, мол, недешев выходит казне светлейший, государыня парировала: «А сколько стоит Крым?» И действительно, как тут ни крути, сколько ни тужься, но если иному кому, кроме Потемкина, отдать славу бескровного присоединения Крыма, а к тому и творца Новороссии, ничего другого, кроме исторического конфуза, не выйдет. Вот она перед нами, географическая карта Империи, а на ней не сотрешь Херсон, Екатеринослав, Николаев, Севастополь, Мелитополь, Нахичевань, Мариуполь, Екатеринодар, Ставрополь... И тут уж всякому, кто хоть краем глаза заглянул в русскую историю, яснее ясного, что на центральных площадях всех этих городов, в одно царствование на российской земле восставших, уж конечно, место не человеку в кепке, а тому, кто, беспрестанно переменяя лошадей, скачет сюда из столицы, кто из шестнадцати почей спит только три, остальное время диктует сменяющим друг друга секретарям распоряжения и приказы, в каждом из которых — на выбор бери — только толк и дело... Потому, видно, инородческое население юга России, хоть и с трепетом, но и с невольным восторгом взирает на русского князя. Так, присоединение Крыма он закрепляет тем, что сохраняет за татарами самое широкое самоуправление и полную религиозную свободу. Им же учреждаются в новоприсоединенных краях школы — русские, греческие, татарские, и он же, никому не перепоручая, печется о составлении и издании учебников для этих школ. Мудрено ль, что вся Моздокско-Кизлярская укрепленная линия вдоль Кавказа, им созданная, остается покойной?.. Словом... Словом, продолжи-

тельного рассказа чуть ли не о каждом его деянии требует жизнь светлейшего князя Потемкина. А потому сегодня мы только напоминаем читателю некоторые известные, иногда не очень известные, а то и вовсе забытые эпизоды жизни человека столь странной, столь непостижимой судьбы.

В 1762 году Потемкин, будучи еще в чине подпоручика лейб-гвардии конного полка, был послан в Швецию с уведомлением о вступлении на престол императрицы Екатерины. Один из шведских вельмож, показывая Потемкину королевский дворец, ввел его в залу, где хранились трофеи и знамена, отнятые у русских, и сказал:

— Посмотрите, какое множество знаков славы и чести наши предки отняли у ваших.

— А наши, — отвечал Потемкин, — отняли у ваших еще больше городов, которыми и теперь владеют.

В 1782 году товарищ Потемкина по университетской гимназии Фонвизин поставил в театре свою комедию «Недоросль», которая имела колоссальный успех. Потемкин один из первых оценил значение этой комедии и, встретившись с Фонвизиным при выходе из театра, сказал ему пророческие слова:

— Умри теперь, Денис, или хоть больше уже ничего не пиши! Имя твое будет бессмертно по одной этой пьесе!

В 1774 году, когда в Запорожской Сечи умножились смуты и беспорядки, уже давно тревожившие правительство, и императрица решила наконец принять строгие меры, то испуганные запорожцы поспешили отправить в Петербург депутатов хлопотать о пользах войска и просить снисхождения. Во главе депутации находился полковой старшина Головатый, лично известный Потемкину, который незадолго перед тем сам вписался в сечевые казаки под именем Грицко Нечеса. По приезде в Петербург Головатый незамедлил явиться к князю, представил ему проект о реформе Сечи и именной список лиц, которых необходимо удалить из войска под разными предложениями, чтобы не дать подозрений, и при этом уверял в безусловной верности прочих старшин и казаков и во всеобщем их согласии на реформу. Потемкин, выслушав речь Головатого, свырнул поданные им бумаги в угол и сказал:

— Право! Не можно вам оставаться. Вы крепко расшалились и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела.

Тут он показал Головатому толстую тетрадь, в которой были исчислены все хорошие и худые дела Запорожья и размещены одни против других.

«Все было записано верно, — рассказывал Головатый. — Никакое обстоятельство из обеих действий не осталось скрыто или ослаблено, только, хитра писачка, що зробив? Худые дела Сечи

написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробьев, а что доброго сделала Сечь, то было написано часто и мелко, точно маком усыпано. От того наши худые дела занимали больше места, нежели добрые».

Через несколько времени Головатый, ничего не предчувствуя, пришел по обыкновению к князю. Потемкин, увидя его, сказал: — Все кончено. Текелли* доносит, что исполнил поручение. Пропала ваша Сечь. (Донесение об уничтожении Сечи было послано Текелли из лагеря при ней 6 июня 1775 года.)

Пораженный этой вестью, Головатый запальчиво возразил:

— Пропали же и вы, ваша светлость!

— Что ты врешь? — закричал Потемкин и притом, — вспомнил Головатый, — так взглянул на меня, что я на лице его ясно прочел мой маршрут в Сибирь и потому крепко струсил; надо было поспешить смягчить гнев на милость и, несмотря на страх, я нашелся и ответил ему: — Вы же, батьку, вписаны у нас казаком; коли Сечь уничтожена, то и ваше казачество кончилось.

— То-то же, ври да не завирайся! — сердито сказал князь.

Вскоре после этого происшествия депутаты были переименованы в армейские чины и отпущены из столицы. Головатый же награжден чином поручика.

Знаменитый механик-самоучка Кулибин носил всегда русскую одежду и бороду. Однажды князь Г. Г. Орлов посоветовал ему надеть немецкое платье и сбрить бороду, говоря, что это много подвинет его вперед к лестнице гражданских почестей. Кулибин почтительно отказался, но при случае сообщил Потемкину о совете Орлова.

— Полно, брат! — отвечал князь, улыбнувшись. — У нас и так довольно немцев, оставайся хоть ты один русским. А коли тебе хочется отличий, то мы отличим тебя. Я буду ходатайствовать у государыни.

Действительно, по просьбе князя Кулибин получил вскоре большую золотую медаль на андреевской ленте, для ношения на шее. На лицевой стороне медали было изображение императрицы, а на оборотной — Минерва с лавровой ветвью в руке; внизу была надпись: «Достойному». Нужно заметить, что в то время подобное отличие считалось величайшею редкостью: кроме Кулибина, в целой России еще только один Злобин, известный тогдашний откупщик и поставщик разных предметов в казну, имел золотую медаль на андреевской ленте.

Некто В. считал себя одним из близких и коротких людей в доме Потемкина, потому что последний входил с ним иногда в разговоры и любил, чтобы он присутствовал на его вечерах. Самолюбие внушило В. мысль сделаться первым лицом при князе. Обращаясь к Потемкину час от часу фамильярнее, В. сказал ему однажды:

* Текелли Петр Авраамович — происхождением серб; на русской службе в чине генерал-поручика командовал войсками, расположенными в Новороссии.

— Ваша светлость нехорошо делаете, что не ограничите число имеющих счастье препровождать с вами время, потому что между ними есть много пустых людей.

— Твоя правда,— отвечал князь,— я воспользуюсь твоим советом.

После того Потемкин расстался с ним, по обыкновению, очень ласково и любезно. На другой день В. приезжает к князю и хочет войти в его кабинет, но официант затворяет перед ним двери, объявляя, что его не велено принимать.

— Как? — произносит пораженный В.— Ты, верно, ошибаешься во мне или в моем имени?

— Никак нет, сударь,— отвечает официант,— я довольно вас знаю, и ваше имя стоит первым в реестре лиц, которых князь, по вашему же совету, приказал к себе не допускать.

В самом деле, с этого времени Потемкин более уже никогда не принимал к себе В.

Потемкин страстно любил музыку. Он содержал на свой счет оркестр из 60 превосходных музыкантов под управлением знаменитого Сарти, труппу оперных певцов и певиц, хор русских песенников, хор рожечников, молдаван, играющих на свирели, и, наконец, еврейских и венгерских музыкантов. Все эти хоры и оркестры неотступно следовали за ним даже в походах и на каждом роздыхе увеселяли его концертами и представлениями. Стоило только Потемкину узнать о существовании какого-нибудь замечательного виртуоза, как у него тотчас же являлось непреодолимое желание завербовать этого артиста в свою труппу или по крайней мере послушать его; он посылал за ним курьеров, предлагал большие суммы денег и ужасно сердился, если посланные возвращались с отказом. Окружавшие князя должны были прибегать иногда к обманам. Так, например, Потемкину сказали однажды, что некто граф Морелли*, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Князь приказал его выписать. Один из адъютантов отправился курьером в Италию, явился к графу, объявил ему приказ светлейшего и предложил тотчас же садиться в экипаж и скакать в Россию. Благородный виртуоз взбесился, послал к черту и Петербург, и курьера. Делать было нечего. Но как вернуться к князю, не исполнив поручения? Догадливый адъютант отыскал какого-то скрипача, бедняка не без таланта, и легко уговорил его назваться графом Морелли и ехать в Россию. Его привезли и представили Потемкину, который остался очень доволен игрою самозванного графа и велел вручить ему драгоценный подарок.

Потемкин, по обычаю тогдашних вельмож, держал открытый стол. В числе незваных гостей, почти ежедневно являвшихся обедать, находился некто Б. Он всегда прежде других садился за стол и первый брал карту, когда князь изъявлял желание играть. Б. был очень недалек, и потому Потемкин терпел его и забавлялся его разговорами и суждениями. Тот по глупости своей вообра-

* Граф Морелли — известный флорентийский музыкант.

зил, что Потемкин питает к нему особенное расположение и дружбу, начал гордиться этим и хвастаться, обещал многим свое покровительство и стал даже вмешиваться в дела князя. Потемкину наконец все это надоело; он решился проучить Б. и показать всем, какую роль играет при нем последний. Однажды Б. пришел к князю обедать раньше всех, так что в столовой не было никого, кроме двух любимых княжеских адъютантов.

— Как жарко, — сказал Потемкин, — поедем купаться.

Б. обрадовался приглашению. Поехали в Летний сад. Б. не имел на передней части головы волос и потому носил накладку.

— Где ж мы станем раздеваться? — спросил он князя.

— Зачем раздеваться, — отвечал Потемкин и вошел в бассейн в халате. Б. начал упрямяться, но его шутя втащили в воду в мундире и купали до тех пор, пока не смыли с головы накладку. После купанья Б. просился ехать домой, чтобы переодеться. Потемкин его не пустил, привез к себе, заставил мокрого и с блестящею головою обедать, играть в карты, танцевать и таким образом быть целый вечер всеобщим посмешищем.

Потемкин любил играть в карты преимущественно на драгоценные камни. Как-то один из вельмож проиграл ему довольно значительную сумму и уплатил ее бриллиантами, которые стоимостью были гораздо меньше проигрыша. Князь узнал об этом лишь на другой день, когда велел ювелиру оценить камни. Не сказав ни слова и не показывая вида неудовольствия, Потемкин задумал наказать недобросовестного игрока и предложил ему при первом же свидании прогулку в болотистое место. Тот согласился. Князь тайно приказал кучеру, который должен был вести вельможу, подделать коляску таким образом, чтобы она при первом же толчке сорвалась с передка и упала, а кучер с передком ехал бы дальше, не оглядываясь и не слушая криков. День был холодный и дождливый. Потемкин, обыкновенно ездивший в карете, поехал на этот раз верхом, а все приглашенные к прогулке, по желанию его, отправились в открытых экипажах. Прогулка была назначена на довольно отдаленное расстояние и притом в открытую степь, где не было ни селений, ни деревьев, чтобы укрыться от дождя; а между тем небо кругом заволакивалось тучами. На половине дороги пришлось проезжать через огромную и грязную лужу; когда коляска, в которой сидел вельможа, въехала в воду, князь крикнул кучеру: «Попшел!» — и сам, поворотив круто коня, поскакал назад, а за ним и все сопровождавшие его. Кучер, согласно полученному приказанию, хлестнул лошадей и дернул коляску так сильно, что она, сорвавшись с передка, села посреди самой лужи. Вельможа начал кричать и браниться, но кучер, не слушая ничего, уехал на передке. Как нарочно, в эту самую минуту полил страшный дождь. Вымоченный насквозь, вельможа должен был поневоле тащиться назад пешком несколько верст по колену в грязи и в воде. Потемкин ожидал его у окна и встретил громким смехом. Этим ограничилось все мщение князя недобросовестному игроку.

В другой раз Потемкин наказал гораздо строже одного из своих партнеров, который, пользуясь рассеянностью князя, обиграл его нечестным образом.

— Нет, братец,— сказал Потемкин,— я с тобой буду играть только в плевки. Приходи завтра.

Приглашенный не преминул явиться.

— Плюй на двадцать тысяч,— сказал князь.

Партнер собрал все силы и плюнул.

— Выиграл, братец; смотри, я дальше твоего носа плевать не могу! — произнес Потемкин, отдавая выпрыщ.

Один полковник, прославившийся храбростью, был вынужден, вследствие тяжелых ран, оставить фронтową службу и, не имея никакого состояния, просил об определении в коменданты. С этою целью он приехал на главную квартиру в Яссы и подал Потемкину представление о себе дивизионного начальника со множеством похвальных свидетельств. В течение нескольких месяцев полковник почти ежедневно являлся в приемную князя и, тщетно дожидаясь решения своей участи, прожил все находившиеся при нем деньги и дошел до того, что начал нуждаться в куске хлеба. В этом критическом положении, не зная, что предпринять, он обратился за советом к приближенным князя. Так как Потемкин не любил никаких ходатайств и напоминаний, то приближенные, сжалясь над полковником и не смея лично хлопотать за него, посоветовали ему прийти к светлейшему в шесть часов пополудни, когда он бывает один и занимается слушанием своей музыки, и резко, не жалея даже грубостей, высказать князю прямо всю правду. Полковник в точности исполнил наставление; он смело вошел в зал и еще смелее объяснил Потемкину свое требование и плачевное положение, в которое поставлен благодаря проволочке дела.

Князь вспыхнул от досады и, обратясь к стоящему возле молодому чиновнику своей канцелярии, сказал ему:

— Гони его вон!

Чиновник, поняв слова князя буквально, немедля бросился на полковника с явным намерением вытолкать его в шею; но едва только приблизился к нему, как храбрый воин, пораженный такой дерзостью, не помня себя, одной пощечиной свалил молодого человека на пол и в пылу негодования продолжал бить его по чем попало. Потемкин, увидя эту сцену, расхохотался, подбежал к сражающимся, нагнулся к побежденному и крикнул ему:

— Парень! Поправься!.. Поправься!

Полковник, опомнившись, бросил чиновника и скрылся, считая себя навсегда погибшим. Однако он обманулся. Вспыльчивый, но добрый, Потемкин всегда раскаивался в тех неприятностях, которые несправедливо наносил кому-либо в минуты гнева, и спешил тотчас загладить и исправить их. Так поступил он и теперь. Полковник на другой же день получил ордер от князя на определение в коменданты в то самое место, куда желал, приказ о выдаче прогонов и значительную сумму денег в подарок. Сверх того Потемкин произвел его в бригадиры и впоследствии не переставал покровительствовать ему.

Потемкин неоднократно назывался на обед к Суворову, а тот всячески отыгрывался, но наконец был вынужден пригласить князя с многочисленною свитою. Накануне назначенного для обеда дня Суворов позвал к себе лучшего княжеского метрдотеля, Матоне, и поручил ему, не щадя денег, изготовить великолепнейший стол, а для себя велел своему повару Мишке приготовить только два постных блюда. Обед был самый роскошный и удивил даже Потемкина; но Суворов, под предлогом нездоровья, ни до чего не касался, за исключением своих двух блюд. На другой день, когда метрдотель принес ему счет, простирившийся за тысячу рублей, он надписал на нем: «Я ничего не ел», — и отправил к князю. Потемкин рассмеялся и тотчас же заплатил деньги, сказав:

— Дорого стоит мне Суворов!

Однажды в лагере под Очаковым принц де Линь в присутствии Потемкина хвалил храбрость австрийского императора Иосифа II, оказанную в каком-то сражении. Потемкин промолчал. На другой день, надев парадный мундир, во всех орденах, окруженный блестящим штабом, он отправился осматривать только что заложенный редут на берегу Черного моря почти под самыми стенами крепости. Ядра и пули сыпались со всех сторон. Находившиеся в свите князя генерал-майор Синельников и казак были смертельно ранены; последний испустил жалостный вопль.

— Что ты кричишь? — сказал Потемкин и продолжал хладнокровно распоряжаться работами. Окружавшие князя начали представлять ему опасность, которой он себя подвергает.

— Спросите принца де Линя, — отвечал с досадой Потемкин, — ближе ли к неприятелю стоял при нем император Иосиф, а то мы еще подвинемся вперед.

Во время осады Очакова турки очень часто беспокоили нашу армию вылазками из укрепления Березань, построенного недалеко от Очаковской крепости. Потемкин призвал к себе войскового судью незадолго перед тем сформированного «войска верных черноморских казаков» Головатого и сказал ему:

— Головатый, как бы взять Березань?

— Возьмем, ваша светлость! А чи буде крест за те?

— Будет, будет, только возьми.

— Чуемо, ваша светлость! — сказал Головатый и вышел.

Немедленно послал он разведать о положении Березани и узнал, что большая часть гарнизона вышла из укрепления для собирания камыша. Головатый нспешно посадил казаков на суда, пристал спокойно к берегу, без всякого шума высадил отряд и без сопротивления завладел Березанью. Затем, отпустив свои суда, он передел казаков турками и поставил из них караулы.

Гарнизон возвратился и, ничего не предполагая, беспечно входил малыми отрядами в укрепление. Головатый забирал их по частям и, управившись как должно, явился с ключами Березани к Потемкину.

Входя в ставку светлейшего, Головатый запел громким голосом церковную песнь «Кресту твоему поклоняемся, владыко!» и, поклонясь низко Потемкину, положил к ногам его ключи Березани и на своем наречии, с приличными приговорками и прибаутками, донес о действиях казаков и в заключение повторил: «Кресту твоему поклоняемся, владыко!»

— Получишь, получишь, — сказал обрадованный князь, обнял Головатого и возложил на него орден Св. Георгия 4-го класса.

В 1789 году во Франции разгорелась революция. Потемкин, зорко следивший из своего Очаковского лагеря за ходом европейской политики, счел необходимым, ввиду предстоящих событий, достать из французского министерства иностранных дел некоторые важные бумаги, касавшиеся России. И вот он призывает любимого своего адъютанта Баура, велит ему взять дорожную и скакать в Париж за модными башмаками для Прасковьи Андреевны Потемкиной*. Закипел по офицерским землянкам говор о новой причуде князя Таврического: «Странен, смешон князь! В Сибирь посылает за огурцами, в Калугу — за тестом, в Париж — за башмаками!» А между тем князь сунул в дорожную сумку Баура пакет на имя одного из тогдашних банкиров и несколько секретных писем к кое-кому в Париже, обнял его, и тот ускакал, сопровождаемый улыбками и веселыми шутками. По приезде в Париж Баур вручил пакет и письма по принадлежности, а сам пустился хлопотать, суетиться, бегать по всем модным лавкам и заказывать модные башмаки «pour madame Potemkin». Князь знал, кого куда посылать и кому что поручать! Через сутки уже весь Париж толковал о странной фантазии русского вельможи — прислать своего адъютанта в столицу Франции за парой башмаков! Какой-то артист даже успел сочинить по этому поводу водевиль и поставить его в театре. Но в то время как парижане занимались разговорами о чудачествах князя, банкир отсчитывал перед одной дамой шестьдесят тысяч червонцев с тем, чтобы она ловкою рукой выбрала из бюро страстно влюбленного в нее министра «такие-то» бумаги. Золото придало корыстолюбивой сильфиде крылья и решимость; она слетала куда следует, вытащила из заперти бумаги и получила за услуги обещанное. Баур накупил целый короб модных башмаков, крепко-накрепко увязал бумаги на грудь и внезапно исчез из Парижа. Обожатель сильфиды хватился пропажи, но слишком поздно — она уже была в руках Потемкина.

Во время движения русской армии к турецкой крепости Бендеры, в 1789 году, в авангарде произошла ночью небольшая стычка. Потемкин, услышав перестрелку, немедленно сел на лошадь и поехал вперед. Дорогой он встретил партию казаков, из которых один, весь в крови, шел пешком и во все горло пел песни. Князь остановился, подозвал к себе казака и спросил, что с ним случилось.

* П. А. Потемкина (урожденная Закревская) — жена генерал-аншефа графа Павла Сергеевича Потемкина, дальнего родственника светлейшего.

— Батько свитлый,— отвечал казак,— отказаковался я, пропала рука! Сучий турчин отбив из грамады! — и при этом показал князю оторванную ядром по самый локоть руку, которую он нес, завернувши в тряпку.

Потемкин вздохнул, вынул из кармана десять червонцев и подарил их казаку.

После взятия Бендер Потемкин призвал Головатого и спросил его, нет ли у него из числа возвратившихся из Турции беглых запорожцев, таких, которых можно было бы послать к Измаилу для разведывания о пришедшем туда турецком флоте и о положении островов в устье Дуная, ниже крепости.

— Отрывай, батьку,— отвечал Головатый,— я пиду пораспитаюсь до коша (т. е. хорошо, батюшка, я пойду в лагерь и пораспрошу казаков).

Головатый нашел многих, способных выполнить поручение; оказалось, что некоторые из них даже знали инженерную науку, умели рисовать и брались начертить всеу планы с величайшею точностью. Когда Головатый донес об этом князю, тот немедленно приказал снабдить казаков всем нужным, но Головатый остановил его, сказав:

— Треба только хлиба дать, а бильше ничего.

Вызвавшиеся на опасное поручение запорожцы в числе сорока двух человек отправились к устью Дуная, сели там на мелкие рыбацкие лодки, взяли невода и объехали свободно весь турецкий флот, показывая вид, что ловят рыбу. Турки сначала было остановили их, но казаки уверили, что они турецкие запорожцы, и были отпущены. Таким образом, им удалось снять подробные планы расположения турецкого флота и крепостей Измаила и Браилова. Окончив поручение, запорожцы возвратились в Яссы, где находилась тогда главная квартира. Головатый поспешил представить планы князю, который был чрезвычайно удивлен верностью чертежей, подробностью собранных сведений и пожелал лично выразить свое удовольствие запорожцам. Головатый привел их в залу и поставил в одну шеренгу. Все они были оборваны, оципаны, в рубищах; некоторые не имели на себе даже рубашек, не только платья или обуви. Потемкин вышел и, думая, что это стоят нищие, спросил у Головатого:

— Да где ж они?

— Вот они, батьку,— отвечал тот, указывая на запорожцев.

Князь так был поражен представившейся ему картиной бедности, что прослезился. Он тут же произвел 16 человек запорожцев в офицеры, а остальных, которые отказались от чина, велел обмундировать с ног до головы в лучшее казацкое платье и сверх того подарил каждому по сто червонцев. Но ни денег, ни платья не стало некоторым из них и на месяц — все пропили и остались опять в чем мать родила.

В турецкую кампанию 1789 года Потемкин обложил какое-то укрепление и послал сказать начальствующему в нем паше, чтоб сдался без кровопролития. Между тем в ожидании удовлетворительного ответа приготовлен был великолепный обед, к которому приглашены были генералитет и все почетные особы, к свите

князя принадлежащие. По расчету светлейшего, посланный парламентар должен был явиться к самому обеду, однако ж он не являлся. Князь сел за стол в дурном расположении духа, ничего не ел, грыз, по обыкновению своему, ногти и беспрестанно спрашивал, не едет ли посланный. Обед приходил к окончанию, и нетерпение князя возрастало. Наконец вбегает адъютант с извещением, что парламентар едет. «Скорей, скорей сюда его!» — восклицает князь, и через несколько минут входит запыхавшийся офицер и подает князю письмо; разумеется, в ту же секунду письмо распечатано, развернуто... Но вот беда: оно писано по-турецки — новый взрыв нетерпения! «Скорее переводчика!» Переводчик является. «На, читай и говори скорее, сдается ли укрепление или нет?» Переводчик принимает бумагу, читает, оборачивает письмо, вертит им перед глазами туда и сюда, пожимает плечами и не говорит ничего. «Да говори же скорее, сдается укрепление или нет?» — восклицает князь в величайшем порыве нетерпения. «А как вашей светлости доложить? — прехладнокровно отвечает переводчик. — Я в толк не возьму. Вот извольте видеть, в турецком языке есть слова, которые имеют двоякое значение: утвердительное и отрицательное, смотря по тому, бывает поставлена над ним точка или нет; так и в этом письме находится именно такое слово. Если над этим словом поставлена точка пером, то укрепление не сдается, но если эту точку насидела муха, то на сдачу укрепления паша согласен». — «Ну разумеется, что насидела муха!» — восклицает светлейший и тут же, соскоблив точку столовым ножом, приказал подавать шампанское и первый провозгласил тост за здоровье императрицы. Укрепление точно сдалось, но только через двое суток, когда паше обещаны были какие-то подарки; а между тем донесение государыне о сдаче укрепления послано было в тот же день, когда светлейший соскоблил точку, будто бы мухой насиженную.

В кампанию 1790 года Потемкин поручил Суворову взять важную турецкую крепость Измаил, считавшуюся неприступной. Действительно, Измаил был сильно и искусно укреплен французскими инженерами, вооружен 200 орудиями большого калибра, изобильно снабжен всякими припасами и вмещал в себе тридцатипяти тысячный гарнизон под начальством старого и опытного воина сераскира Аудузлу-паша. Несмотря на то, что армия Суворова состояла всего из двадцати восьми тысяч человек, русский полководец внезапно явился под стенами Измаила и овладел им после ужасного и кровопролитного штурма, в котором погиб почти весь гарнизон. Взятие Измаила произвело сильное впечатление не только на Турцию, но и на всю Европу. Потемкин, находившийся в то время в Яссах, желал лично выразить Суворову свою признательность, пригласил его в главную квартиру и велел приготовить ему торжественную и почетную встречу; но Суворов нарочно приехал в Яссы ночью и на другой день рано утром отправился к князю в длинной молдавской повозке, заложеной парю лошадей в веревочных шорах. Однако адъютант Потемкина, увидя в окно странный экипаж, узнал в нем Суворова и побежал доложить об его приезде князю.

Потемкин вышел на крыльцо, с радостным видом обнял и расцеловал измаильского победителя, говоря ему: «Чем я могу наградить вас за ваши заслуги?» Суворов обиделся и отвечал: «Нет, ваша светлость, я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилостивейшей государыни, никто не может!» Потемкин весь изменился в лице, замолчал и пошел в залу в сопровождении Суворова. Здесь князь холодно принял от него рапорт и, не сказав ни слова, удалился во внутренние покои, а Суворов уехал домой. Последствием этого обоюдного неприятного свидания было то, что Суворов за взятие Измаила получил вместо ожидаемого им фельдмаршальского жезла только звание подполковника лейб-гвардии Преображенского полка.

Один небогатый дворянин потерял вследствие пожара все свое имущество и остался с многочисленной семьей в крайней нищете. Нечаянно встретившись с Потемкиным и вовсе не зная его, он рассказал ему о своем несчастье. Потемкин подарил ему рубль и вместе с тем поручил правителю своей канцелярии Попову разведать о его положении. Узнав, что бедняк говорил ему правду и действительно находится в крайности, князь назначил ему из своих доходов ежегодную пенсию в 600 рублей, которую тот и получал в течение нескольких лет, не ведая даже имени своего благодетеля.

Во время пребывания Потемкина в Яссах людям его была отведена квартира в доме одного купца; через несколько дней у последнего случилась довольно значительная покража, грозившая ему совершенным разорением. Купец принес Потемкину жалобу, объясняя, что повод к краже подали его люди, которые беспрерывно, днем и ночью, ходили со двора, и потому нельзя было запираить ворота и двери. Потемкин, убедившись в справедливости жалобы купца, приказал немедленно вознаградить его сполна наличными деньгами из своей шкатулки.

Когда вышла в свет книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой Потемкин изображен восточным сатрапом, роскошествующим в великолепной землянке под стенами какой-то крепости, то императрица поспешила отправить экземпляр этого сочинения своему любимцу, осаждавшему в то время Очаков. Потемкин отвечал ей: «Я прочел присланную мне книгу. Не сержусь. Разрушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, он и на вас взводит какой-то клевет. Верно, и вы не понегодуете. Ваши деяния — ваш щит».

Мещанин Яковкин занимался в Петербурге мелочной торговлей. В его лавке находилось в изобилии все, что нужно для военного человека: чай, сахар, кофе, сливки, молоко, хлеб, булки, мыло, клей, мел, позументы, сапожный товар, вакса, пудра, мед, огурцы, капуста, колбасы и прочее. Яковкин, как тогда говаривали, был кормилец нижних чинов половины гвардии. Правда, он недешево продавал гвардейцам свой товар, но зато верил им

в кредит. Потемкин, служа в Конногвардейском полку, забирал разную мелочь у Яковкина и был постоянно ему должен, потому что получал от отца весьма ограниченное содержание. Вскоре Потемкин начал быстро возвышаться и уехал из Петербурга в армию, совершенно забыв о долге своему Яковкину. Между тем последний, не получая уплаты от множества должников, мало-помалу падал и наконец обанкротился. Займодавцы, рассмотрев счета Яковкина, признали его должником и посадили в тюрьму. Сын Яковкина, юноша восемнадцати лет, предвидя беду, с согласия отца, скрылся, имея в кармане всего семнадцать рублей. Тщетно кредиторы отыскивали его — он проводил где день, где ночь, и потом приютился у раскольников в одной из белорусских губерний. Вследствие просьбы кредиторов правительство присудило отдать старика Яковкина, еще стройного и ловкого, в солдаты; ему забили лоб и определили на службу в полевые полки.

В то время как старик Яковкин тянул тяжелую солдатскую лямку, сыну его часто приходило на мысль явиться к светлейшему князю Потемкину и получить с него должок, простирившийся, впрочем, до пятисот рублей. Но как осмелиться беспокоить могущественнейшего из вельмож? Да и допустят ли к нему? Однако до Яковкина стали доходить слухи, что светлейший очень милостив к простому народу и солдатам, допускает их к себе без замедления и что только одни высшие чины не смеют войти к нему без доклада, а простого человека адъютанты берут за руки и прямо вводят к князю. Слухи эти ободрили Яковкина, он решился и, помолясь Богу, пустился пешком в армию, в Новороссийский край, который тогда устраивал Потемкин. Здесь он отыскал знакомого маркизанта, расспросил его, когда, как и через кого можно достигнуть до светлейшего и, получив подробные наставления, явился в княжескую приемную и объяснил дежурному адъютанту, что имеет крайнюю нужду лично поговорить с его светлостью. Адъютант повел его через все покои, мимо толпившегося генералитета и других чиновных особ прямо в кабинет князя. Потемкин взглянул на Яковкина:

— Кто ты такой? Что тебе нужно от меня?

Яковкина обдало жаром и холодом; сердце в нем замерло, он упал на колени и трепещущим голосом сказал:

— Я Яковкин, сын бывшего мелочного торговца в Петербурге.

Потемкин задумался на несколько секунд. Это имя, этот человек напомнили ему былое, давно прошедшее... Опустив голову, он, по обыкновению, грыз ногти и потом вдруг весело улыбнулся и проговорил:

— А! Теперь только я вспомнил и тебя — тогда еще мальчика, и отца твоего, честного человека. Встань! Ну как же поживает твой старик?

— Давно не видал его, ваша светлость, — отвечал ободренный Яковкин, — он отдан в военную службу по приговору займодавцев. — И рассказал ему все, как было.

— Вы глупы оба! — возразил князь. — Почему он не писал ко мне? Почему ты тогда же не явился? А?.. Да в каком полку твой старик?

— В Нижегородском пехотном полку служит солдатом, ваша

светлость. А я, отец ты мой, не смел явиться к тебе; опасался. Да наконец услышал от одного проезжего офицера, что ты, государь милостивый, принимаешь всех нас, бедных, решился и вот пришел к тебе, мой отец! Не оставь меня и отца моего!

— Встань, встань! — сказал князь и, обратясь к адъютанту, прибавил: — Баур, возьми его на свои руки; одень и все, все ему. Да, кажется, я еще должен твоему отцу, Яковкин?

— Так, ваша светлость; было малое толико.

— А сколько? Ведь я согрешил, забыл и что должен-то был!

— Да 495 рублей 21 копейку с деньгой.

— Ну, хорошо; ступай теперь. После увидимся.

Через несколько дней Яковкин был вымыт, выхолен и одет щегольски в кафтан из тонкого сукна, подпоясан шелковым кушаком, в козловых сапогах с напуском и рубашке тонкого александрийского полотна с косым воротом, обложенным позументом, на котором блестела золотая запонка с крупным бриллиантом. В этом наряде он был представлен Бауром к князю.

— А! Господин Яковкин, здравствуй! — весело встретил его Потемкин. — Да ты сделался молодцом!

— Ваша светлость! — Яковкин упал на колени. — Да наградит же вас Господь Бог! От милости твоей я не знаю, жив ли я или мертв! Вот третий день я как во сне, живу, словно в раю. Спасибо же вам, отец родной!

Князь был в духе, велел Яковкину говорить откровенно всю правду, и тот между прочим рассказал ему, что третьего дня у него было денег всего четырнадцать алтын, а одежды — только что на нем; что он умеет хорошо читать и писать, знает арифметику, мастерски считает на счетах и т. д. Потемкин выслушал все и спросил:

— Скажи-ка мне, Яковкин, не хочешь ли ты быть поставщиком всего нужного в полевые лазареты для больных моей армии?

Яковкин не понял вопроса и отвечал:

— Ваша светлость, да у меня не только лошади с повозкой, но и кнутовища нет; а рад бы душою служить вашей светлости!

— Не то, — возразил князь, — ты не понял. — И, обращаясь к Попову, сказал: — Василий Степанович! Старого поставщика долой, расчесть — он испортился; а Яковкина на его место; он первой гильдии купец здешней губернии. Растолкуй ему, в чем дело. Для первых оборотов дать ему денег взаймы, дать и все способы. Все бумаги приготовить и представить ко мне. Ну, Яковкин, теперь ты главный подрядчик. Поздравляю! Э! Василий Степанович! А что ж о старике?

— Писано, ваша светлость, — отвечал Попов, — к полковому командиру, чтоб он произвел его в сержанты, имел к нему особенное внимание и об исполнении донес вашей светлости.

— Хорошо, — сказал князь, — да не забудь: через шесть месяцев он аудитор с заслугою на подпоручий чин. Вот, — продолжал князь, обращаясь к Яковкину, — и отец твой сержант, а после будет и офицер.

Яковкин заплакал.

Так беспаспортный бедняк внезапно сделался купцом первой гильдии и подрядчиком на все припасы для госпиталей огромной

армии. Года через три он был уже титулярный советник и ездил в роскошной коляске, а еще через три года получил штаб-офицерский чин и ворочал сотнями тысяч.

Как-то светлейший спросил Яковкина:

— Я слышал, ты купил себе имение? А отцу купил ли?

— Я для себя купил имение, а для отца еще нет.

— Купи и ему. Он стар и ему время на покой.

Воля князя была немедленно исполнена. Старик Яковкин, покровительствуемый Потемкиным, дослужился до капитанского чина, вышел в отставку и зажил барином в своем поместье.

Скоро молодому Яковкину показалось мало быть подрядчиком для продовольствия госпиталей; он торопился нажить капитал и получил винный откуп в трех губерниях. Однажды у него случился недостаток в деньгах; он обратился к Попову, который, по приказанию светлейшего, дал отношение казенной палате об отпуске Яковкину нескольких десятков тысяч рублей. Палата, руководствуясь законами, отказала и почтительно донесла о том князю. Тогда-то последовала на имя членов палаты известная своеручная записка Потемкина в двух коротких стихах... После этой выразительно-убедительной записки деньги Яковкину были тотчас же выданы. Старики долго помнили содержание знаменитого двустихия и, покачивая головами, говорили:

— Силен был Потемкин!

Как-то Суворов прислал к Потемкину с донесением ротмистра Софийского кирасирского полка Линева, человека умного, образованного, богатого, но вместе с тем и весьма невзрачного. Посланный был тотчас же представлен князю. Принимая от Линева депешу, Потемкин взглянул на его некрасивое лицо, усмехнулся, скорчил гримасу и произнес сквозь зубы:

— Хорошо, приди ко мне завтра утром.

Когда на другой день Линева явился к князю, тот пристально посмотрел на него, опять улыбнулся, скорчил гримасу и сказал:

— Ответ на донесение готов, но ты мне еще нужен; приди завтра.

Такое обращение Потемкина оскорбило самолюбивого Линева, и он довольно резко отвечал князю:

— Я вижу, что вашей светлости не нравится моя физиономия; мне это очень прискорбно; но, рассудите сами, что легче: вам ли привыкнуть к ней или мне изменить ее?

Ответ этот привел Потемкина в восхищение; он расхохотался, вскочил, обнял Линева, расцеловал его и тут же произвел в следующий чин.

В последнее время своей жизни Потемкин до того пресытился пирами и изысканными яствами, что только кислая капуста, соленые огурцы и ржаной хлеб дразнили его аппетит. В одном городе жители ожидали проезда князя, чтобы подать ему просьбу о весьма важном деле. Наконец ночью появляется экипаж Потемкина. Жители окружают его, но на их беду князь дремал и не велел себя тревожить и останавливаться в городе. В таком затруднительном положении горожане обратились к одному из

свиты Потемкина, который, тронутый их слезами, взялся устроить дело. Когда Потемкин сердито спросил, скоро ли будут готовы лошади, то этот обязательный человек отвечал:

— Сейчас, ваша светлость,— и потом прибавил как бы про себя со вздохом: — А какая здесь капуста, какой хлеб!..

Потемкин вдруг встрепенулся:

— Где, братец, давай сюды!

Капуста и хлеб мигом были поданы гражданами, а вместе с тем и просьба. Князь поел, похвалил капусту и хлеб, внимательно рассмотрел просьбу граждан и, найдя ее справедливою, тут же удовлетворил их.

В 1791 году Потемкин, возвращаясь из Ясс в Петербург, должен был проезжать через Тулу, где намеревался пробыть несколько дней, чтобы осмотреть оружейный завод. Когда намерение князя сделалось известным, в Туле все пришло в движение. Везде готовились роскошные пиршества, спектакли, иллюминации и разные другие увеселения. Местное начальство с неутомимым рвением спешило привести в порядок город и оружейный завод, желая заслужить хотя одно слово похвалы, хотя один взгляд одобрения князя. Губернский предводитель с дворянством и чиновники всех присутственных мест, в парадных кафтанах, находились в готовности по первой повестке явиться к тульскому наместнику генерал-аншефу Михаилу Никитичу Кречетникову, чтобы представиться могущественному вельможе. Самый народ, по-видимому, принимал живейшее участие в этой почетной встрече. Толпы поселян, пришедшие из ближайших сел и деревень посмотреть на человека, слава которого гремела по всей России, ежедневно, с раннего утра, собирались на Киевской улице, осаждали триумфальные ворота, дворец, где должен был остановиться светлейший, и крепость с двух сторон. Кречетников, хорошо зная Потемкина, приказал на всякий случай приготовить на каждой станции все, что только могло удовлетворить причудливый вкус князя. Тульский губернатор Лопухин ожидал его на границе Мценского уезда. Все суетилось, готовилось, хлопотало... Наконец Потемкин въехал в Тульскую губернию и, нигде не останавливаясь, даже не вылезая из своего зимнего дормеза, продолжил путь. Таким образом, сопровождаемый губернатором, капитан-исправником и некоторыми другими чиновниками, он проскакал Малое и Большое Скуратово — станции, где переменили лошадей, а Лопухин все еще не видел его. Желая непременно представиться светлейшему и донести об этом свидании наместнику, Лопухин решил обратиться к любимому адъютанту Потемкина Бауру, который был не только ему знаком, но даже несколько обязан. В Сергиевске, в шестидесяти верстах от Тулы, когда Баур, сидевший вместе с князем, вышел из дормеза, Лопухин просил его какими-нибудь средствами доставить ему случай видеть князя.

— Хорошо,— отвечал Баур,— я сделаю для вас все, что могу, но за успех не ручаюсь. — Затем, подойдя к дормезу и обращаясь к своим товарищам, другим адъютантам, которые походили на белых медведей от инея с головы до ног, громко сказал: — Вот

каков русский мороз — и без румян покраснеешь! Бррр... хорошо бы теперь, знаете, перекусить чего-нибудь да подкрепиться зеленым вином или просто водкою!

Потемкин молчал.

— Кто бы отказался от таких благ! — подхватил один из адъютантов, переминаясь с ноги на ногу у дормеза.

Потемкин молчал.

— Этак, пожалуй, чего доброго, застынешь, как студень, — продолжал Баур.

— Ты шутишь, а нам уже не до шуток — мы смертельно прозябли, — заметил ему кто-то из товарищей.

Потемкин молчал.

— Ваша светлость, — сказал наконец Баур, потеряв терпение, — здесь приготовлен вкусный завтрак.

Потемкин сделал легкое движение.

— Тульские гольцы теперь только из воды, а калачи еще горячие. Право, все это стоит внимания вашей светлости.

Поднятое стекло в дормезе опустилось.

— Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают того же...

— Гм! — отвечал Потемкин.

— А ерши, крупные, животрепещущие, так и просятся в рот...

— Ой ли?

— Сверх того, ваша светлость, — твердил Баур, — здесь мигом приготовят и яичницу-глазунью!..

— Вели отворить карету! — крикнул князь.

Потемкин вышел из дормеза, вытянулся во всю длину своего роста, окинул блуждающим взором своих полузамерзших спутников и сказал Попову и Бауру:

— Пойдем!

Они пошли к почтовому дому, где их действительно ожидали сытные яства и превосходное вино. Когда с князя сняли шубу и он сел в вольтеровское кресло в каком-то изнеможении, которое было следствием продолжительной и необыкновенно скорой езды, Баур доложил ему, что тульский губернатор уже две станции сопровождает их и желает представиться князю.

— Попроси сюда господина губернатора, — отвечал Потемкин и велел своему камердинеру подать флягу с водкой.

Баур поспешил отыскать Лопухина, ожидавшего его в другом отделении дома, где расположился Потемкин, и издали громко сказал ему:

— Его светлость просит ваше превосходительство к себе, — и потом прибавил вполголоса: — пожалуйста скорее.

Разумеется, Лопухин не заставил долго ждать себя. Он вошел к князю, который сидел в небрежном положении и отвинчивал серебряную крышку у фляги, оклеенной красным сафьяном. Увидя губернатора, Потемкин сделал легкое движение головой, что означало поклон, и с холодной важностью сказал:

— Напрасно вы беспокоились. Я слышал, что вы проехали с нами две станции.

— Три, ваша светлость, — отвечал Лопухин.

— Напрасно, повторяю вам. Я, право, не мог этого знать, потому что не выходил из кареты.

Между тем он отвинтил крышку фляги, налил из нее тминной водки, которую всегда употреблял, выпил до капли, потом налил Попову, а флягу отдал в распоряжение Баура, который, в свою очередь, также налил из нее, проглотил свою порцию и передал флягу камердинеру.

— Я здесь немного отдохну и позавтракаю,— продолжал Потемкин, обращаясь к Лопухину,— а вы поезжайте с Богом в Тулу и потрудитесь поклониться Михаилу Никитичу, с которым я сам скоро увижусь. Вас же лично благодарю.

И князь опять сделал легкое движение головою. Лопухин поклонился, вышел из комнаты, надел шубу, сел в сани и поехал в город.

После продолжительного молчания Баур, увидев, что принесли яичницу, напомнил о ней Потемкину, полулежавшему в креслах в мрачной задумчивости. Как бы проснувшись от летаргического сна, он встал и начал завтракать; его примеру последовала свита, и скоро яичница, а за нею и другие кушанья были истреблены по-военному.

В тот же день вся Тула осветилась блестящей иллюминацией — это означало, что светлейший въехал в город. Наместник, губернатор, вице-губернатор, губернский и уездный предводители с дворянством, многие военные генералы, штаб-офицеры, гарнизон, все чиновники присутственных мест и оружейного ведомства встретили его у дворца. Потемкин находился в хорошем расположении духа. Он был крайне вежлив с Кречетниковым, повторил свою благодарность Лопухину, сказал несколько приветливых слов генералам, губернскому предводителю, вице-губернатору, похвалил почетный караул, ординарцев и, раскланявшись с учтивостью, хотя и холодно, пошел во внутренние покои дворца вместе с наместником и губернатором.

За обеденным столом, к которому было приглашено более сорока особ, Потемкин, обращаясь к Кречетникову, сидевшему с ним рядом, сказал, указывая на некоторые кушанья:

— Я замечаю, Михаил Никитич, что вы меня балуете. Все, что я вижу, доказывает особое ваше обо мне озабочивание.

— Очень рад, ваша светлость,— отвечал Кречетников, улыбаясь,— что я мог угодить вам этими мелочами.

Взяв с тарелки огромную мясцовскую редьку, стоявшую на столе под хрустальным колпаком, Потемкин отрезал от нее толстый ломоть и продолжал:

— У вас каждое блюдо так хорошо смотрит, что я начинаю бояться за мой желудок...

Редька чрезвычайно ему понравилась, но он, к удивлению всех, взял вслед за тем свежий ананас, также находившийся на столе, разрезал его пополам и начал есть, заметив:

— У каждого свой вкус.

Когда наместник провозгласил тост за здоровье князя, музыка заиграла туш и артиллерия, привезенная на этот случай из парка, открыла пальбу.

— Все прекрасно, Михаил Никитич,— сказал Потемкин Кре-

четникову, — но здесь нет еще одной вещи, до которой я большой охотник и которую вы, помнится, прислали мне с курьером в Бендеры.

— Не могу догадаться, ваша светлость, — отвечал несколько изумленный Кречетников.

— Вы, кажется, и калужский наместник?

— Так точно, ваша светлость.

— И, вероятно, забыли, что тульские обарные калачи едва ли лучше калужского теста.

На другой день за завтраком Потемкин уже ел калужское тесто.

Между тем он не забыл главнейшей цели пребывания своего в Туле — оружейного завода. Князь посвятил ему два утра и осмотрел его подробно, во всех частях. Многое он одобрил, но многое нашел требующим значительных улучшений и преобразований. Потемкин тут же сделал некоторые распоряжения и приказал начальству выбрать двух чиновников, которых хотел послать в Англию для изучения оружейного искусства. Сверх того он изъявил намерение вызвать из этого государства опытных и знающих мастеров для закалки стали, которую делали у нас очень дурно. Предложения князя осуществились уже после его кончины.

Однажды за ужином Потемкин был очень весел, любезен, говорлив и шутил беспрестанно, но потом вдруг задумался, начал грызть ногти, что означало всегда неудовольствие, и наконец сказал:

— Может ли быть человек счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись как будто каким очарованием. Хотел чинов — имею; орденов — имею; любил играть — проигрывал суммы несчетные; любил давать праздники — давал великолепные; любил покупать имения — имею; любил строить дома — построил дворцы; любил дорогие вещи — имею столько, что ни один честный человек не имеет так много и таких редких. Словом, все мои страсти выполнялись.

Сказав это, Потемкин с силою ударил фарфоровую тарелкой об пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся.

Остроумный принц де Линь в письме своем, посланном в 1788 году из очаковского лагеря к французскому послу при русском дворе графу Сегюру, весьма оригинально и верно обрисовывает личность и характер Потемкина.

«Я вижу, — пишет де Линь, — главнокомандующего армией, ленивого по наружности, но трудящегося беспрестанно. Колени служат ему столом, а пальцы — гребнем; он вечно лежит, но ни ночью, ни днем не знает сна, потому что его усердие к обожаемой им государыне всякую минуту его мучит, потому что каждый пушечный выстрел терзает его, заставляя думать, что им убит который-нибудь из его подчиненных. Он робок за других и смел за себя: останавливается под сильным огнем батареи для отдачи приказаний; но более Улисс, нежели Ахилл. Он беспокоен в ожидании опасностей и весел, когда окружен ими; несчастлив

от чрезмерного счастья; всем скучает и очень скоро может всем наскучить; сух и непостоянен; глубокий философ, искусный министр, великий политик, ребенок двенадцати лет; не мстителен; просит прощения в сделанной им обиде; скоро и охотно заглаживает несправедливость; осыпанный многочисленными дарами своей великой владычицы, он раздает их в одну минуту; получает в подарок от императрицы деревни, возвращает их ей или платит государственные долги, не говоря ей о том ни слова; страшный богач и никогда не имеет в кармане копейки; чрезвычайно подозрителен и доверчив, как младенец; ревнив, благороден, угрюм и шутлив; легко предубеждаем во вред или пользу и также легко забывает предубеждение; говорит о богословии с генералом, о тактике с архиепископом; нахмурен, как дикарь, или пленяет веселым лицом своим; то мил, то отвратителен в обхождении; то гордый сатрап Востока, то самый любезный из придворных Людовика XIV; под личиною жестокости имеет самое нежное сердце; прельщается всем, как младенец, и во всем отказывает себе, как великий человек...

Итак, какова же его магия? Гений, и потом гений, и еще гений, природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, которые, случаясь в добрые минуты, привлекают к нему сердца всех; великая щедрость, милость и справедливость в раздавании наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он не знает, и величайшее познание людей».

110

На одной из черниговских церквей, во имя Св. Иоанна Богослова, висел 600-пудовый колокол, отличавшийся необыкновенно приятным звуком. Народная молва говорит, что, когда Потемкина по приезде в Чернигов в 1791 году встречали звоном во все городские колокола, он отличил звук богословского колокола и с удовольствием слушал его. Захворав, он пробыл в Чернигове три дня и в продолжение всего этого времени велел звонить в колокол. «Потемкин звонит по себе», — говорили в народе. Когда князь выехал из Чернигова, колокол стащили и повезли в только что основанный Екатеринославль. Народ со слезами провожал свою потерю. Вдруг колокол воротился с дороги... С ним вместе пришла весть о кончине Потемкина.

**Публикация, подготовка к печати и предисловие
АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.**

В последнее время на нашей эстраде не так часто вспыхивают новые звезды. И уж совсем редкость — надолго задержаться, утвердиться, завоевать любовь и признание зрителей.

Виктор Третьяков на профессиональной сцене шесть лет — сотни выступлений на радио и телевидении, многочисленные поездки с гастрольями по России и за рубежом, выпуск диска-гиганта «Колокол».

Показательно: как только в стране начинаются какие-нибудь «лихие события», в эфире звучат песни Виктора Третьякова. Так было в 91-м и совсем недавно, когда погиб Влад Листьев.

— Виктор, не удивляет вас, что резкий интерес к вашим песням на радио и телевидении возникает только тогда, когда у нас происходят, скажем так, «политические неприятности»?

— Какое уж тут удивление... Моя тематика, видимо, очень подходит к такого рода событиям.

И радости от этого не испытываю по вполне понятным причинам. Хотелось, чтобы мои песни звучали в «мирное время»...

ГИТАРА.

НЕРВ



— У вас есть песни об Афгане, и вы часто выступаете перед войнами-афганцами. А сами участвовали в той войне?

— Нет. Афгану я посвятил только две песни. Но «афганцы» считают меня «своим парнем», и у меня появилось много друзей среди них. Вообще в последнее время я постепенно стал отходить от так называемых «социальных» тем. Даже сделал «творческий перерыв», чтобы в душе все успокоилось, улеглось...

— И, видимо, еще для того, чтобы появились новые темы?

— Скорее всего я понял — мои песни стали использовать в политических целях. А я этого не хотел. Необходимо было осмыслить происходящее и, конечно же, найти другие точки опоры. Сейчас бунтарский дух ушел. Пишу на отвлеченные темы. О любви, например. Хотя на концертах исполняю как новые, так и старые песни.

— Вы выступаете в Театре эстрады с сольными концертами. Не тяжело «держат» зал? Ведь у вас нет оркестра, балетных девочек, всяческих заставок, дающих возможность артисту передохнуть...

— Действительно, на сцене только я и гитара. А силы и энергетический заряд мне дает мой зритель. Когда чувствуешь взаимопонимание, сопереживание, появляется как бы второе дыхание. Но я бы хотел сделать программу с оркестром. Натолкнул меня на эту мысль пример Владимира Высоцкого. Он иногда записывал свои песни в сопровождении оркестра, и они звучали так же душевно, что ли, как и под гитару, не утрачивая ни очарования, ни нерва. У меня была попытка исполнить песни под синтезатор. Но ничего не получилось. Электроника убивала душу песни. Я понял: для

моего жанра необходимы живые инструменты.

— Недавно по телевидению прошла передача режиссера Ирины Зубковской о Храме Христа Спасителя. На протяжении ее, как бы вторым планом, звучали ваши песни. И, удивительное дело, они необыкновенно гармонично слились с документальной хроникой, с историей строительства и уничтожения Храма... Вы человек верующий?

— Прийти к Богу — значит найти смысл в жизни. У каждого из нас наступает момент, когда мы вспоминаем о Боге. Так и у меня... По натуре я веселый человек и воспринимал жизнь легко... Но затем понял, особенно после того, как набил «шишки»: жить без Бога нельзя, нельзя петь о правде, а жить во лжи. И за все свои поступки ты должен ответить, рано или поздно. Я попытался разобраться в своей душе... Ответ, видимо, получу только на небесах.

— Не случайно в конце прошлого года весь сбор от одного сольного концерта вы перечислили на восстановление Храма...

— Может быть, это громко сказано, но я пытаюсь своим творчеством восстановить хоть что-то... Сейчас многие задаются вопросом: зачем тратить огромные деньги на восстановление, не лучше ли их отдать нуждающимся? Но ведь народ, если вспомнить историю, всегда нуждался. И тем не менее воздвигались церкви, соборы, храмы... Беда в том, что многие годы в нас уничтожались духовные корни, и мы перестали задумываться, какими предстанем перед Богом, живем только сиюминутным. А Храм должен стать символом, вокруг которого наш народ объединился бы.

— Недавно вы побывали во Франции. Как принимала публика?

Ведь ваш репертуар, прямо скажем, специфический, понятен только русской душе...

— У меня прошло несколько выступлений на юге Франции, где традиционно оседали русские, покинувшие родину. Так что мои «размышления о жизни под гитару» были вполне понятными.

— Наверно, грустно возвращаться домой после веселого, нарядного Парижа?

— В грязную, беспокойную Москву? Конечно, Париж прекрасный город. Туда хорошо съездить на недельку-другую, отключиться, повеселиться... И... вернуться. Пусть у нас жизнь не налажена и происходит все не так, как надо, но я хочу быть у себя дома. Это моя страна, и я счастлив, что родился в России.

— У вас есть музыкальное образование?

— Меня из музыкальной школы выгнали с треском, четыре года терпели. Тут я сам виноват — надоело фортепиано терзать. Гитару в руки взял лет в пятнадцать. Мои родители очень любили песни Высоцкого, в доме у нас было много его записей. Вот я и стал подражать. Даже что-то пытался сочинять. Но по-настоящему стал писать песни в армии. Конечно, про армейские будни, про любовь. Когда я учился в техникуме, принимал участие в художественной самодельности.

— Как же оказались на профессиональной сцене? Счастливый случай?

— Я проработал шесть лет инженером, и на этом моя техническая карьера закончилась. Я сделал выбор. Без сочинительства, без песни, без гитары не мыслю жизни. К сцене я стремился. Мне есть что сказать, что меня волнует, о чем болят душа и сердце.

Хотя без сложностей не обошлось. Когда стал записываться на радио в Риге, откуда я, кстати, родом, у меня был трудный период.

— В чем это проявилось, если не секрет?

— Секрета нет: запили. Постоянные приглашения на свадьбы, поминки, всяческие праздники и торжества...

— Вас приглашали как исполнителя?

— Конечно. Музыкальные премудрости постигал в кабацком рок-ансамбле. В Риге есть «Дом семейных торжеств», так я там в течение трех лет народ веселил. От водки совсем ошалел. В то время я познакомился с журналистом Валерием Петковым, которому очень нравились мои песни. Он и спас. Бросил свою работу, журналистику, увел меня из «Дома...», стал моим директором, импресарио. И все встало на свои места.

— Сейчас Рига превратилась в «ближнее зарубежье». У вас там остались корни?

— К сожалению, в Риге живут мои родители и сын. Горько, что русских там превратили в людей второго сорта.

— В одной из ваших песен есть такие слова: «Какими придем мы к родному порогу... Что скажем в свое оправдание Богу?» Это просто слова из песни или вопрос, на который вы пытаетесь ответить самому себе?

— По большому счету, я на сцену выхожу именно за тем, чтобы заронить такой вопрос в души сидящих в зале. Хочется быть услышанным. И хочется еще многое исполнить.

**Беседу вела
МАРИНА ПЕТУШКОВА.**

**Фото на IV-й обложке
ТАТЬЯНЫ МАКЕЕВОЙ.**

ПОТ ШЕ Ф Т Я Е О М Р Ф Т Я

С психологом

ЕЛЕНОЙ МАКАРЕНКО,
которая «расшифровывает»
чужие сны,
беседует журналист
РОЗА СЕРГАЗИЕВА.

— Наверное, вы могли бы собрать из снов, услышанных вами, целую книгу. Сколько же вы их прослушали?

— Никогда не считала. Толкованием снов я увлеклась еще в институте. «Пациентов» было много. Все сны очень разные. Похожих нет. И хотя каждый сон по-своему интересен, сложить из него связный сюжет, как у Пушкина, Толстого, Достоевского, невозможно. Ведь сон идет обрывками. Великие писатели многое домысливали, «оплодотворяли» реальные ночные видения своим талантом. А если записать неотредактированные сны, получится такая каша... Вот, к примеру, рассказ одной из моих клиенток. В начале своего сна она находится в каком-то замке, потом оказывается, что это просто дом. Дом ее друга. Она не понимает, как она здесь очутилась, пытается найти выход из этих комнат. Потом вдруг появляется мать ее мужа. Свекровь почему-то стоит со спицами. И одну из них протягивает ей... По одному этому сну я могу многое сказать о его «авторе». Эта женщина подсознательно боится «наказания» со стороны мужа и его родственников. Со свекровью у нее плохие отношения. Женщина считает, что та имеет на мужа слишком боль-

шое влияние, и мечтает, чтобы с ней свекровь этим влиянием «поделилась»... Не случайно во сне мать мужа протягивает ей спицу — фаллический символ. В этом сне спица как бы символизирует непростые отношения между «хозяйкой сна» и матерью мужа... Но это лишь в данном конкретном случае. В другом контексте фаллическая символика может выступать как «овеществление» власти.

— Вы как-то классифицируете «сонные истории»?

— Я делю их на две категории: бытовые и символические. Бытовые не несут практически никакой интересной информации, они поверхностны, «в лоб» отражают реальность, повседневные заботы. Люди, стоящие на социальной лестнице пониже, редко видят сны-символы. У них голова забита бытовыми проблемами. И во сне они продолжают их решать. А вот людям, занимающимся интеллектуальной деятельностью, снятся невероятно интересные, многоуровневые сны. С такими снами я обычно и «работаю».

— Это их называют вещими?

— Нет. Символический сон — это набор информационных знаков, которые идут из «глубокого нутра» человека, с его подсознательного уровня. Все эти символы можно в зависимости от контекста сна определенным образом интерпретировать. Например, туннель (или любое замкнутое пространство) говорит о том, что «хозяин сна» подсознательно стремится вернуться в утробу матери; перед ним — неразрешимые проблемы, от которых он хотел бы «убежать»...

— Странная связь...

— Человек нуждается в защите. А где он был когда-то полностью защищен? Именно в утробе матери... Это ощущение навсегда

осталось в памяти и вырывается во сне из глубин подсознания. А вот присутствие в снах чего-то «открывающегося»: дверей, ворот, распахнутых ставен, чемоданов, шкафов — подсказывает: у «владельца сна» есть проблемы с сексуальным партнером.

Что же касается вещей снов — это чрезвычайно большая редкость. Но не значит, что они снятся каким-то особенным людям. Любой человек может увидеть вещий сон: каждый из нас чувствителен. Хрестоматийным стал пример: человеку снится, что ему ампутируют ногу. Он идет к врачу — выясняется, нога действительно больна. Во сне она «сигнализировала» мозгу о своем нездоровье. То же касается взаимоотношений между людьми. Если вы наяву находитесь в экстремальной ситуации, утомительно ищете решение, попали в переплет, то ждите сигнала. Каждый из нас видел в какой-то мере вещие сны.

— Купаться — к болезни, увидеть рыбу — к беременности, тараканов — к деньгам... Правы ли сонники?

— Однажды экспедиция русских ученых еще до революции в одном из районов Средней Азии долго расспрашивала местных жителей, какие им снятся сны и что обозначают у них те или иные образы. Например, змею увидел — к предательству друзей, верблюда — к тяжелым испытаниям. А потом ученые сравнили толкования этих образов с тем, что принято на Руси. Толкования, конечно же, не совпадают. А вот для психоанализа не имеет значения ни национальность, ни местожительство человека, который видит сон. Обычно сонники привязаны к определенной территории, сложившимся национальным традициям. Они, как легенды и сказки,

передавались из уст в уста. И отнестись к ним нужно, как к сказкам, фольклору. Научной базы под ними нет... Сегодня так много сонников развелось! Но не рассчитывайте, пользуясь ими, разгадать свой сон. Они ничего вам не дадут.

— Однако бывает же, что ночное видение, истолкованное по соннику, сбывается. Увидел собаку — через пару дней в самом деле, как пишет предсказатель, друг приехал; сырое мясо «показали» — заболел; во сне плакал — наяву случилась радость...

— ...а если снятся заплетенные косы — к замужеству, распущенные волосы — к дальней дороге; привиделась церковь — к казенному дому, свадьба — к болезни. На качелях качаешься — к беспокойству, надеваешь старые туфли — вернется прежнее увлечение, примеряешь новенькую обувь — появится новый поклонник... Подобных примет можно вспомнить множество. Сонникам нынче даже очень образованные люди верят. И вот что интересно: если «зацикливаться» на приметах, любых, в том числе и на снах, они рано или поздно сбудутся. Перебежала вам дорогу черная кошка, и вы станете все время думать, что случится какая-то неприятность — она случится. В жизни всякого человека каждый день происходят десятки и радостных, и неприятных событий. Если захотите, любое из них сможете связать с пробежавшей кошкой или увиденным сном.

— Интересно, а с точки зрения психоаналитика: что к чему снится? Что, например, снится к деньгам?

— Только не морщите нос — испражнения. Деньги и их союзник — власть — эти образы прорабатываются в нас еще в раннем детстве. Глубоко подсознательно

деньги, символ власти и могущества, ассоциируются у нас с этим. И эти символы прорываются в сон, когда вы ожидаете прибыли. А вот если увидите во сне деньги — это уже к потере.

— Вы перечислили некоторые характерные символы, разъяснили их значение. Значит, достаточно выучить этот набор — и можно начинать толковать сны?

— Конечно, психоанализ Фрейда — это основа для моих выводов. Но, поскольку я довольно давно работаю в роли толковательницы, у меня появилась и собственная интуиция, чутье. Теперь я использую и гениальные догадки Фрейда, и личные наблюдения за людьми. Клиенты, когда приходят, говорят: «Вы, кроме того, что выслушаете сны, больше никаких вопросов задавать не будете?» Я говорю: «Конечно, нет». Но по мере того, как они рассказывают мне сновидение, а я начинаю что-то пояснять в этом сне, задавать наводящие вопросы, они перебивают меня и начинают повествовать о себе. Идет обычная работа психолога. И это общение полезно тем, кто ко мне приходит. Поговорив со мной, человек порой пересмысливает свой подход к жизни. В какой-то степени меняется его образ мыслей.

— Вы погружаетесь в сновидения каждого пришедшего... Вам потом не снятся чужие сны?

— Никогда. Если бы ко мне стали приходиться чужие сны, это бы свидетельствовало о моей профнепригодности. Я защищаю себя, свое сознание от чужих образов. Конечно, сны мне снятся, и они в принципе не отличаются от ночных грёз любых людей, но они у меня свои.

— Кто чаще приходит к вам на прием: мужчины или женщины?

— Конечно, женщины. Как пра-

вило, это дамы от 30 до 40 лет, одинокие. У них больше времени покопаться в себе. Другая категория женщин является по секрету от собственных мужей и рассказывает мне сны, которые они вывели у своих супругов. Интересно же, о чем втайне мечтает муж. Но и мужчины, бывает, заходят.

— Интересно, а есть ли разница между снами мужчин и женщин, пожилых людей и молодых?

— Появляющиеся во сне символы и их трактовка абсолютно не зависят от пола и возраста.

— А от национальности, места жительства? Сны иностранцев отличаются от снов «отечественного производства»?

— Только на бытовом уровне. Потому что реальность, окружающая их, отличается от нашей. Но и у них, и у нас одни и те же внутренние проблемы. Поэтому и символы такие же. Чуть-чуть другое обрамление.

— У вас появились и очень необычные клиенты: беременные женщины.

— Сейчас набирает силу новая наука, которая выкристаллизовалась из психоанализа, — микропсихоанализ. Он изучает сны, которые сняты женщинам в период их беременности. Разработал теорию микропсихоанализа Салватор Фанти. Он прослеживает взаимоотношения женщины и ее ребенка с момента зачатия, исходя из сновидений матери. Невероятно интересно! Когда трактуешь эти сны, очень часто можно заметить агрессивность матери по отношению к своему будущему малышу, несознанное желание не иметь ребенка. Это легко объяснимо: малыш — новые проблемы, с момента рождения и на всю оставшуюся жизнь. Однако «при свете дня» мало кто признается даже сам себе, что не хочет малыша... Бере-

менные женщины приходят часто, но порой с опаской. Сначала спрашивают: «Сейчас вы со мной что-то будете делать?» «Да нет, — успокаиваю я их, — мы просто поговорим». Общаясь с беременной, выслушивая ее сны, можно повлиять на ее подсознание и сделать так, чтобы ребенок стал воистину желанным.

— Классифицируя сны, вы почему-то не упомянули о цветных. Бытует мнение, что они приходят к не совсем нормальным людям.

— Если бы еще точно знать, где грань между нормальностью и ненормальностью!.. Цветные сны не нуждаются в выделении в особую категорию. Это те же символические сны. А их окраска довольно просто объясняется. Красный цвет одновременно цвет агрессии, действия и сексуальности, потому что агрессия и секс — суть две стороны одной медали. Зеленый цвет символизирует защиту. Желтый — надежду. Коричневый указывает на взаимоотношения с близкими людьми. Ну а синий — вы и сами можете догадаться — цвет комфорта, благополучия.

— Есть люди, утверждающие, что им сны вообще не снятся. За что их так обделила природа?

— Такого не бывает. Сновидения приходят ко всем. Но запоминается тот сон, что вы смотрели перед пробуждением. Увиденное в середине ночи, как правило, стирается из памяти. Наш сон состоит из двух фаз, сменяющих друг друга. Во время одной, более короткой, сновидения бывают. Во время другой — нет. Если человека всегда будить в тот момент, когда ему ничего не снится, он будет уверен, что у него вообще не бывает сновидений.

— Полезны ли с медицинской точки зрения сны?.. Порой такое

увидишь, что полдня ходишь вся разбитая...

— Доказано, что сны успокаивают. Причем именно «просмотр снов», а не сам «процесс сна». Приятные сновидения приносят надежду и радость. Да и тяжелые события, согласитесь, лучше переживать во сне, а не наяву. Если же вас днем продолжает мучить ночное видение, постарайтесь забыть его. Ведь большую часть снов мы просто не помним. Запоминаем только то, что нас заинтриговало, что совпадает с нашими дневными заботами или «намекает» на будущее. Отстранитесь от тяжелого сна. Воспримите его как кино, не имеющее к вам отношения.

— И мужчинам, и женщинам часто снятся эротические сны. И вам наверняка клиенты рассказывают подобные сюжеты. Как вы их трактуете?

— Каждый случай нужно разбирать отдельно. Но проблемы, переживаемые в эротических сновидениях, можно разделить на три группы. Первая: человек боится сексуальных отношений наяву и пытается пережить их во сне. Вторая: человек недоволен своей интимной жизнью и постоянно скован грузом самообвинений. Или третий вариант: у человека есть те или иные эротические потребности, но в реальности он не может их удовлетворить. Каждый из этих вариантов приобретает во сне определенное символическое оформление. Ну, например, вас во сне мучают животные — кусают, царапают. Этим сновидением вы как бы пытаетесь наказать себя за собственную излишнюю сексуальность. Или вот сон одной из клиенток: горит надетое на ней красное платье. И это можно объяснить: у нее большие сексуальные потребности, которые в реальности не удовлетворены. Или сон, кото-

рый рассказывал мне мужчина: он разбивает один за другим дешевые стеклянные стаканчики и в этот момент безумно счастлив. Сновидение свидетельствует, что мужчине «много хочется», но жизнь не дает ему «развернуться».

— Простите, но при чем здесь горящие платья и разбиваемые стаканчики? Что значат обычные соблазнительные картинки, которые, бывает, посещают нас во сне?

— Чтобы интерпретировать подобные сновидения, помощь психоаналитика не нужна. Их можно понять и самому: откровенные эротические сны свидетельствуют о сексуальной неудовлетворенности. Но о тех же проблемах могут говорить символические сновидения, на первый взгляд никакого отношения к половым вопросам не имеющие.

— Как вы считаете, людям нужно разгадывать собственные сны?

— Вглядитесь в себя. Есть сны, которые завораживают. Вы пытаетесь как-то интерпретировать увиденное, найти аналоги в реальности. И вдруг в какой-то момент останавливаете сами себя, дальше идти не хочется. Да и, пожалуй, не надо. Если знать один из постулатов теории Фрейда — в снах реализуются наши тайные желания, неисполнимые наяву — и пытаться этим ключом «вскрыть» все свои сны, можно надолго потерять душевное равновесие. Например, если вам привиделась смерть близкого человека. Хотя психолог, исходя из других составляющих этого сновидения, вряд ли истолковал бы его как желание зла вашему близкому. Так что не советую увлекаться самостоятельной трактовкой снов — ни по сонникам, ни по Фрейду... Люди же, которые хотят все-все знать, — это

определенная категория наших соотечественников. Еще они любят гадать на картах, общаются с ясновидцами, доверяют предсказание судьбы цыганкам...

— *Если уж мы все так похожи в своих ночных грезах, накладывает ли на сны какой-то отпечаток время? Можете вы, например, сказать, что в последнее время чаще снятся россиянам?*

— Людей стали мучить сны, где их преследуют. У многих россиян развивается комплекс жертвы. Они все больше ощущают себя незащищенными. Людям стали сняться политики. И чаще других — Жириновский. Политики, как правило, снятся тем, кто втайне мечтает о власти...

— *Объяснить сновидение вы умеете. А можно ли заказать у вас сон?*

— Нет. Разбирать уже приснившийся сон могу, кодировать же на определенное видение не умею. Правда, в состоянии избавить от навязчивых снов.

— *А не могли бы вы, обобщив многочисленные сны, услышанные вами, создать некий идеальный сон, самый лучший? Что должно присниться человеку, чтобы он чувствовал себя прекрасно — и во сне, и после пробуждения?*

— Идеальных снов не существует, как и самого идеала. К нему можно только стремиться. Но набор ночных видений, которые обещали бы человеку нечто хорошее — а всем нам нужен сегодня символ надежды, — я представляю... Пусть приснится вам берег моря, раннее утро, встающее солнце, парус на горизонте... А как «заказать» счастливый сон? Представляйте эту картинку перед тем, как уснуть, и бессонница отступит, дневные заботы уйдут, а ночью увидите что-то приятное... Сладких вам снов!

ПОСОРΙΑЗ!

120

Будьте здоровы!

Может быть, я и не стал бы браться за эту тему — медицинская тематика никогда не занимала моих профессиональных интересов — если бы не болезнь, поразившая меня ровно год назад. Сильнейший нервный стресс, следовавший после того, как ночные воры-профессионалы с легкостью необыкновенной угнали от подъезда дома только что купленную «Ладу», проявился в виде множественных покраснений кожи, превратившихся вскоре в шелушащиеся бляшки. Диагноз врачей-дерматологов был непрекаем и точен — «псориатическая болезнь». Предстояло долгое, кропотливое, изнуряющее лечение в различных клиниках с применением самых современных лекарств и мазей. Увы, болезнь не хотела отступать, хотя память уже давным-давно забыла об угнанном автомобиле, а нервная система, слава Богу, успокоилась и не доставляет никаких хлопот.

И вот недавно заботливый друг звонит и с радостью сообщает: в Москве есть медицинское заведение, где лечат псориаз со стопроцентным успехом! Бросаю все дела, еду по указанному адресу, знаколюсь с врачами, соглашаюсь пройти курс лечения по предложенной методике с использованием разработанных ими препаратов — и начинаю лечение.

Сейчас, хотя лечение еще пол-

ностью и не окончено, могу уверенно утверждать, что результат превзошел ожидания: почти вся кожа тела чистая, на месте бляшек остались лишь небольшие светлые пятна, которые постепенно исчезают. Расползание очагов по телу приостановилось, зуд больше не беспокоит — практически болезнь преодолена.

И тогда я отправился в «Центр Натальи Зеневич», чтобы взять интервью у самой руководительницы Центра, полагая, что ее помощь нужна десяткам тысяч россиян, страдающих от болезни века — псориаза.

— Наталья Валентиновна, что же это за болезнь — псориаз, которой страдают сегодня более миллиарда людей на Земле?

— Мы в нашем Центре считаем, что это заболевание крови, нервов и кожи. Первичные провоцирующие факторы — нервные стрессы, нарушение обмена веществ, инфекции, иммунодефицит. У больного в организме повышенное содержание Р-субстанции — химического вещества, вызывающего воспалительный процесс на коже. Под действием этого вещества клеточные центры теряют тормоза, а это чревато появлением возвышающихся участков на коже, зуда и образованием чешуек.

— На чем же основана ваша методика лечения псориаза?

БОЛЕЗНЬ

ИГОРЬ САМОЙЛОВ

ВЕКА

— Необходимо вовремя остановить избыточную работу клеточных центров. За семь лет кропотливых научных исследований разработан препарат, устраняющий саму причину псориаза. Наши бальзамы и эликсиры обладают стопроцентным воздействием на больного.

— У многих больных, как, например, и у меня, неярко выраженная форма заболевания, не доставляющая дискомфорта, когда нельзя появиться на пляже или в бассейне, даже рубашку с коротким рукавом не наденешь. А ведь есть люди с глубокими поражениями кожного покрова — вы и таких лечите?

— Да, конечно. У меня есть очень сложный пациент — у него панцирное поражение кожи с трещинами, кровоточащими ранами. О полном выздоровлении пока речь не идет, ибо он лечится еще только три месяца, но корка толщиной в один сантиметр уже сошла, голова чистая, трещины зажили, бляшки истончились, остались только пятна, которые тоже начинают бледнеть. Еще месяца три, и он будет здоров. Должна заметить, что лечению по нашему методу повредило то, что до этого он принимал сеансы ПУВА-терапии и различные гормональные мази, которые только загоняют болезнь внутрь. При нашей методике при-

менение других лекарств и мазей на первом этапе исключается абсолютно.

— Сколько же больных вам уже удалось вылечить?

— В нашем центре за 3 года прошли лечение около тысячи больных. Из них 600 человек излечилось полностью, без рецидива.

— Есть ли шанс излечиться от этой болезни навсегда?

— Если больной лечится добросовестно и планомерно, не пропуская наших рекомендаций, то минимальный срок, на который болезнь отступает полностью, — 3 года, максимальный — 7 лет.

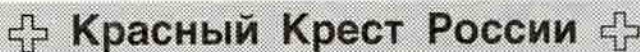
— Вы принимаете всех больных, с любыми формами псориаза?

— К сожалению, нет. Есть возрастные ограничения — не поддаются лечению пожилые люди, когда в организме происходят уже необратимые процессы, и малолетние дети до 8 лет.

Мне остается добавить, что препараты, используемые при лечении, запатентованы в России, а на Западе аналогов им просто нет.

Итак, читатели «Смены», заинтересованные в лечении в «Центре Натальи Зеневич», могут обращаться по адресу:

Москва, ул. Гарибальди (метро «Новые Черемушки»), д. 15, корпус 3. Телефон (095) 134-75-93 (с 11 до 16 час.).



**ОБЩЕСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ И СИРОТ**

ОАЗИС

Служба «**ОАЗИС-Информ**» бесплатно сообщит номера телефонов фирм и организаций Москвы, занятых:

- продажей модной повседневной и рабочей одежды и обуви, швейных машин и другой бытовой техники, теле- и радиоаппаратуры;
- всеми видами ремонта;
- оказанием медицинских и семейных, юридических, банковских и нотариальных услуг, а

также сообщит телефоны курсов, в том числе аудиторских, бухгалтерских, иностранных языков, стенофонографии, компьютерной техники, ювелирных, скорняжных мастеров, мастеров по ремонту телевизионной, холодильной, мото-техники и т. д.

Контактные телефоны:

(095) 464-10-02, 379-73-04, 126-09-96 (офис),
с 10 до 15 часов, кроме выходных.

Служба «**ОАЗИС-ТРУД**» готова помочь вам в поиске мест трудоустройства с учетом вашей специальности, квалификации и индивидуальных склонностей. Приглашаем здоровых, частично утративших трудоспособность. Обслуживаем москвичей.

Контактные телефоны: (095) 372-86-16, 113-94-92, 126-09-96.

с 10.00 до 15.00, кроме выходных.

ЕСЛИ:

вам нужны квалифицированные специалисты;
вы готовы проявить милосердие и сострадание;
вас интересуют значительные льготы по налогам —
служба «**ОАЗИС-ТРУД**» оперативно подберет для фирм и организаций Москвы (строительно-ремонтных, медицинских, учебных, юридических и других) необходимых работников, в том числе инвалидов, имеющих возможность эффективно трудиться в условиях вашего бизнеса. Готовы предложить услуги опытных переводчиков и программистов.

Контактные телефоны:

(095) 372-86-16, 113-94-92, 126-09-96 (офис),
с 10.00 до 15.00, кроме выходных.



Многие нынешние знаменитости — актеры, писатели, а особенно политики, не догадываются, что «мина» под них была заложена еще 46 лет назад. В тот день, когда родился мальчик Володя Мочалов.

Он рос, ходил в садик, в школу, в Полиграфический институт и... рисовал шаржи. То есть не просто «искажал нашу действительность», а лучших ее представителей. Включая лауреатов, заслуженных, народных и даже членов Политбюро.

— Я, пожалуй, первый, кто нарисовал шарж на Михаила Сергеевича Горбачева,— говорит Мочалов.— Тогда, в восемьдесят шестом, я работал главным художником «Крокодила». И чтобы опубликовать этот рисунок (там, кроме Горбачева, был еще и Рейган), его нужно было показать в ЦК КПСС.

— А в Белом доме в Вашингтоне?

— Белый дом, я уверен, дал бы «добро» — Рейган получился отлично.

— А ЦК?

— Запретил, хотя Горбачев вышел ничуть не хуже Рейгана.

Владимир считает себя человеком ехидным и злым. Иногда — добрым. Дружья в нем особого ехидства не видят. Но на то они и друзья.

— А твои «натурщики», Володя, сильно обижаются?

— Как правило, нет. Ведь если на тебя рисуют шаржи, значит, ты чего-то стоишь, в тебе что-то есть. А это всегда льстит.

— Так ты что, льстец?

— Но весьма необычный. Обещаю пилюлю сладкую, а подсовываю горькую. Для людей умных в этой «подмене» самый смак. А глупым и самодовольным ничто не поможет.

— Во многих странах мира знают твои шаржи, ты завоевал уйму престижных международных премий... Не устал ли «искажать»?

— Отдыхаю, иллюстрируя детские книги.

— Там уже без зла и ехидства?

— Но с усмешкой.

— Твои учителя, «духовники»?

— Однозначно: Кукрыниксы! Это было (и осталось!) великое трио.

— А как тебе такое определение: дружеский шарж?

— Ну, это все равно, что задуть в объятия...



БОРИС ФЕДОРОВ



ЕГОР ГАЙДАР



АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ

АЛЕКСАНДР РУЦКОЙ





АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

ЮРИЙ ВЛАСОВ





ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ



НИКИТА МИХАЛКОВ



ЗИНОВИЙ ГЕРДТ



ЗЛДАР РЯАНОВ

ЛЕВ КАНЕВСКИЙ

КАЗАНОВЫ

132

При упоминании имени Джакомо Казановы в воображении многих тут же возникает образ знаменитого итальянского авантюриста, прославившегося на весь мир скандальными выходками, пикантными похождениями, отчаянным дебоширством, вещунством и карточной игрой. Осколками разбитых им женских сердец можно было, словно мозаикой, выложить надтреснутые воском паркетные громадных, ярко освещенных залов, где его с изумлением лорнировала чопорная, дышавшая презрением европейская аристократия. Своими безнравственными эскападами Казанова не только бросал вызов показной морали высшего света — это была часть постоянного, присущего ему эпатажа талантливого актера...

Унаследовав от отца и матери актерские способности, он стал авантюристом не из-за жажды легких денег, не из-за отвращения к тяжкому повседневному труду, к этому увлекал его врожденный, будоражающий душу темперамент, поставленная на грань авантюризма гениальность. Он слишком хорошо усвоил афоризм Шекспира: «Весь мир — театр». И, соглашаясь с великим поэтом, старался превратить весь мир в сцену, а Европу, в частности, в ее кулисы, — для него было естественным состоянием шарлатанить, пускать пыль в глаза, водить всех за нос. Казанова никогда не отрицал, что он авантюрист. Напротив, с гордым видом всегда признавал, что его излюбленное занятие — поиск дураков. Он любил стричь глупых овец, но никогда не оказывался сам стриженным: «Надуть дурака, — говаривал



он, — значит отомстить за разум».

Казанова получил великолепное гуманитарное образование и, несмотря на все выходы и ранние любовные похождения, усвоил латинский, греческий, французский, древнееврейский, немного испанский и английский. Он легко преуспевал в математике и философии и, словно заправский теолог, в шестнадцать лет произнес в одной из венецианских церквей конфирмационную речь. Хотя неизвестно, как ухитрился в восемнадцатилетнем возрасте получить в Падуе докторский диплом, нельзя не признать, что он обладал немалыми академическими познаниями. Казанова был сведущ в химии, медицине, знал историю, литературу, обладал прочными знаниями в области астрономии и алхимии. К тому же в совершенстве познал тайны куртуазного искусства — великолепно танцевал, фехтовал, занимался верховой ездой, хорошо владел пистолетом, отлично играл в карты. Он обладал феноменальной памятью, знал наизусть всего божественного Данте, часами мог цитировать тонкого эротического забавника Аретино, неистового Ариосто. Его память на протяжении семидесяти лет цепко удерживала все им услышанное, высказанное, увиденное — этот громадный материал без всяких предварительных записей он изложил в 12(!) увесистых томах «Мемуаров», которые написал на закате жизни в Чехии.

Кроме мемуаров, Казанова сочинил пять романов, два десятка комедий, несколько дюжин новелл и эпизодов, ряд сборников забавных ситуаций, анекдотов и даже составил... «Словарь сыров» (!).

Причем ничего не изобретал, не придумывал сюжеты — за него это делала сама жизнь. И то, что один создает своим изворотливым умом, он пережил сам, поэтому ему было достаточно без особых усилий просто перенести все на бумагу. Ни один литератор из его современников, и едва ли кто-нибудь из более поздних, кроме Бальзака, не сумел придумать столько пикантных ситуаций, с многочисленными вариациями, сколько пережил сам Казанова. Ни одному из них не удалось создать в своих сочинениях столько исторически точных описаний общественно-политической жизни. А ведь это было время, когда творили Вольтер, Руссо, Дидро, Метастазιο, Гёте. «Казанова представляет собою особый случай в мировой литературе уже потому, что этот блистательный шарлатан попал в пантеон творческих незаурядных умов в конце концов так же незаслуженно, как Понтий Пилат в Символ веры», — писал Стефан Цвейг.

Но любопытный факт! Ведь не он, а все его знаменитые соотечественники: и возвышенные поэты Аркадии, и «божественный» Метастазιο, и благородный Парини, и все прочие давно пылятся на библиотечных полках, а имя этого авантюриста не сходит с уст и в наше время. Не без оснований можно предположить, что его исповедь «История моей жизни», эту эротическую Илиаду, ожидает долгое будущее, и ее будут с удовольствием читать. А вот такие в прошлом шедевры, а ныне исторические реликвии, как «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо или «Верный пастырь» Гварини услаждают лишь тонкий вкус десятка специалистов.

Казанова был человеком смелым и мужественным. Только ему одному удалось совершить дерзкий побег из страшной «свинцовой» тюрьмы Дожей в Венеции (он оставил подробный рассказ об этом опасном предприятии). Несколько раз дрался на дуэли и однажды, вызвав на поединок графа Браницкого, любимчика польского короля Станислава, чуть не лишился правой руки.

Актерский талант Казановы легко позволял ему менять свое «призвание» — то он скромный аббат, то зануда-юрист, то вездливый, осторожный дипломат, то таинственный астролог, то блестящий офицер в мундире собственного покроя. Он давно усвоил, что искусство наглого обмана, жертвами которого, как правило, становятся глупцы, не требовало большой учености. Казанова никогда ни перед кем не пасовал, не признавался, что он дилетант в том или ином деле. Напротив, напустив на себя важный, ученый вид, разглагольствовал о материях, не имея о них ни малейшего представления.

Судите сами. Как-то в Париже кардинал де Берни спросил его, смыслит ли он что-нибудь в организации лотерей. Казанова, естественно, дал утвердительный ответ и с невозмутимой самоуверенностью принялся излагать в парламентской комиссии по финансам свои проекты. Притом с таким видом, словно лет двадцать был докой-банкиром. А однажды, когда во время его пребывания в Испании, в Валенсии, потребовалось либретто для итальянской музыки, он тут же высосал его из пальца. Кстати, Казанова с таким же успехом мог бы сочинить и музыку — было бы предложение!

Перед русской императрицей Екатериной II он искусно разыгрывал роль реформатора календаря и ученого-астронома; объявившись в Курляндии перед Бироном, вырядился в тогу специалиста по горному делу и деловито осмотрел рудники. В венецианской республике, выдав себя за знаменитого химика, предложил внедрить новый способ окраски шелковых тканей; в Испании выступил перед местными властями как земельный реформатор и колонизатор; австрийского императора Иосифа II поучал, как нужно вести эффективную борьбу с ростовщичеством. Для герцога Вальдштейна сочинял комедии; для герцогини Урфе устроил дерево Дианы и прочие алхимические фокусы; у госпожи Румэн Соломоновым ключом открыл сейф с деньгами; для французского правительства скупил акции в Голландии; во Франции рекомендовался то фабрикантом, то случником королевского оленьего парка; в Болонье сочинял острые памфлеты, направленные против медицины; в Триесте написал историю польского государства и перевел Илиаду октавами.

Любитель и любимец женщин, он по каким-то неясным устремлениям своего бунтарского духа избрал сомнительную стезю величайшего авантюриста.

Трудно найти другую крупную личность XVIII века, которая столько бы прочитала, наблюдала и видела, чувствовала бы себя «дома» в кругах высшего света и «полусвета», могла занять остроумной, блистательной беседой и Вольтера, и простого мужика, менявшего, например, колесо у его кареты. Как ему, сыну актера, расстриге-священнику, разжалованному солдату, подозрительному шулеру и знаменитому «бабнику» (как назвал его начальник парижской полиции), всю жизнь удавалось запросто бывать у королей и императоров и в конце концов умереть на руках у вельможного принца де Лина?

Ни разу в своей жизни он и пальцем не пошевелил ради личной славы, и все же она лилась постоянно на него, словно из рога изобилия.

В жизни Казановы, густо нашпигованной приключениями, далеко не последнее место занимало искусство — театр, балет, народный танец.

И прежде всего музыка. Что же здесь странного — ведь Джакомо был итальянцем!

«Музыкальность же его и стихотворство — это музыкальность и стихотворство всей Италии», — заметила Марина Цветаева, работая над пьесами, посвященными Казанове, «Приключения» и «Феникс».

А потому совершим небольшое путешествие по музыкальным маршрутам Казановы, последуем за ним по пыльным дорогам Европы спустя два долгих столетия.

В родной Венеции

Джакомо Каталано (вошедший в историю как Казанова) родился 2 апреля 1725 года в Венеции, в актерской семье. На музыкальные способности ребенка, бесспорно, повлияла его мать За-

нетта Тарузи, дочь венецианского сапожника, которая сыграла заметную роль в развитии как итальянского драматического театра, так и театра музыкального. Занетта, известная певица, подвизалась на всех оперных подмостках Европы и закончила свою карьеру со званием пожизненной камерной певицы Дрезденского королевского придворного театра. Она влюбилась в молодого красивого актера испанского происхождения из Пармы Джузеппе Каталано и вышла за него замуж против воли родителей. Почти десять лет маленький Джакомо разъезжал с родителями по городам Италии, побывал с бродячей труппой в Англии и Дании. Вскоре отец умер, а мать с тремя детьми на руках вернулась в родную Италию, поступив там в «стационарный» театр знаменитой труппы Имера, дававшей представления на древней арене в Вероне. (Кстати, там до сих пор проходят грандиозные музыкальные спектакли на открытом воздухе.)

В своих мемуарах Гольдони рассказал немало интересного и о владельце театра, и о ведущей актрисе Занетте, матери Казановы, уделив ей подозрительно много места. Из всего этого следует, что она сыграла весьма значительную роль в истории итальянской «оперы-буфф». Вот что пишет Гольдони: «В голове Имера возникла идея ввести в народный театр музыкальное «интермеццо», что прежде рассматривалось как исключительно важный атрибут большой оперы. Комическая опера родилась в Неаполе и Риме, но она была известна и в Ломбардии, и в венецианской провинции. Идея Имера нашла благодатную почву. Такое новшество пришлось по душе многим актерам. Одна из них, Занетта, очень пикантная и одаренная вдовушка, играла ведущие партии в комедии. Я написал «интермеццо» в трех актах на три голоса и назвал его «Зеница ока», намекая на самого директора, приударившего за своей примадонной и страшно ее ревновавшего ко всем...»

Написанное Гольдони «интермеццо» было переложено на музыку несколько раз различными композиторами в Венеции, среди которых можно назвать даже самого Сальери.

Выступление матери Казановы в музыкальной пьесе Гольдони имело шумный успех. Если учесть, что «Служанка-госпожа» Перголези, поставленная в 1733 году, считается первой классической итальянской комической оперой, то мать Казановы, спустя лишь год успешно начав выступать в этом жанре, стала одной из крестных оперы нового жанра.

Однако она, к сожалению, уделяла мало внимания воспитанию своего отпрыска, считая его тупым и вялым ребенком. Во время гастролей Занетта часто оставляла его в частных пансионах и домах в Падуе, Венеции, Мантуе, Пизе. В своей родной Венеции, в пятнадцатилетнем возрасте, Казанова принял малый постриг и надел рясу священника. Но его благочестивые устремления оказались сомнительного свойства. Юный аббат был без ума от роскоши, блеска, бьющей весельем жизни «города в Лагуне», не отличавшегося строгостью нравов. Казанова с головой окунулся в эту беззаботную жизнь. Он жаждал таинственных приключений. Принимал участие в веселых маскарадах и праздничных шествиях. Наслаждался всеми прелестями при-

морского города, в том числе его искусством, музыкой, театром. А ведь в то время Венеция стала Меккой театра и музыки.

Музыка над Лагуной

Если в XVI столетии Венеция считалась центром инструментальной музыки, то столетие спустя она стала настоящим раем для оперы. Хотя опера как жанр музыкального искусства была создана во Флоренции и Мантуе и служила только для развлечения аристократии, лишь республиканской Венеции удалось освободить ее от оков элитарности. Именно в Венецию из Мантуи в 1613 году перебрался великий Клаудио Монтеверди (1567—1643) и занял там важный пост руководителя капеллы собора Св. Марка. В 1637 году он принял участие в открытии первого венецианского публичного оперного театра.

А во времена Казановы здесь уже было семь театров! И каждый из них носил имя того святого заступника, в приходе которого находился театр: св. Иоанна Златоуста, св. Бенедикта, св. Луки, св. Моисея и т. д. Из них только два предназначались для исполнения «оперы-серии» (серьезной оперы), два других для «оперы-буфф», в трех остальных давались комедии. Театральный сезон обычно начинался в первых числах октября и кончался с карнавалом в начале следующего года.

Ни в одном городе мира, за исключением, вероятно, Неаполя, публика не была столь глубоко, столь сильно и самозабвенно охвачена страстью к театру и музыке. Рев во время представлений стоял такой, что трудно было понять, принимает зритель спектакль или же освистывает его. Не раз, глубоко озадаченный, стоя за кулисами, внимал этой расходившейся стихии сам мэтр Гольдони...

Но еще больше, чем театром, Казанова был пленен и очарован венецианскими песнями. Они в крови у каждого венецианца и столь же важны для него, как сама жизнь. Эту особенность отметил и Гольдони: «Поют здесь повсюду — и на улицах, и на водной глади канала. Поют корабельники, торгуя вразнос, поют работяги, возвращающиеся с работы, поют гондольеры, поджидая пассажира». В это время особой популярностью пользовались строки Ариосто и Торквато Тассо, переложенные на старинные, хорошо всем известные мелодии. Об этих чудесных песнях рассказывает и Гёте, посетивший Италию в 1786 году. О нежных баркаролах, распеваемых в Венеции на слова бессмертного Тассо, поведал и Руссо в своем «Музыкальном словаре». В 1743—1744 годах он был секретарем французского посольства в Венеции. Известно, что Казанова приехал в Венецию весной 1744 года, а «свободный гражданин» Женевы оставил свой пост глубокой осенью. Таким образом, Казанова и Руссо дышали одним живительным воздухом Лагуны, ходили по одним улицам, может, не зная друг друга, даже встречались. В «Мемуарах» на этот счет нет никаких указаний. Но все же Казанова встретился с великим философом спустя много лет при довольно забавных обстоятельствах. Но об этом позже...

Казанова-скрипач

Вот в такой музыкальный город вернулся Казанова после нескольких лет странствий по частным домам и пансионам.

Он редко вспоминал о своем священническом сане. Неумная тяга к перемене мест и приключениям заставила его надеть военный мундир и отправиться на Восток, в Константинополь, за коллекцией авантюр. Здесь он провел некоторое время в кофейнях и игорных домах, чуть не стал мусульманином и даже чуть не женился на очаровательной затворнице из султанского гарема. Безудержная бесшабашность Казановы вскоре прискучила серьезным туркам, и они без особых церемоний выгнали его из страны. По пути домой, на острове Корфу, разбойники отобрали его до нитки, и в декабре 1745 года он появился в Венеции без гроша в кармане.

Что было делать отпрыску знаменитой актерской семьи, когда он вдруг оказался на мели? Казанова взял в руки скрипку. Еще находясь в пансионе доктора Гоцци в Падуе, он занимался музыкой и походя научился играть на скрипке... Театр святого Самуила принял будущего героя умопомрачительных авантюр в состав своего оркестра. Казанова прилежно играл на спектаклях, зарабатывая около десяти скудо в день. Нужно заметить, что вторым скрипачом его приняли «по протекции» основателя театра Джакомо Гримани, который хорошо помнил его мать, сыгравшую здесь немало комических ролей.

Оказавшись на месте простого музыканта, молодой Казанова познал на себе все «прелести» социального неравенства, все заметнее проявлявшегося в Венецианской республике. Увы, в таком амплуа, например, он не мог появляться в высшем свете, что сильно травмировало молодого повесу, и он помнил об этом даже в ту пору, когда перед ним — авантюристом, сердцедаем и крупным финансовым мошенником — распахивались двери салонов высшего света. Парадокс, но... перед Казановой-музыкантом, носителем самой приличной профессии из всех, которые впоследствии он приобрел, respectable общество категорически захлопывало двери. «Испытание» длилось недолго. Через год Казанова оставил театр и навсегда отложил смычок в сторону. Карьера профессионального музыканта завершилась.

От музыки к страсти

Музыка никогда не оставляла его в путешествиях, она всегда следовала за ним по пятам, становилась осязаемым действующим лицом. Поэтому многие из фактов его интригующей биографии предстанут на особом, музыкальном фоне. В пьесе Марины Цветаевой, до сих пор идущей в московских театрах, рассказывается о его страстной любви к девушке по имени Генриетта. Здесь ничто не выдуманно. Генриетта, которой Казанова впервые в своей жизни (и, вероятно, в последний раз) пылко объяснялся

в искренней любви, была исторически достоверным лицом. Эту девушку он встретил в Парме.

Однажды ночью в пармском отеле, где Казанова оказался по дороге в Неаполь с важной экстренной почтой, он был разбужен оглушительным шумом. Как выяснилось, представители местных властей в сопровождении вооруженных городских стражников «застукали» в соседнем номере пару любовников. А по приказу Святой инквизиции (в те времена она строго следила за нравственностью), запрещалось мужчине с женщиной снимать номер в гостинице, если они не могли документально подтвердить, что являются мужем и женой.

Войдя в соседний номер, Казанова увидел на постели пятидесятилетнего венгерского капитана, изъяснявшегося только полатыни, и женщину. Он еще не знает, кто она, сколько ей лет, молода она или стара, красива или безобразна, так как женщина скрыта под одеялом. Не знает, пожелает ли она его или оттолкнет, свободна она или связана с кем-то, — ему все равно. Следуя безошибочной интуиции, Казанова меняет все свои планы, велит распрячь уже готовых тронуться в путь лошадей и остается в Парме ловить удачу.

И он не ошибся. Эта молодая француженка оказалась писаной красавицей, а Казанова, завзятый ловелас, вдруг почувствовал, что влюбляется, влюбляется по-настоящему. И впервые в жизни ему даже не хочется сразу тащить незнакомку в постель, а лишь чувствовать ее постоянно рядом, глядеть на нее, любоваться ею и снова и снова переживать охвативший его трепет. «Красота этой девушки тут же превратила меня в раба», — признавался пылкий авантюрист.

Но Генриетта не только красива. Она умна, получила великолепное образование, обладает изысканными светскими манерами и к тому же обожает музыку. «Беседуя с ней, я обнаружил у нее такой рассудок, который стал для меня новинкой, — я никогда не встречал ничего подобного ни у одной француженки. Она не раз мне говорила, что ее главная страсть — музыка».

Она была поклонницей музыки Б. Галуши, и Казанова поспешил снять в местном театре ложу, где они слушали его оперу «Аркадия в Бренте».

Финал второго акта настолько поразил ее, что Казанова тут же раздобыл ноты. Но его постигло разочарование — Генриетта не играла на клавишине. Тогда вечером, положив перед собой партитуру, они при мерцающем пламени свечей, склонившись над нотами, следовали, словно в полете, за обворожительной музыкой, а влюбленный Казанова успевал еще бросать нежный взгляд на свою возлюбленную.

Генриетта часто давала ему уроки философии, и они казались Казанове лучше нравочений Цицерона.

Когда в театре закрылся сезон, парочка часто наезжала на дачу его директора Дю Буа, где постоянно присутствовала на концертах знаменитых итальянских и испанских музыкантов.

В знак поклонения перед красотой Генриетты Дю Буа организовал для нее фантастический музыкальный вечер с участием самых известных музыкантов того времени. Здесь был знамени-

тый сопранист Карло Броски (Фаринелли), известная певица Бальони, ее брат тенор Антонио, первым исполнивший партию Октавио в моцартовском «Дон Жуане». Программа домашнего вечера включала симфонию в исполнении оркестра, а затем Джузеппе Тартини сыграл свой концерт для виолончели. Генриетта была настолько потрясена его музыкой, что, охваченная каким-то необыкновенным порывом, выхватила инструмент у музыканта и, призывно глянув на оркестр, заиграла концерт снова. Когда Генриетта закончила, все музыканты долго ей аплодировали. Затем она сыграла еще шесть пьес. Даже не поблагодарив аудиторию за внимание, спокойно выслушала лестные комплименты и, обратившись к дирижеру, попросила извинить ее, что несколько затянула концерт. «Всею виной — мое тщеславие», — объяснила она.

Хвалебные высказывания в ее адрес оказали на Казанову такое сильное впечатление, что он выбежал в сад, где никто не мог видеть его слез, и «излил там тысячи слов любви и охвативших его страстных чувств». Кто же она, эта Генриетта? Что за сокровище, которым он овладел? Разве мог им обладать какой-нибудь счастливый смертный?

«Когда за обедом я спросил ее, где она научилась так хорошо играть на виолончели, она ответила:

— В монастыре, по примеру матери, которая была отличной виолончелисткой. Но без разрешения отца аббатиса не позволяла мне учиться играть на этом инструменте.

— По какой же причине?

— Моя благочестивая настоятельница была убеждена, что нельзя играть на инструменте, если для этого необходимо принять неприличную, по ее уразумению, позу...»

Теперь Казанова влюбился не только в нее, но и в ее музыку. На следующее утро он отправился покупать виолончель.

В своих «Мемуарах» Казанова утверждает, что именно тот достопамятный вечер превратил его в страстного почитателя музыки, а до тех пор якобы она не имела для него особого значения. «Как странно, человек, не проявляющий особой страсти к музыке, вдруг буквально начинает сходить от нее с ума, если только тот, кто в совершенстве играет на инструменте, является предметом его обожания и любви! Звуки виолончели, звуки, так похожие на звуки человеческого голоса, так глубоко проникают в мое сердце, когда смычком водит по струнам нежная рука Генриетты, и она это понимала. Своей игрой она доставляла мне удовольствие каждый день, и я даже предложил ей давать платные концерты, но она наотрез отказалась...»

Как видим, и здесь Казанова остается верен себе — все его рассуждения о музыке выстраиваются от «страсти — к музыке», а не наоборот, как, скажем, происходит у Л. Н. Толстого.

Но счастье Казановы длилось недолго. В Парме объявился Антуан Фарусси, по словам Генриетты, ее дальний родственник. После двух встреч с глазу на глаз — их, как ни странно, организовал Казанова — она решительно заявила своему возлюбленному, что им нужно расстаться, расстаться навсегда, не раскрывая причин неожиданного разрыва. Она уехала во Фран-

цию, отказавшись назвать город и лишь пообещав все объяснить в письме, которое напишет ему на первом постоянном дворе. Единственная просьба — проводить ее до Женевы. На следующий день, в одной из женевских гостиниц, он получил письмо. На листе бумаги было написано одно слово «Прощай!».

Казанова был безутешен. «Я провел один из самых мрачных дней в моей жизни. На одном из двух окон в номере гостиницы я нацарапал: «Ты тоже забудешь Генриетту». Эти слова она велела выгравировать на небольшом бриллианте подаренного мною кольца. Такое пророчество, вероятно, было сделано, чтобы утешить меня, но какой смысл она придавала слову «забудешь»? Судя по всему, она хотела сказать, что нанесенная мне рана зарубцуется, что вполне естественно, — этого не стоило такое горькое предсказание. Нет, я ее так и не забыл, и сердце мое наполнялось бальзамом утешения всякий раз, когда я вспоминал о ней...»

Описываемая незабываемая встреча с Генриеттой произошла либо в 1749-м, либо в начале 1750 года. Казанова встречал ее еще дважды — в 1763-м и в 1769-м, но видел ее издали и даже не узнал. Последняя, третья встреча произошла через несколько лет, но об этом мы расскажем позже. Любопытно отметить, что в своей книге «Воспоминания бывшего священника» (1884) Джеймс Говард Хэррис, граф Мейсберийский, рассказывая о пребывании в Женеве, сообщает, что своими глазами видел нацарапанную на стекле окна своего гостиничного номера знаменитую надпись — «Ты тоже забудешь Генриетту».

Музыкальное соперничество в Париже

Впервые приехав во Францию, в Лион, Казанова столкнулся со своей соотечественницей, самой знаменитой куртизанкой Анчиллой. По красоте с ней не могла сравниться ни одна девушка ни во Франции, ни в Италии. Всякий, кто обращал на нее взор, вспыхивал, как сухой валежник. Нужно сказать, эта великолепная исполнительница «баркаролы» никому не отказывала в своих чарах, и земляк, вполне естественно, не был обойден ее вниманием. Так, первой его женщиной на французской земле оказалась итальянка.

Вместе с другом, французским танцовщиком и актером Баллетти, Казанова продолжил свой путь, и через пять дней они прибыли в Париж.

Как мы уже говорили, Казанова любил, рисуясь, подчеркивать свое «полное равнодушие к музыке». Но довольно часто он предстает как тонкий знаток и ценитель музыки, и его острые замечания и глубокие суждения в этой области остаются по сей день ценным историческим источником, который, однако, музыковеды обходят вниманием.

Оказавшись в Париже в 1750 году, Казанова становится одним из самых едких критиков устаревшей французской оперы. Вот что написал он, побывав на знаменитой опере-балете Кампра «Венецианские празднества», с неизменным успехом шед-

шей около сорока лет на французской сцене: «Музыка хороша, хотя и несколько устарела, но развлекала она меня только в самом начале, и то лишь потому, что была для меня новинкой, — позже она начала меня утомлять... Монотонность лирических партий и шумные вскрикивания артистов совсем не к месту на самом деле действовали мне на нервы...»

Нельзя не признать справедливости его слов. Действительно, традиционная оперная манера исполнения к тому времени окончательно обветшала, в моду все настойчивее входил более современный стиль. Музыкальные вкусы парижан все больше склонялись к немецкой и итальянской опере. Казанова в спорах о преимуществах французской и итальянской опер неизменно отдавал предпочтение последней. Именно итальянцы тогда усиленно прокладывали новые пути в музыкальном искусстве. В этом Казанову поддержал и Руссо. В своем «Письме о французской музыке», опубликованном в 1753 году, он нанес чувствительный удар по французскому барокко.

Сохранились свидетельства и о других музыкальных впечатлениях Казановы в Париже. Сара Гудар, одна из его многочисленных парижских любовниц, на которой он «даже чуть не женился», вспоминала в своих мемуарах: «Безотчетно веселье французы откровенно зевали в опере в Неаполе, а итальянцы, не стесняясь, в открытую храпели на опере в Париже. Помню, как один венецианец к концу «Венецианских празднеств» обратился с вопросом к француз: «Извините, месье, когда же они начнут петь?» «Черт подери! — воскликнул удивленный француз. — Но они поют уже битых четыре часа!» «Извините за беспокойство, месье, но у нас в Италии мы называем это мелодекламацией, а не пением...»

Этим венецианцем, конечно, был Казанова. Его привередливый итальянский желудок никак не мог переварить монотонную французскую бурду.

В Париже Баллетти познакомил Казанову со своей матушкой Сильвией, комедийной актрисой, идиолом всей Франции. Ее уникальный талант служил мерилom совершенства для артистов ее жанра. С ней переписывались знаменитые писатели, и прежде всего Пьер Мариво (1688—1763). Без Сильвии его комедии вряд ли бы дошли до потомков, в Париже ей не могли при необходимости отыскать замену. Кроме своих артистических достоинств, она обладала непривычной для комедийных актрис высокой нравственностью. Ее постоянно окружали толпы мужчин-друзей, среди которых не было ни одного любовника. По этой причине, утверждал Казанова, капризная публика в партере никогда не освистывала актрису, даже если ей не нравилась та роль, в которой она выступала.

Сильвия познакомила его со знаменитым французским драматургом Проспером Кребийоном. Казанова был очарован встречей с этой знаменитостью и не преминул прочитать ему перевод отрывка из его трагедии «Радамист и Зенобия». Восьмидесятичетырехлетний старец с большим наслаждением вслушивался в чужой итальянский язык, который, однако, любил больше родного. Цитируя то же место по-французски, он

указал Казанове на некоторые неточности перевода, а также на сильно приукрашенные, по его мнению, фразы.

— Здесь, в Париже, вы быстро всего добьетесь, — предрек ему мэтр.

Кребийон предложил Казанове приходить к нему, чтобы заняться переводами на итальянский французских поэтов. И тот приходил к мэтру трижды в неделю в течение целого года и с его помощью в совершенстве овладел французским, хотя так до конца и не избавился от итальянских оборотов в речи.

Благодаря Сильвии Баллетти Казанова познакомился в Париже со всеми знаменитыми актрисами и оперными исполнителями, деятелями культуры. Казанова считался своим человеком в доме Сильвии и даже ухитрился стать официальным женихом ее дочери Манон. В то время он был еще «стеснительным молодым человеком», и ему приходилось сталкиваться с довольно необременительными нравственными устоями парижан, как представителей высшего общества, двора Людовика XV, так и простолюдинов. Поэтому Казанове иногда приходилось попадать в забавные ситуации.

Однажды его представили месяе Лани, художественному руководителю балетной труппы Парижской оперы. «Он пригласил меня посмотреть репетицию в зале. Там я увидел четырехпятых девочек в возрасте от 13 до 14 лет, которые с самым скромным видом, свидетельствующим о хорошем воспитании, занимались экзерсисами под внимательным взглядом присутствующих здесь матерей. Я им отвесил пару лестных комплиментов, а они молча слушали меня, смиренно потупив взгляд. Одна из них пожаловалась на сильную головную боль. Я ей предложил флакончик с нюхательными каплями. Ее подружка поинтересовалась, хорошо ли та спала.

— Да дело не в этом. Кажется, я беременна.

Пораженный таким неожиданным ответом, я, как полный дурак, сказал:

— Никогда бы не подумал, что мадам замужем.

Она, бросив на меня недоуменный взгляд, посмотрела на подружку. Обе прыснули. Я отошел от них в стыдливом смущении, исполненный решимости больше никогда в будущем даже не предполагать, что у девушек из театральной среды существует сильная тяга к невинности».

Еще один эпизод. Приятель Казановы, адвокат Пату, однажды познакомил его со знаменитой певицей Фель, примадонной оперы. Многие композиторы считали за честь писать для нее партии. Фель даже была почетным членом Королевской академии музыки. Во время первого визита к ней Казанова увидел в доме совершенно непохожих друг на друга маленьких детишек. Пораженный, он спросил у хозяйки, чем можно объяснить такое разительное несходство среди братьев.

— Еще бы, — беззаботно ответила мадам, — один из них — сын герцога Д'Анеччио, средний — графа Эгмонта, а самый младший — сын одного заезжего молодца...

— А я-то полагал, что вы — мать всех этих очаровательных детишек.

— Ну а кто же я?

Собравшаяся у певицы компания покатила со смеху.

В Париже за Казановой на некоторое время утвердилась кличка «невинная венецианская деревенщина». Да, Казанове пришлось еще немало поучиться, прежде чем заработать ту характеристику, по которой до сих пор о нем судят...

В знаменитой опере-балете Кампра «Венецианские празднества» Казанова увидел всех величайших балерин и танцовщиков своего времени. Он обожал чарующего Дюпре — образцового исполнителя классического танца, в свои шестьдесят танцевавшего, по мнению знатоков, словно двадцатилетний юноша. Восхищался великолепной испанкой Марией Анной Камарго, кстати, тоже приближавшейся к шестидесятилетию рубежу. Она была племянницей знаменитого тирана-инквизитора, что дало повод немецкому музыковеду Мельхиору Гримму заметить с иронией: «Тем удовольствием, которое Камарго доставляет сотням зрителей, она сторицей искупила грехи своего извергадядюшки». Камарго первой исполнила высокие прыжки на сцене, отказалась от туфель на высоких каблуках, от длинной юбки и даже от трико.

Последнее новшество особенно пришлось по душе Казанове, с удовольствием заметившему, что «наконец-то можно рассмотреть и оценить по достоинству прелестные ножки, то лучшее, чем обладает любая красавица».

В Париже Казанова стал свидетелем еще одного новшества — в искусстве дирижера. У себя на родине он привык к тому, что дирижер управляет оркестром, сидя за клавиносом. Но во Франции уже утверждался новый стиль отбивания дирижером такта с помощью дирижерской палки (а не палочки), которую ввел в музыкальный обиход знаменитый французский композитор Жан-Батист Люлли (1632—1687). Эта палка походила на тяжелую палицу. Через определенные интервалы дирижер со стуком опускал ее на пол. Такое нововведение объяснялось усложнением инструментовки, частым изменением первоначально заданного музыкального ритма, необходимостью более точного исполнения замысла композитора. Все это по достоинству сумел оценить Казанова. «Я нашел ту манеру, когда весь оркестр вступает как бы с единым ударом смычка, превосходной», — записал он в своих мемуарах. Руссо же остался крайне недоволен новинкой. «Боже, как ноют уши в Парижском театре от неприятного и постоянного стука дирижерской палки!» — возмущался философ и музыкальный критик. В Европе тем временем началась настоящая война между сторонниками и противниками нового стиля дирижирования оркестром. И последние вскоре получили в свои руки неожиданный козырь. Сам изобретатель нового стиля, рассердившись на «грязную» игру музыкантов, с такой силой нечаянно опустил дирижерскую палицу себе на ногу, что она вся распухла. Вскоре началась гангрена, и Люлли в результате скончался. Жаркие споры после этого стихли.

Король Людовик XV, страстный охотник, обычно каждой осенью проводил шесть недель в своем загородном дворце Фонтенбло, возвращаясь в Версаль лишь во второй половине декабря.

В поездку, обходившуюся казне в шесть миллионов франков, он обычно брал всех тех, кто мог доставить удовольствие двору и иностранным послам. За ним гурьбой устремлялись итальянские и французские артисты, в то время наводнившие столицу Франции в избытке. Там они всюду развлекали короля, его приближенных, знатных иностранцев, укрепляя тем самым свое финансовое положение.

Но театрально-музыкальная жизнь в Париже не замирала. Однажды отец Баллетти Марио вместе со своей женой Сильвией пригласили Казанову в Парижскую оперу. Давали «Макро» все того же Люлли. Почетного гостя посадили под ложей мадам де Помпадур, еще незнакомой с Казановой. Вот как рассказывает он сам об этом необычном происшествии: «В первой же сцене из-за кулис появляется Мавр и начинает свой речитатив. Уже во второй строчке стиха он издает такой дикий вопль, что я, не сдержавшись, загоготал, не думая, что из-за этого кто-нибудь может упрекнуть меня в дурных манерах. Сидевший рядом с маркизой господин с голубой лентой через плечо, свидетельствовавший о его членстве в основанном Генрихом III Ордене Святого духа, наклонившись, сухо осведомился, из какой страны я прибыл. Я ему ответил, что из Венеции.

— Когда я был в Венеции, я тоже очень смеялся над речитативами ваших опер.

— Охотно верю, месье, но я также уверен, что там никто бы не помешал вам смеяться.

Мой ироничный ответ заставил рассмеяться мадам де Помпадур, затем пожелавшей узнать, на самом ли деле я приехал из города, расположенного «там, где-то внизу».

— Венеция, мадам, расположена не внизу, а где-то вверху.

Этот ответ озадачил всех сидевших в ложе еще больше, чем первый. Придворные дамы принялись определять точное географическое положение Венеции — внизу она или вверху. Вероятно, они убедились в правоте моего ответа, так как больше ко мне не приставали. Я продолжал молча слушать оперу, но у меня был сильный насморк, и мне приходилось часто и довольно громко выбивать нос. «Голубая лента», которого я не знал и который оказался маршалом Ришелье, снова осведомился, почему я неплотно закрываю окна спальни.

— Прошу прощения, месье. Они даже законоблечены...

Наверху все снова дружно рассмеялись, а я, поняв, как произнес заковыристое французское слово «законоблечены», весь похолодел от ужаса. Но никаких санкций не последовало. Спустя полчаса месье де Ришелье спросил меня, какая из актрис, на мой взгляд, самая красивая.

— Вон та.

— У нее отвратительные ноги.

— Я их не замечаю, месье, так как, разглядывая красоту женщины, я их первым делом широко развожу в стороны, чтобы убрать с поля зрения.

Моя неожиданно выпаленная острота вскоре стала знаменитой, а маршал Ришелье устроил в мою честь изысканный прием...»

Дрезден и Прага

В середине августа 1752 года Казанова оставил столицу Франции и отправился в Дрезден, где в Королевском придворном театре все еще блистала на сцене его мать. Ранее к нему обратился посол польского короля Августа III граф Лосс с просьбой перевести на итальянский либретто оперы Рамо «Заратустра». Казанова долго отказывался, но в конце концов уступил настойчивости меломана и перевел либретто. «Мне предстояло адаптировать слова к хоральной музыке, а это очень трудное занятие. Музыка, конечно, сохраняла все свои достоинства, но мои итальянские стихи оказались безжизненными, в них не было яркой вспышки».

Опера Рамо была поставлена 17 января 1752 года в Дрездене. Но французская музыка не пришлась по вкусу строгим немецким заказчикам, и от нее в результате сохранились лишь увертюра да несколько разрозненных частей. Остальное «дописал» немецкий композитор Иоганн Адам Казанова же за либретто получил от польского монарха щедрый подарок — золотую табакерку и доставил своей работой большое удовольствие матери. В Дрездене в ее честь он написал трагикомедию, построенную на приемах старинной «комедиа дель арте», с привычными арлекинами. По его собственным словам, это была пародия на Расина, и король, присутствовавший на спектакле, от души смеялся осторожным замечаниям главных действующих лиц. В результате автор получил из августейших рук вознаграждение — 200 талеров, правда, с выплатой в рассрочку, недаром немецкая скудость вошла в поговорку. На этом его пребывание в Дрездене закончилось, и он впервые отправился в Прагу, с которой впоследствии в его жизни будет связано немало событий.

Столица тогдашней Богемии находилась в нескольких часах езды на упряжке добрых лошадей. Здесь Казанова прежде всего нанес визит известному импресарио Локателли, удивительно предприимчивому человеку. Авантюрная судьба роднила его с Казановой, и тот не случайно оставил в своих мемуарах немало воспоминаний об этой незаурядной личности. Прежде всего в Локателли поражало хлебосольство, черта, столь не свойственная европейцам. Он каждый день обедал за столом, уставленным тридцатью кувертами, — его постоянными гостями были актрисы, танцовщицы и балерины, друзья. Хозяин всегда председательствовал за обильной трапезой и так до конца жизни не смог избавиться от пагубной страсти — чревоугодия. Его хлебосольство скорее отдавало русским размахом, что и нашло свое подтверждение в далекой России, куда судьба-злодейка забросила бывшего импресарио, превратив его в непревзойденного организатора настоящих лукулловых пиров в принадлежавшем ему трактире.

Джованни Батиста Локателли родился в 1715 году в Италии. В восемнадцатилетнем возрасте, в 1733 году, он оказался в заснеженном Санкт-Петербурге, где хотел основать драматический театр, но его инициатива нашла довольно прохладное к себе

отношение. Тогда он отправился путешествовать по России в поисках достойного мецената. Его «научная экспедиция» побывала во многих районах, доехала даже до Казани. Здесь подозрительный губернатор отдал приказ арестовать иностранца и отправить обратно в Москву. По дороге его ограбили. Все свои горькие претензии к малогостеприимной Московии он изложил в своих «Московских письмах», опубликованных в Париже год спустя.

Оставив Россию, Локателли направился в Кельн. Там он получил место директора оперного театра, а затем перебрался в Прагу, где руководил Итальянской оперой почти десять лет. В 1750 году он пригласил в Прагу Глюка и поставил его оперу «Азций».

В то время, когда Казанова находился в Праге, контракт Локателли с театром «Губениум» уже истекал, а о его возобновлении дирекция и слышать не хотела. Звезда Локателли закатилась. Он уже намеревался отправиться в Дрезден, просил Казанову с помощью своей матери оказать ему там «протекцию», но вдруг неожиданно в 1757 году Прагу осадили прусские войска Фридриха II (уже год шла семилетняя война). Театр разрушили, реквизиты разграбили, и Локателли пришлось спешно бежать в... Россию, которая уже однажды обошлась с ним столь немилосердно. С оперной и балетной труппами он вскоре перебрался в Москву, где открыл свой Оперный дом у Красного пруда (ныне Комсомольская площадь), но вскоре театр прогорел.

Пути Локателли и Казановы вновь пересеклись, когда наш герой посетил Санкт-Петербург. С изумлением Казанова обнаружил, что его приятель, автор многих оперных либретто, знаменитый импресарио, по воле обстоятельств распростился со своей страстью к театру и музыке, но так и не сумел перебороть другую страсть — к изысканной еде и отличной кухне. Театральный дока стал владельцем... ресторана. Вот свидетельство Казановы: «Министр царского двора Олсуфьев пригласил меня отобедать в ресторане Локателли в Екатерингофе. Это было императорское предместье, где царица пожаловала бывшему сценическому директору в пожизненное владение ресторан, который здесь называется «кабак». Он подавал посетителям превосходную еду по цене в один рубль. Без вина, разумеется...»

Во второй раз судьба столь же круто обошлась с незадачливым Локателли в России. Несмотря на рекомендации, данные ему графом Кейзерлингом (тем самым, которому И. С. Бах посвятил свои «Гольберговские вариации»), Локателли не удалось заполучить никакого поста в императорском оперном театре. Так и остался он до конца жизни владельцем исторического «Красного кабака» в Екатерингофе, где устраивались шумные банкеты для высшей царской аристократии. Кроме того, он «по совместительству» занимался организацией придворных маскарадов и увеселений, а также преподавал французский и итальянский языки в балетном училище. В России он и умер в 1785 году.

Встреча с Метастазіо в Вене

Прожив несколько месяцев в Праге, Джакомо Казанова начал подумывать, куда бы теперь податься. Он терпеть не мог посто­янства. Авантюристический склад ума не давал ему покоя, мощный интеллект никогда не находился в состоянии зимней спячки. Казанове исполнилось уже двадцать восемь, личность вполне сформировалась, о его несравненных достоинствах гово­рили в лучших европейских домах, а убедительные победы над слабыми женскими сердцами обрастали пикантными, волну­ющими подробностями. Казалось, все хорошо, все шло так, как он сам того желал. Все, кроме одного немаловажного пустячка. По словам нашего героя, у него «чуть-чуть не хватало денег». Но где же их взять человеку без профессии, без постоянного дохода, без влиятельных покровителей, человеку, сделавшему авантюризм и коллекционирование приключений своим главным «бизне­сом»?

Мысли его устремились к Вене. В то время столица Австрии считалась центром европейской политической, социальной и культурной жизни. Кроме того, большой город располагал в глазах Казановы еще одним неоспоримым достоинством — самым большим в Европе игорным домом. В Вене собирались все богачи мира, там за карточным столиком можно повстречать всех избранных — как аристократов духа, так и аристократов толстых кошельков.

Итак, вперед, на завоевание Вены!

148 Поначалу все складывалось самым прекрасным образом. Ка­занова жил в дорогих отелях и наслаждался новыми победами у местных прелестниц (деньги еще не кончились). И только происки «комиссаров целомудрия» — так в Вене именовалась «полиция нравов» — действовали ему на нервы. Эти, по его словам, палачи изводили самых красивых девушек.

Дело в том, что императрица обладала всеми мыслимыми достоинствами, кроме одной — терпимости. Особенно это каса­лось незаконной любовной связи между мужчиной и женщиной.

Великая самодержавная правительница, отличавшаяся край­ней набожностью, не выносила любой смертный грех и преследо­вала его повсюду с дьявольским упорством и настойчивостью, стараясь тем самым заручиться расположением к себе Господа. Однажды она потребовала, чтобы ей принесли список смертных грехов. Заглянув в реестр и обнаружив в нем лишь семь, тут же потребовала умножить это число на шесть и увеличить таким образом список. Распутство стало ее главным врагом, и она безжалостно искореняла его. Можно представить, как чувствовал себя Казанова, когда его пылкая душа и не менее пылкое тело были вынуждены перейти на сексуальную диету! Шпионы от нравственности повсюду следовали за ним по пятам.

Испытывая от такого запрета ужасные муки, Казанова все же пытался войти в светскую столичную жизнь. Прежде всего, по тогдашним обычаям, для этого требовалось рекомендательное письмо, и Казанова, конечно, им заблаговременно запаслся. Оно открывало ему многие заповедные двери. Письмо было от ита-

льянского либреттиста, живущего в Дрездене, к другому итальянскому либреттисту, знаменитому поэту Пьетро Метастазии (1698—1782). Венский соотечественник Казановы жил здесь безвыездно с 1730 года. В Вену его пригласила любовница императора Карла VI, графиня, патронировавшая изящные искусства в столице. Злые языки утверждали, что Метастазии был тайно обручен с графиней.

Трудно переоценить огромное значение Метастазии в развитии итальянской музыкальной культуры вообще, и оперы в частности. По словам известного испанского математика и музыковеда Антонио Эксимена, долгое время жившего в Риме, «сладость, грациозность и чувственность его поэзии стали источником для всей оперной музыки позднего барокко. Ему, как никому другому, удалось совместить свой музыкальный инстинкт с выразительной, виртуозной красотой...»

Сразу же после приезда в Вену Казанова отправился к этому замечательному поэту и вручил свое рекомендательное письмо. Встреча оставила такой след в его мемуарах: «Метастазии был настолько скромен, что вначале показался мне каким-то неестественным. Но вскоре я понял, что он абсолютно искренен, ибо, когда читал свои стихи, то первым привлекал мое внимание к удачным отрывкам и находкам. Он проделывал это с такой же простотой, с какой выделял и свои слабые, малоудавшиеся строки.

Я спросил его, много ли сил приходится тратить на его великолепную поэзию. Он пододвинул ко мне несколько листов, лежавших на столе перед ним. Многие строчки были густо зачеркнуты. Вся поэма от силы насчитывала четырнадцать строк, и он заверил меня, что никогда не пишет больше за один день. Это еще раз подтвердило мне то, что уже было известно: поэт тратит как раз больше всего усилий на те строки, которые, как кажется читателю, вышли из-под его пера легко и непринужденно, без особого труда...

— Какие из ваших опер вам больше всего нравятся? — спросил его я.

— «Аттилий Регул», но это не означает, что она — самая лучшая.

— Все ваши произведения переведены на французский — прозой, но в результате их издатель в Париже Ришелье разорился, так как эти переводы невозможно читать.

В разговоре со мной он заметил, что не написал ни одной, даже самой крохотной арии, не положив ее предварительно на музыку, хотя он никогда и никому ее не показывал.

— Странно, — продолжал он, — но французы верят, что стихи можно приложить к заранее написанной мелодии... — И привел мне одно философское сравнение: — Это все равно, что сказать скульптору: вот перед тобой кусок мрамора, сделай мне из него Венеру, лицо которой можно будет увидеть до того, как ты вылепишь ее черты...»

В Вене Казанова скоро обзавелся новыми знакомыми в театральном мире. Среди них — танцовщик Бодэн, с ним Казанова встречался еще в Турине, танцовщик Аммиони (муж известной

в Венеции куртизанки Анчили Кардини), знаменитая певица Виктория Тези, обладавшая выдающимся контральто. Познакомился с блестящим хореографом, сторонником драматического экспрессивного стиля танца Жаном Новерром и не менее знаменитым балетмейстером Гаспаро Анджелини, создавшим великолепные балетные номера для оперы «Дон Жуан» Глюка, оказавшей сильное влияние на одноименную оперу Моцарта.

Установившиеся добрые отношения с Анджелини вскоре испортились. Казанова без памяти влюбился в его жену — Фольяцци. Но здесь, как говорится, коса нашла на камень. Знаменитый сердцеед с горечью признался, что потерпел одно из редких поражений. С философским спокойствием предался он созерцанию своей неудачи в «Мемуарах»: «Театральная дама, любящая кого-нибудь другого, являет собой неприступную крепость, и тут необходимо навести золотой мост. Но я не был богачом. Тем не менее я не уступал и продолжал кадить на ее алтарь. Ей нравилась моя компания, и она даже однажды показала мне свои письма. Я похвалил ее за красоту слога. У нее была красивая миниатюрка, ее собственный портрет, сходство с оригиналом было просто поразительно. Горюя по напрасно затраченному времени, я решил в день своего отъезда выкрасть этот портрет. Тщетное утешение для любящего! Отдавая ей последний визит, я увидел, что столь желанное сокровище находится почти рядом со мной. Я сунул его в карман и отбыл в Преисбург (Братислава)».

В Вене ему не повезло не только в любви, но и, вопреки общераспространенному поверью, в игорном доме. Он крепко проигрался. Тогда беспокойный ум авантюриста приступил к разработке новых фантастических проектов. Казанова становится... финансистом. Предложив французскому правительству осуществить для него ряд выгодных финансовых операций, связанных с размещением ценных бумаг, он с этой целью отправляется в Голландию.

Снова в Париже

Поездка удалась на славу. Отстаивая интересы французского правительства, Казанова, конечно, не забывал о своих собственных, и в результате прикарманил довольно кругленькую сумму. По слухам, полмиллиона франков. Удачные финансовые сделки создали ему благоприятную репутацию в Париже. Возвращение в город любви было триумфальным.

Казанова вновь с головой окунулся в светскую жизнь, которая, конечно, немислима без изысканных, тонких наслаждений, доставляемых красивыми женщинами и музыкой. Тогда в Париже большой популярностью пользовалось творчество чешского скрипача и композитора Яна Стамица, выдающегося реформатора оркестровой музыки. Казанова в компании своей «вечной» невесты Манон Баллетти часто посещал его концерты. Неоднократно навдывался он и к Жан-Жаку Руссо, великому философу и знатоку музыки, бывшему секретарю французского посольства в его

родной Венеции. Так как Руссо почти никого у себя не принимал, Казанова ради встречи с ним пошел на хитрость: захватил с собой для философа «работу» — кучу нот... для переписки.

Дело в том, что знаменитый Руссо сильно нуждался и, сохраняя свою независимость от сердобольных друзей и поклонников, готовых оказать ему помощь, предпочитал не брать благотворительные подношения, а зарабатывать на жизнь перепиской нот. Немецкий музыкальный историк Иоганн Форкель сообщал, что посетивший Руссо граф Фолкерсхайм «был поражен, застав автора выдающихся философских и литературных сочинений за переписыванием нот». А вот что пишет сам Казанова: «Мы отпраздновали в Монмаренси, чтобы нанести ему визит под предлогом необходимости срочной переписки нот. Он выполнил работу выше всех похвал. Правда, за свой труд брал в два раза дороже, чем прочие копиисты, но зато его исполнение — само совершенство»...

Руссо показался ему очень простым и скромным, ничего из себя особенно не представлявшим ни по внешнему виду, ни по состоянию духа, тем не менее Казанова сообщает о любопытном визите к нему принца Конти. Тот приехал в Монмаренси, чтобы провести несколько часов за умной беседой с человеком, слава о котором уже гремела по всей Европе. Они встречались в парке, где провели за оживленной беседой, гуляя по аллеям, несколько часов.

— Ваше высочество наверняка проголодались. Сейчас я распорядюсь, чтобы поставили еще один куверт.

Когда они вошли в столовую, принц заметил на столе третий прибор.

— Что это значит? Кто тот третий, который намерен составить нам компанию и прервать тем самым наш тет-а-тет?

— Этот третий — всего лишь мое второе «я», — ответил философ. — Моя вторая сущность. Это не моя жена, не любовница, не служанка, не мать и не дочь. И все же эта сущность охватывает всех их.

— Я пришел сюда, чтобы пообедать с вами, месье, — ответил принц, — однако вижу, что вас лучше оставить обедать наедине с вашим вторым «я». Прощайте!

Но Руссо был не только философом и знаменитой фигурой в истории французской музыки, составившей знаменитый «Музыкальный словарь». Он прослыл еще и композитором, автором нескольких опер, одна из них — «Деревенский колдун» — много лет украшала театральные репертуары...

Однажды Казанова посетил концерт в Тюильри. «Давали мотет Мондовиля (1711—1772). Текст сочинил аббат Уазенон, а тему ему предложил я, — вспоминает Казанова. — Под моим влиянием аббат написал оратории в стихах. Они исполнились на музыкальном вечере в Тюильри по таким дням, когда театры закрывались по религиозным причинам».

Таким образом Казанова на вполне законном основании вправе говорить о своей причастности к созданию французской оратории как жанра музыкального искусства.

В веселом Штутгарте и дальше по Европе

Год 1760-й Казанова провел в столице королевства Вюртембергского Штутгарте, где великий герцог Карл содержал блистательный двор, затмевающий собой все прочие европейские дворы. Карликовому монарху ужасно хотелось во всем походить на Людовика XV. Он постоянно думал только о развлечениях, о шумных музыкальных представлениях и спектаклях. Деньгами его снабжала Франция в виде уплаты за предоставленных в ее распоряжение десяти тысяч немецких солдат. Огромные суммы уходили на умопомрачительные приемы, на строительство великолепных зданий, на исполнение любого монаршего каприза, но больше всего денег тратилось на веселые представления и развлечения. У него в столице действовала французская опера, комическая опера, опера итальянская — серьезная и «буфф», открылось множество провинциальных театров. В Штутгарте выступали танцовщики и балерины, уже добившиеся популярности у себя на родине в Италии. Музыка к спектаклям писал знаменитый хореограф Жан-Жорж Новерр, служивший в Вюртемберге при дворе. В каждом из его спектаклей принимало участие не меньше ста статистов, а его машинист сцены выделывал такие чудеса, что у всех просто дух захватывало. Денег, конечно же, не хватало, а придворные постоянно ломали головы, как вовремя расплатиться за музыкальные причуды короля. Зато его подданные могли посетить любой театр бесплатно. Естественно, Казанова присутствовал на всех оперных и балетных представлениях в Штутгарте. Он сумел завоевать расположение герцога, тот даже милостиво позволил ему «свободно выражать свои чувства и даже хлопать в его присутствии», что запрещалось придворным. Но пристрастие гостя к любовным авантюрам и карточной игре вывело строгого монарха из себя, и он повелел поскорее выдворить Казанову из своих владений...

Страсть к путешествиям, к сцене, музыке, к миловидным актрисам и балеринам с новой силой овладела неутомимым Казановой. Он отправился в Женеву, чтобы повидаться с великим «фарнейским отшельником» Вольтером. Приехал к нему, когда знаменитый мэтр выходил из-за стола, окруженный толпой важных сеньоров с их дамами.

«Мое представление ему отличалось особой торжественностью.

— Месье Вольтер, вот и наступил самый счастливый момент в моей жизни, наконец я вижу перед собой своего мэтра. Уже двадцать лет я ваш самый усердный ученик.

— Окажите мне честь и оставайтесь таковым еще на два десятка лет и обещайте, что после этого явитесь ко мне вновь засвидетельствовать свое почтение.

— Обещаю, но при условии, что вы меня обязательно дождетесь.

— Даю вам слово. Я не стану разбрасываться жизнью, так как ее всегда не хватает».

Все встретили аплодисментами первое острое словцо Вольтера.

В таком игриво-шутливым тоне началась их беседа.

— Вы из Венеции и, очевидно, знаете месье Аюгаротти и его труды.

— Конечно, он — весьма замечательная фигура в моей стране.

— Если встретите его в Болонье, то напомните, что я жду его «Письма из России». Пусть перешлет их моему банкиру в Милане Бианке. (Речь идет о книге Аюгаротти «Путешествие по России», опубликованной в Венеции в 1760 году. Вольтер знал автора с 1735 года, хотел ознакомиться с его работой в качестве справочного материала для своей «Истории Русской империи при императоре Петре Великом».)

— Говорят, итальянцам не нравится его язык.

— Да, в нем слишком много галлицизмов.

— Но разве французские обороты не облагораживают ваш язык?

— Они делают его невыносимым. Что бы вы, как писатель, сказали, если бы ваш французский нашпиговали итальянскими фразами?

— Да, вы правы. Нужно следить за чистотой языка. За это в свое время критиковали Тита Ливия. Говорят, что он увлекся своим падуанским наречием?

— Аббат Лаззарини, когда я учился у него грамоте, говорил мне, что предпочитает Титу Ливию Саллюстия.

— Аббат Лаззарини, автор трагедии «Молодой Улисс»? Вам повезло. Мне очень хотелось бы с ним познакомиться. Но я знаю другого аббата, друга Ньютона, который в своих четырех пьесах умудрился охватить всю Римскую историю.

— Я с ним тоже знаком и восхищен его личностью. Но я не в силах сдержать своего восхищения перед вами, так как ваша слава затмевает всех.

— К какому роду литературы вы питаете пристрастие?

— В данный момент ни к какому. Но, вероятно, вкус к чему-то определенному придет. А в ожидании этого я пока в основном путешествую, изучая людей.

— Да, это один из эффективных способов их познания, но книга все же лучше. В этом легче преуспеть, изучая историю.

— Она лжет, в ней мало достоверных фактов, она вызывает скуку, а вот изучение мира на ходу, из дорожного экипажа, меня сильно развлекает. Гораций, которого я знаю наизусть, — вот мой маршрут. Я это чувствую повсюду, где бы ни находился.

— Вам, конечно, нравится поэзия?

— Это моя страсть.

— Вы написали много сонетов?

— Десять—двенадцать, которые мне нравятся, и две-три тысячи таких, которые никогда не перечитывал.

— Да, в Италии все сходит с ума по сонетам.

— Какой из итальянских поэтов вам больше всего по вкусу?

— Людовико Ариосто (1474—1533). Не могу сказать, что он лучше других, потому, что я люблю только его.

В этот момент Вольтер меня изумил. Вдруг он прочитал два больших отрывка из тридцать четвертой и тридцать пятой песен

божественного поэта из его «Неистового Роланда». Я не мог не насладиться его очаровательным, слегка грустившим итальянским...»

Пораженный эрудицией молодого итальянца, Вольтер пригласил его остаться у него на три дня. Казанова принял предложение. В течение трех дней они постоянно встречались с философом за обеденным столом и вели продолжительные беседы на самые разные темы...

В Женеве после встречи с Вольтером произошло одно событие, перевернувшее Казанова всю душу. Он остановился в местном отеле, но не в том, где когда-то расстался с Генриеттой. И вот однажды утром заметил на окне нацарапанную знакомую надпись: «Ты тоже забудешь Генриетту!» Что за наваждение? Неужели свой след оставила она, его незабываемая Генриетта, несравненная музыкантша, его первая настоящая любовь? Где же она, что с ней? Почему она скрывается, почему таится? Он обшарил весь отель, обошел прилегающие кварталы. Поиски ни к чему не привели. Так и остался Казанова в неведении — кто оставил надпись на стекле? (Этот таинственный эпизод нашел свое отражение в пьесе Марины Цветаевой «Три цвета Казановы».)

Тем временем тучи над головой удачливого авантюриста сгущались. Все больше городов отказывались принимать опасного охотника до скандальных приключений. Казанова решил расстаться с враждебным по отношению к нему континентом и отправиться в поисках лучшей судьбы на туманный Альбион. Вот как суммирует он свои первые впечатления от новой для него страны: «Остров, называемый Англией, даже по цвету отличается от всего, что видишь на континенте. Море здесь удивительное, скорее похоже на океан, так как подвержено приливам и отливам: оттенок воды в Темзе совершенно иной, он отличается от всех других рек в мире. Домашний скот, рыба, все, что здесь едят, сильно отличается по вкусу от нашей пищи. Лошади здесь прекрасно выхожены, всегда пребывают в наилучшей форме, а люди обладают общей для всей нации чертой: все они мнят себя выше других народов. Но такое воображение свойственно всем нациям, каждая почитает себя первой. И все они по-своему правы...»

Но и там его жизнь, скрашиваемая ежедневными посещениями Ковент-Гардена, омрачилась серьезной неудачей. Составленный им для лондонских дельцов проект банковской реформы, за который он получил немалую сумму, оказался настолько мастерски разработанным блефом, что Казанова счел за благо поскорее убраться из лондонского Сити, да и вообще из страны.

Он направился в Берлин, где первый свой визит нанес Раньери Кальцабиджи, младшему брату Джованни Кальцабиджи, с которым Казанова еще в 1757 году, сумев раздобыть во время личной встречи с маркизой де Помпадур разрешение, организовал первую в Париже денежную лотерею (конечно, не без пользы для себя). Молодой Раньери Кальцабиджи тоже был в какой-то мере авантюристом и финансовым «магом», но, кроме того, вошел в музыкальную историю как либреттист Глюка и его

соратник при проведении реформы оперы. Первую свою лотерею он организовал в Брюсселе, но все пошло прахом. Юный Раньери не унывал. Он сумел убедить прусского короля организовать и финансировать проведение такой же лотереи в Берлине, пообещал ему ежегодный доход в 200 000 эку. Потому приезд такого опытного «финансиста», как Казанова, пришлось как нельзя кстати. Казанова с головой окунулся во все махинации Раньери, лично разработал план нового тиража, но молодой компаньон все сделал по-своему. В результате их постиг полный провал, они потеряли около 20 000 эку.

Казанова, не теряя времени даром, добивался аудиенции у прусского короля, надеясь получить от него какую-нибудь синектуру. Через друзей ему удалось встретиться с ним в парке потсдамского дворца Сан-Суси. Монарх пообещал что-нибудь сделать для молодого, живого итальянца, который ему понравился, но, как и все самодержцы, запаздывал с исполнением данного обещания. Казанове ничего не оставалось, как терпеливо ждать хорошей погоды у синего моря. Все время он проводил у друзей из театрально-музыкального мира, где встретил танцовщика Орби, знакомого по Парижу, когда тот еще выступал в кордебалете. Орби представил его своей супруге, очаровательной балерине Ла Сантине, их свадьба состоялась во время гастролей в далекой России, в Санкт-Петербурге. Сейчас они возвращались в Париж, чтобы провести зимний сезон. Ла Сантина и заронила в Казанове мысль попытаться счастья в далекой России, где гастролеровала его подруга, балерина Мекур.

В далекой России

Узнав о том, что Казанова собирается в Санкт-Петербург, прусский король Фридрих II с облегчением вздохнул — теперь отпадала необходимость устраивать беспокойного чужеземца. Они снова встретились на параде в Потсдаме.

— Я слышал, вы уезжаете в Санкт-Петербург? — спросил Его королевское Величество.

Казанова подтвердил свое решение:

— Через пять-шесть дней, если Ваше Величество не имеет ничего против.

— У вас есть рекомендательное письмо к императрице?

— Нет, сир. Но у меня есть письмо к одному тамошнему банкиру.

— Так-то оно лучше, — ответил король. — На обратном пути обязательно загляните ко мне. Меня очень интересуют свежие новости из этой страны.

После встречи с прусским королем, попрощавшись со всеми своими друзьями, Казанова на почтовом дилижансе отбыл в далекую, неизвестную, пугающую Россию.

Через два дня он прибыл в Митаву, столицу Курляндии (ныне Елгава), где остановился в гостинице напротив дворца всемогущего в то время герцога Эрнста Иоганна Бирона (1690—1772).

Племянница Петра Великого, будущая императрица Анна

Иоанновна, в 1710 году вышла замуж за герцога Курляндского Фредерика-Вильгельма Кеттлера. Но через год он умер. Опустевшее брачное ложе заменил его дядя Фердинанд, последний из курляндских герцогов. Анна, ставшая царицей в 1730 году, за несколько лет перед смертью, в 1737-м, сделала своего фаворита Бирона герцогом Курляндским. К тому же она назначила его регентом при малолетнем императоре Иване Брауншвейгском. Но после смерти царицы взошедшая на престол Елизавета отправила ее любимчика в ссылку, где он провел 23 года. Бирон вернулся в столицу только после восхождения на престол Петра III в 1762 году. Екатерина II вернула ему герцогство в 1763 году.

Замок в Митаве, расположенный между реками Дрикс и Аа, знаменит тем, что его построил великий итальянский зодчий Растрелли (1738—1772) в стиле рококо. С 1798-го по 1807 год в нем от гнева Французской революции укрывался Людовик XVIII Бурбон. В 1919 г. он был разрушен большевиками, но в 1930-м восстановлен.

Через несколько дней Казанову представили герцогине и герцогу, который, по его словам, сохранил все черты белой красоты. Герцог удостоил его продолжительной беседы, снабдив рекомендательным письмом к своему младшему сыну Карлу Бирону, генерал-майору, находившемуся на русской службе, камергеру, члену Ордена Александра Невского, в Риге. Там Казанова неожиданно встретил своего друга, соотечественника, танцовщика Кампиони, двумя годами ранее уехавшего из Петербурга и открывшего в Латвии несколько балетных школ. Приятель устроил ему экскурсию по Риге, показал все ее достопримечательности.

Через несколько дней Казанова уже был в Санкт-Петербурге. И сразу же принялся нащупывать пути подхода к императрице. От монаршей воли теперь зависела его дальнейшая судьба, но время шло, а доступ в Зимний дворец для него оставался закрытым. Казанова решил ждать, другого выхода у него не было. Все свое время он проводил с новыми друзьями из актерской и музыкальной среды, знакомился с живописными окрестностями города и даже совершил поездку в Москву, где провел восемь дней. Там он посещал церкви, старинные памятники, заводы, различные канцелярии, побывал также в музее естественной истории при Московском университете, основанном всего несколько лет назад, осмотрел его библиотеку. И даже видел знаменитый Царь-колокол, отлитый по приказу Анны Иоанновны в 1735 году. Два года спустя из-за пожара на колокольне он упал с большой высоты и глубоко врезался в землю. От него отломился большой кусок. Таким его видел Казанова. Нужно заметить, что отчаянному сердцееду больше приглянулись московские красавицы, чем петербургские. По его словам, все они очень милы и весьма доступны, и чтобы удостоиться чести поцеловать их в розовые губки, достаточно сымитировать поцелуй ручки.

Время шло, а обнадеживающих вестей из дворца не поступало. Казанова уже собирался с наступлением весны уехать из России, когда граф Панин при встрече с ним заметил, что нельзя

уезжать из страны, не удостоившись аудиенции императрицы. Кто же мог отказаться от такой встречи, но вопрос заключался в том, как ее устроить.

Однажды Панин пригласил его в Летний сад дворца, где он, прогуливаясь по аллеям и разглядывая выставленные там скульптуры, мог как бы невзначай встретиться с Екатериной II во время ее ежедневных прогулок. Все произошло точно так, как предсказал лукавый царедворец. Панин привел императрицу к назначенному месту. Увидев Казанову, она ласково заговорила с чужестранцем. Ей хотелось услышать его мнение о скульптурах, выставленных в саду. Казанова, никогда не отличавшийся робостью перед сановитыми персонами, с присущим ему венецианским простодушием заметил, что все они просто чудовищны, и что он не понимает замысла аранжировщика, поставившего в один ряд Демокрита в образе плачущей женщины, Гераклита в образе смеющегося старца с длинной бородой, получившего почему-то имя греческой поэтессы Сапфо, и старуху со сморщенной шеей, которую, судя по надписи, звали Авиценна (!).

— Либо они выставлены здесь на потеху дуракам, либо невежд, не знающих историю.

— Я знаю только одно, — отмахнулась императрица, — кому-то удалось провести мою добрую тетку Елизавету. Стоит ли ломать голову из-за подобной чепухи? Надеюсь, однако, все остальное, что вы здесь, в России, увидели, не предстало перед вашим взором в таком вздорном свете? Вам приходилось бывать на наших куртагах?

Куртагами назывались концерты инструментальной музыки, их устраивали каждое воскресенье после обеда во дворце, вход был всегда свободный. Сама царица постоянно присутствовала на куртагах.

— Я, к несчастью, не являюсь большим любителем музыки, — слукавил Казанова.

— Меня, увы, постигло то же несчастье, — улыбаясь, в свою очередь слукавила Екатерина II.

Рассказывая о музыкальных пристрастиях императрицы, Казанова воспроизводит ее отзыв об опере Галуппи «Олимпиада» на либретто Метастазиио: «Судя по всему, опера всем понравилась. Я тоже в восторге от нее, только в конце она мне прискучилась. Музыка временами прекрасна, но я не понимаю, как можно любить ее со всей страстью, — уж, во всяком случае, не тогда, когда необходимо делать что-то важное или о чем-то думать. Я хочу пригласить в Россию Буранелло. (Итальянский композитор. — Прим. авт.) Сможет ли он написать что-нибудь интересное для меня? Я, право, в этом сомневаюсь...»

Граф Панин сообщил Казанове, что императрица дважды спрашивалась о нем, — значит, понравился ей, сделал вывод упрямый авантюрист. Теперь он каждое утро приходил в Летний сад в надежде снова увидеть могущественную владычицу громадной России. Такой случай представился, и Казанова опять поговорил с Екатериной II.

«Во время нашей беседы я заметил, что в России все еще по-прежнему продолжают придерживаться старого календаря, и это

довольно странно, так как современный монарх не может цепляться за отжившее. Почему бы Ее Величеству не ввести у себя в стране грегорианский календарь? Ведь даже Англия, на что консервативная страна, и та ввела его у себя совсем недавно... На следующей нашей встрече императрица сообщила мне, что провела реформу, и отныне все бумаги будут иметь двойную дату — как старую, так и новую...»

Как видим, Казанова может отчасти считаться и родоначальником нового календарного летосчисления на Руси.

Не добившись от императрицы особых милостей и внимания к своей персоне, Казанова понял: ему больше здесь делать нечего. Отобедав у своего дружка Локателли в «Красном кабаке» в Екатерингофе и залив печаль парой бутылок шампанского, Казанова отправился туда, где интерес к его личности по-прежнему не утихал, — в старую, добрую Европу.

«Фанданго» танцуют в Испании

На этот раз путь его лежал на Пиренейский полуостров. Из Парижа Казанова отправился в Бордо, во второй тогда по величине и великолепию город Франции, а оттуда к испанской границе. До Памплоны решил добраться верхом на муле, на второго навьючил свой багаж. Пиренеи ему показались куда более серьезным препятствием по сравнению со знакомыми Альпами. Из Памплоны он с возчиком направился прямо в Мадрид.

Оставаясь неисправимым авантюристом, Казанова, по его собственным словам, винил в этой порочной склонности свою «искреннюю жажду истинной любви». На сей раз предметом такой «истинной любви и страсти» стала португальская певица Полина, голос ее произвел такое незабываемое впечатление на Казанову, что он решил следовать за ней на ее родину. Однако строгая португальская инквизиция сразу же дала понять галантному кавалеру, что не намерена терпеть безнравственные выходы итальянца на своей территории. Угрозы возымели действие, и его страсть к прелестной певице заметно пошла на убыль...

Но и в Мадриде он не нашел своего счастья. Оно, как и прежде, постоянно выскользало из рук. Зевая от скуки, Казанова усердно посещал Итальянскую оперу и, потрянув стариной, за три дня написал оперное либретто для одного из своих соотечественников. А еще выучился по-настоящему танцевать «фанданго», зажигательный танец, который он исполнял с изяществом страстного, виртуозного танцовщика, посвящая овладению его техникой по несколько часов в день. И то правда, в нем играла доля испанской крови, унаследованная от отца.

К сожалению, Казанова имел несчастье поссориться с венецианским послом в Мадриде Мануччи, а в Барселоне неосторожно пустился на виду у всех флиртовать с известной танцовщицей Ниной — дочерью итальянского шарлатана Пеланди и фавориткой генерал-губернатора Каталонии графа Риклы. Но он не обращал внимания на опасность, аккуратно посещая Нину

у нее дома сразу же после того, как от нее уходил умиротворенный граф. Это была его первая серьезная ошибка. Местная публика просто обожала Нину, особенно за мастерски исполняемые прыжки с пируэтом (так называемую «ребальту»). При этом под дикий восторг публики она демонстрировала свои трусики. Целомудренный губернатор издал закон, запрещающий как Нине, так и прочим балеринам при исполнении пируэта демонстрировать нижнее белье. За нарушение закона предусматривался довольно крупный штраф и даже тюремное заключение. В какой же восторг пришла публика, когда, наученная остроумным Казановой, темпераментная Нина станцевала свой популярный номер... вообще без оных, оставаясь, таким образом, безупречной перед лицом закона. Это была его вторая серьезная ошибка. Охваченный ревностью и приведенный в ярость необузданностью своей любовницы, губернатор, узнав, кто на самом деле «автор» столь наглой проделки, упек Казанову в Цитадель — так называлась самая мрачная тюрьма в Барселоне. Здесь наш герой протомился сорок два дня...

Выйдя из темницы, Казанова решил отправиться на родину, чтобы отдохнуть от тревожностей и оглядеться вокруг в спокойном уединении.

В Экс ан Провансе, на юге Франции, его ожидали два непредвиденных случая. В отеле за общим столом ему сообщили, что накануне сюда пожаловали два паломника, скорее всего итальянцы, — молодая девятнадцатилетняя девушка и ее спутник, по виду старше ее лет на пять-шесть. Эта пара сразу привлекла к себе внимание горожан, так как они щедро раздавали на улицах милостыню.

Итальянская натура Казановы всполошилась: ему не терпелось узнать, кто они, его соотечественники, — верующие фанатики или заурядные мошенники? Без особых церемоний он нанес им визит. Как выяснилось, красавицу звали Лоренца Фелициани, а ее мужа — Джузеппе Бальзамо, который через десять лет станет знаменитым шарлатаном и мошенником графом Калиостро.

Так на юге Франции встретились два знаменитых авантюриста, словно сама судьба, сгорая от нетерпения, хотела столкнуть их лицом к лицу.

В Экс ан Провансе Казанову постоянно одолевали мысли о Генриетте. Ему казалось, что она находится где-то здесь, совсем рядом. При этой мысли у него сладко замирало сердце. И он с горечью вспоминал, как его первую, по-настоящему сильную любовь умыкнул граф Антонио, уроженец этих дивных полуденных мест. Он все еще любил ее, любил после стольких женщин, и был уверен, что и она его искренне любила.

Он все же нашел ее. Генриетта жила в прекрасном шато на полпути от Экс ан Прованса до Марселя. Встретила она его сдержанно, только глаза заблестели от слез. Они молча глядели друг на друга, не зная, что сказать. Генриетта уже была вдовой, но вдовой с достатком, и предложила своему бывшему любовнику и почитателю ее таланта помощь. С присущим ему достоинством Казанова отказался. В укромной беседке заброшенного

сада Генриетта сыграла ему несколько печальных мелодий на виолончели. Они тихо всплакнули и... расстались навсегда. К сожалению, Казанова не сообщает в своих «Мемуарах» о том, как завершилась музыкальная карьера его милой Генриетты.

Приют в Богемии

«Мемуары» Казановы заканчиваются 1774 годом, когда их автору было всего сорок девять лет. Будучи еще не старым человеком, он понимал: пора остановиться. Ведь бурная, скандальная жизнь не принесла ему ни стабильного дохода, ни устойчивой, надежной профессии. Да и грехи молодости давали о себе знать, отзываясь хандрой и недомоганием. Устав от света, галантных похощений, дуэлей, столкновений с друзьями и врагами, тюремных камер, оскорблений и даже покушений на его жизнь, Казанова мечтал найти благодетеля, обеспечившего бы ему покойную старость. Но не тут-то было. Казанова оказался никому не нужен. Куда бы ни сунулся, он лбом ударялся о закрытые двери, — его стали сторониться, отказывать в приеме, в общем, стряхивали, как вошь с шубы.

Странно, что же такого злодейского натворил этот, в сущности, добрый малый, почему мир так немилостив к своему прежнему баловню и любимцу, почему подчеркнуто строг с ним? Может, он изменился? Нет, он до гробовой доски остался прежним — соблазнителем, шарлатаном, авантюристом, весельчаком и остряком. Правда, уже не хватает прежней неумемной энергии, прежней уверенности в своей диктуемой молодостью непобедимости. Увы, старость выбивала козыри из рук.

«Время, когда я влюблял в себя женщин, прошло, я должен отказаться от них, — не покупать же их услуги!» — горько сокрушался Казанова, понимая, что затянущаяся на всю жизнь веселая игра подходит к концу.

Покровительствовавшие когда-то в молодости боги, укрепившие его наглость, самодовольство и самоуверенность, отвернулись от него, женщины открыто смеялись в его морщинистое лицо. Он вынужден вести полунищенскую жизнь в качестве мелкого секретаря при венецианском посланнике в Вене. Жалкий писак, осведомитель полиции, нежелательный, постоянно изгоняемый из всех европейских городов гость. Он пыгается, предпринимая последние усилия, оживляя свой прежний неотразимый шарм, жениться на знатной венской куртизанке, но и тут Судьба жестоко посмеялась над ним — брак не состоялся. Наконец, один из самых знаменитых аристократов Австро-Венгрии, владелец двух поместий в Богемии граф Жозеф фон Вальдштейн, узнав о легендарном прошлом Казановы, отыскивает этого все еще занимательного циника и милостиво увозит с собой в Дукс, где предлагает ему должность личного библиотекаря, а заодно и домашнего шута за 1000 гульденов ежегодного жалованья.

Так престарелый Казанова в 1784 году становится библиотекарем в замке Дукс — тихом провинциальном имении неподале-

ку от Праги, расположенном на почтительном расстоянии от проторенных светских дорог и суевливых мирских дел. В его ведение, кроме того, поступала обширная музыкальная библиотека графа. Фактически он стал затворником и провел в такой добровольной ссылке четырнадцать лет. Казанова писал по двенадцать—четырнадцать часов в сутки «Мемуары», письма, записки, короткие пьесы для любительской сцены. Здесь он сочинил свою знаменитую утопическую повесть «Изокамрон».

Со временем характер его портился, он становился все более раздражительным и невыносимым. В отчаянии даже совершил побег в Берлин, но там его никто не ждал. Тогда Казанова направился в Веймар, где тамошний герцог довольно приветливо принял знаменитого беглеца. Хотя и ненадолго. Казанова ревновал своего благодетеля к его немецким любимцам — Гете и Виланду, всячески понося как их самих, так и их сочинения. В результате он был вынужден униженно вернуться в Дукс — теперь уж навсегда.

Из многих документов, хранящихся в Венецианском государственном архиве, а также в частном архиве графа Вальдштейна в Дуксе и некоторых музеях Чехии и Словакии, следует, что озлобленный, обидевшийся на весь мир стареющий библиотекарь замка Дукс по-прежнему немало времени уделял и музыкальной культуре. Так, в своих письмах к графу Ламбергу Казанова обсуждал со знанием дела проблемы «механической музыки» — предмет, занимавший в то время многие умы. Речь шла о создании музыки без вдохновения, при полном отсутствии музыкальных способностей и музыкальных познаний. В другом письме он обсуждал предложенный известным виолончелистом Иоганном Триклиром метод «нерастроенности» музыкального инструмента, то есть возможность сообщения определенной постоянной напряженности струнам. В третьем письме Казанова высказывал интерес к нашедшей в то время новинке — так называемой «охотничьей музыке» русского князя Нарышкина. По его идее, капелла в составе сорока музыкантов исполняла на охотничьих рожках и трубах четырех видов различные сложные по композиции произведения итальянских мастеров с листа...

На закате жизни, лениво, как всегда, подошел в Дуксе старый игрок к письменному столу, словно к ломберному столику, и бросил на него, как последнюю ставку против Судьбы, свои «Мемуары». И, что странно, эта последняя ставка позволила ему выиграть бессмертие. Он навсегда поселился в литературном пантеоне рядом с такими великими людьми, как Вольтер, Руссо, Метастазиио, и другими.

«Только одно уж не удастся, — писал Стефан Цвейг, — снова сделать его смертным, ибо во всем мире ни один поэт, ни один мыслитель с тех пор не сочинил романа, более захватывающего, чем его жизнь, и образа, более фантастического, чем его образ».

«Дон Жуан», Моцарт и Казанова

В переписке Казановы особое место принадлежит его старин-

ному другу, земляку, самому знаменитому либреттисту XVIII столетия, из рук которого Моцарт получил итальянские тексты трех своих главных опер, в том числе и несравненного «Дон Жуана». Его имя — Лоренцо Да Понте (1749—1838). Как и Казанова, он был по складу души отчаянным авантюристом, к тому же отличным поэтом, блистал чтением своих возвышенных стихов во всех королевских дворах Европы, поражая разнообразными талантами чопорный Лондон.

Кажется, существует какая-то тайная, даже мистическая связь между Да Понте и Казановой. Говорили, что образ этого незаурядного человека, в котором Да Понте находил немало собственных черт, постоянно его преследовал. Подражая Казанове, он даже засел за свои «Мемуары».

Они познакомились еще в 1777 году в доме венецианских аристократов Меммо и Загури. Вторая их встреча состоялась через восемь лет, впоследствии они виделись довольно часто, вплоть до смерти Казановы.

В своих «Мемуарах» Да Понте замечает, что, работая над текстами, он прислушивался к советам Казановы и почти всегда разделял его концепции. «Теперь я особенно понимаю, насколько они были для меня ценными, воистину это были золотые правила!»

Имя великого Моцарта, как и его главного сценариста, тесно связано со «золотой Прагой». 10 декабря 1786 года в Праге состоялась премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», имевшая колоссальный успех. Автору послали приветствие в Вену, и он, узнав о своем громоздком успехе, отменил поездку в Лондон и 11 января с экстренной почтой прибыл в Прагу вместе с женой Констанцией. Моцарт давно готовился к этой встрече и после единственной репетиции подарил пражанам новую симфонию, получившую название «Пражская».

Прошло всего несколько месяцев, и осенью 1787 года Моцарт вновь собрался в Прагу, положив в саквояж не оконченную еще партитуру новой оперы «Дон Жуан».

Премьера оперы Моцарта «Дон Жуан» все же состоялась 29 октября 1787 года и имела громадный успех. Сам либреттист поспешил прибыть в столицу Богемии заранее, чтобы присутствовать на репетициях спектакля. Он действительно провел там несколько дней, но, по собственному признанию, «был вынужден срочно вернуться в Вену до поднятия занавеса». Итак, Моцарт накануне премьеры оказался без своего сценического соавтора. Это стечение обстоятельств привело к прямому участию Казановы в закулисной истории создания величайшей оперы Моцарта.

В своей книге «Образы в стиле рококо» немецкий поэт Алфред Майснер рассказывает, что встреча между Казановой и Моцартом произошла на вилле «Бертрамка» на окраине Праги, в районе Смихов, у известной чешской певицы Жозефины Душек и ее мужа Франтишека, пианиста-виртуоза. Там же находился Да Понте и многие его друзья. Но это была не просто «вечеринка». Здесь вызревал «заговор» с целью... заставить легкомысленного Моцарта написать наконец увертюру к «Дон Жуану». До премьеры оставались считанные дни, а ведь еще нужно увертюру

размножить, переписать и разучить! Но маэстро Амадей, судя по всему, не хотел настраиваться на работу, тем более когда вокруг полно хорошеньких женщин, а его любимым токаем заставлены столы.

Легенда гласит, что оболстительной хозяйке удалось обманом заподличить Моцарта в отдельную комнату с клавесином на втором этаже. Она ловко заперла маэстро на ключ. Великий композитор попал под домашний арест, и выпустить его оттуда мог только один пропуск — написанная на нотных линейках увертюра к опере. Вся компания, покатываясь со смеху, вскоре разбегалась, а Моцарт, услышав грохот отъезжающих карет, впал в уныние. Одно утешало: рядом со стопками нотной бумаги выстроились изысканные закуски и батарея легкого вина. Вдруг в замке зашевелился ключ, и Моцарт насторожился. Дверь отворилась, на пороге появился улыбающийся во весь рот Казанова.

— Маэстро, — сказал он, — простите нас за эту глупую выходку. Я выкрал ключ у хозяйки, и вот теперь вы можете покинуть свою темницу...

— Большое вам спасибо... — ответил Моцарт. — Но теперь я намерен остаться здесь добровольно, а завтра утром весь мир услышит мою новую увертюру...

Моцарт сдержал свое слово.

Казанова — соавтор Да Понте?

Трудно сказать, на самом ли деле состоялся такой диалог между Моцартом и Казановой. Однако Майснер, будучи еще и историком, утверждает, что его слова основаны на мемуарах деда, профессора Пражского университета и писателя Готлоба Августа Майснера, и он вполне мог участвовать в дружеской вечеринке на вилле «Бертрамка». Казанова же в это время находился в Праге по своим издательским делам. А может, он приехал туда нарочно, чтобы повидать своего друга Да Понте, а заодно позжать руку гениальному Моцарту?

Тем не менее существуют две страницы, написанные рукой Казановы и документально подтверждающие его живой интерес к опере Моцарта. Американскому артисту Полу Неттлу удалось разыскать этот документ — два листа либретто, на которых представлен в переделанном виде секстет из второго акта оперы.

Почему Казанова написал этот текст? Чем объяснить его повышенный интерес к опере? Скорее всего Казанову привлекал образ Дон Жуана, так как только его можно считать символом интенсивной жизненной драмы, драмы, достигающей религиозного накала. Ведь он не просто вульгарный соблазнитель, нет, он доходит до высот человеческого мышления, по-новому заставляет нас взглянуть на человеческие отношения и в результате становится Соблазнителем, можно сказать, с большой буквы. Его влечет к себе женщина, не ее красота, не ее страстное томление. Нет, его зовет дикая первозданность природы, страсть к авантюре, неистребимое стремление к свободе, радости завоевания, веселости обладания, опьянению жизни. «У него, как и у Дон

Жуана — по словам знаменитого французского критика и писателя Теофиля Готье, — слишком высокое представление о Женщине, чтобы не презирать женщин».

А может, он сделал это по просьбе Моцарта? Скорее всего по собственной инициативе, так как главная тема этого отрывка как нельзя лучше обрисовывает жизненное кредо самого Казановы. Недаром он вкладывает в уста Лепорелло такие слова: «Все зло только от женщин, которые чаруют душу и сердце. О, этот соблазнительный пол!» А может, текст написан Казановой, чтобы заменить оригинал при импровизации? Известно, что во время первого исполнения «Дон Жуана» в опере было немало импровизаций или, попросту говоря, отсебятины. Многие участники первого спектакля вспоминали, что при театральном директоре Гуардазони всегда случались импровизации, да и сам Моцарт немало полагался на них, особенно в сцене застолья. Может, версию Казановы и исполнили на сцене? Как знать...

Эти два ветхих листочка хранят непроницаемую тайну трюгальника Моцарт — Да Понте — Казанова.

Конец маршрута

В 1791 году умер Моцарт. В 1792-м на пути из Триеста в Париж Да Понте в последний раз посетил своего друга Казанову в Дуксе. Звезда блестящего либреттиста клонилась к закату. Он стал бродячим поэтом, сильно нуждался, скитался по европейским странам. Казанова умер в 1798 году в июне, а весть о его печальной, тихой кончине («Я жил философом, умираю христианином», — сказал он перед смертью) Да Понте получил только через три месяца. Сам он скончался в Нью-Йорке. Но место его погребения, как и Моцарта, не сохранилось. Не сохранилась и могила Казановы. И здесь какая-то странная, таинственная, даже трагическая схожесть судеб: Моцарт — Да Понте — Казанова.

Казанова и музыка... Хотя главная, всепоглощающая его страсть — интеллектуальное бродяжничество, любовь к скандальным приключениям и галантным похождениям, все же музыка, музыкальный мир были постоянно рядом с ним с самого детства, как рядом на протяжении всей жизни были театр и неотделимый от него балет.

В архиве библиотеки бывшего графского замка в Дуксе сохранились записки, в которых Казанова излагает свои мысли о музыке, мысли яркие, выпуклые, как, впрочем, и все, что связано с этой удивительной личностью. Записки не вошли в его «Мемуары». Но при всей их субъективности и отнюдь не бесспорности они достойны того, чтобы стать эпилогом к нашему путешествию во времени и пространстве.

«В мире нет ни единого человека, который не способен познать музыку, нет ни единого человека, который музыку не любит. Лучшая музыка та, которая нравится подавляющему большинству. И ни у кого нельзя отнимать право судить о ней. У музыки нет иной цели, кроме услаждения нашего слуха».



Фотографии
АНАТОЛИЯ
БОЧИНИНА

МАРАФОНЕЦ

— С чем бы я сравнил спортивную фотожурналистику? — Бочинин задумался на минуту. — Скорее всего это бег на длинную дистанцию.

— Стайерскую, 5—10 километров?

— Ну, да... А для кого-то это марафон, где и спуски, и подъемы, и надо сделать рывок через «не могу». А главное, чтобы дыхания хватило...

Анатолий Бочинин в нашей фотожурналистике один из немногих «марафонцев». В общем-то нет смысла представлять его — работы мастера известны и в России, и в теперешнем СНГ плюс к этому минимум в двадцати странах мира.

Призы, выставки, альбомы, тысячи публикаций... Вся биография Анатолия Бочинина связана с издательством «Пресса», с журналом «Огонек».

Начинал работать печатником. В сорок втором. Первый опубликованный снимок — в «Огоньке», в 17 лет.

— «Огонек» — мой университет. Я учился у Бальтерманца, Халипа, Фриндланда... Это фотоасы.

— Самая памятная съемка?

— Конечно, Олимпийские игры в Москве летом восьмидесятого... Я тогда, помнится, спал по 2—3 часа в сутки. Но — никакой усталости! Старался всюду уснуть. И, как ни странно, успевал. Для спортивного фотожурналиста что главное? Здоровье! Я на финише должен быть раньше чемпиона!

Он обогнал многих. Но не за счет «локтей» и «подножек». Его доброжелательность, дружелюбие известны. А сам он ничуть не похож на «умудренного мэтра». Его и сейчас большинство коллег зовет Толя. И это не панибратство. Это естественно, потому что Бочинин — вне возраста.

Он снимал Сталина, Хрущева, Брежнева... Его друзьями были Всеволод Бобров, Лев Яшин, Николай Королев... Да, пожалуй, нет ни одного из ведущих мастеров отечественного спорта, кого бы лично не знал Бочинин. Они для него — Лева, Коля, Валера, Лара... Навсегда — молодые, полные жизни Победители...

— Бог ты мой, если «удариться в воспоминания», некогда будет работать.

...Что касается дыхания, тут все в порядке. Он, как и прежде, — первый на финише.

В. ГУРИНОВИЧ



Мяч взят!





Перепрыгнул!

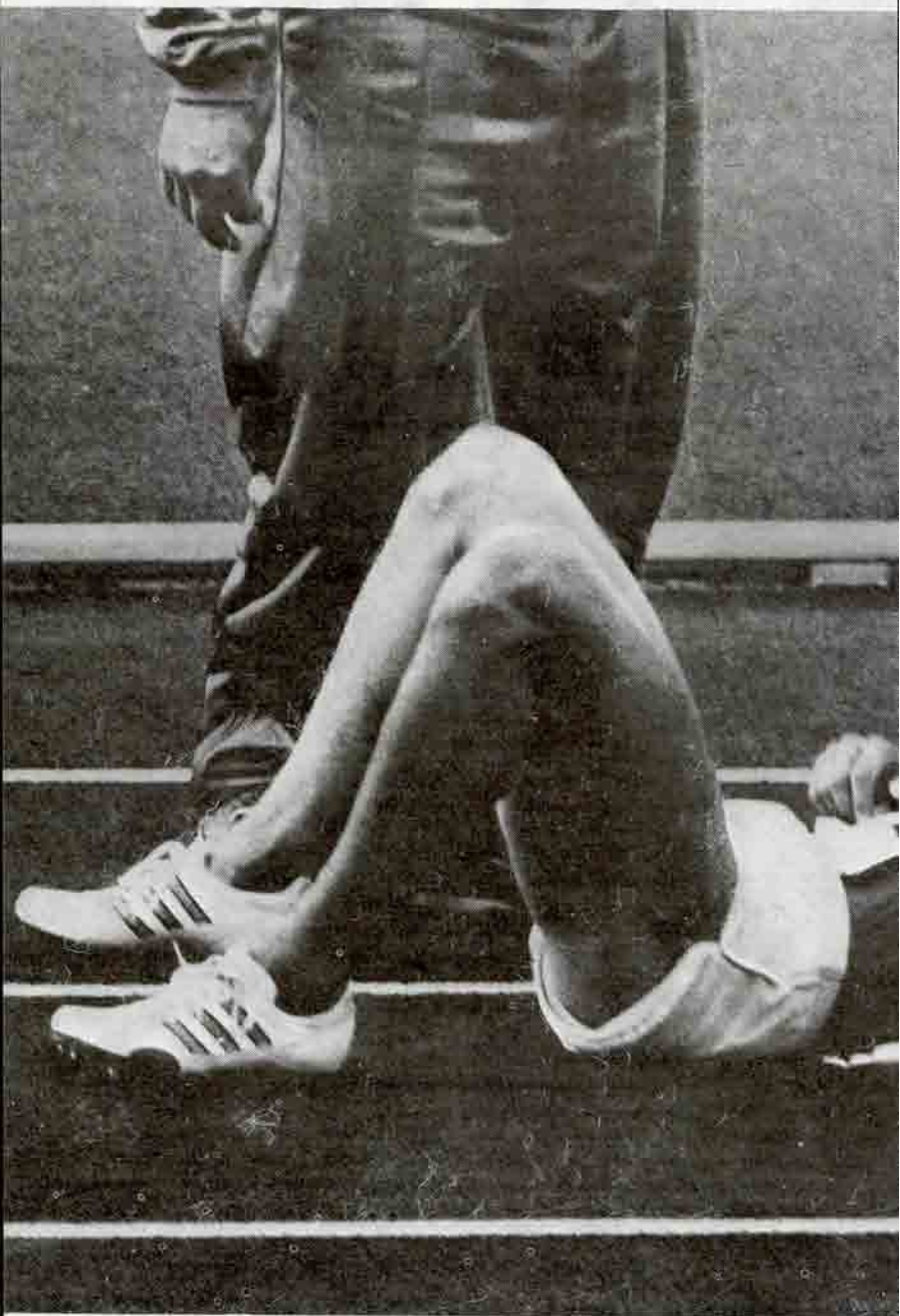


В полете — Игорь Тер-Ованесян.

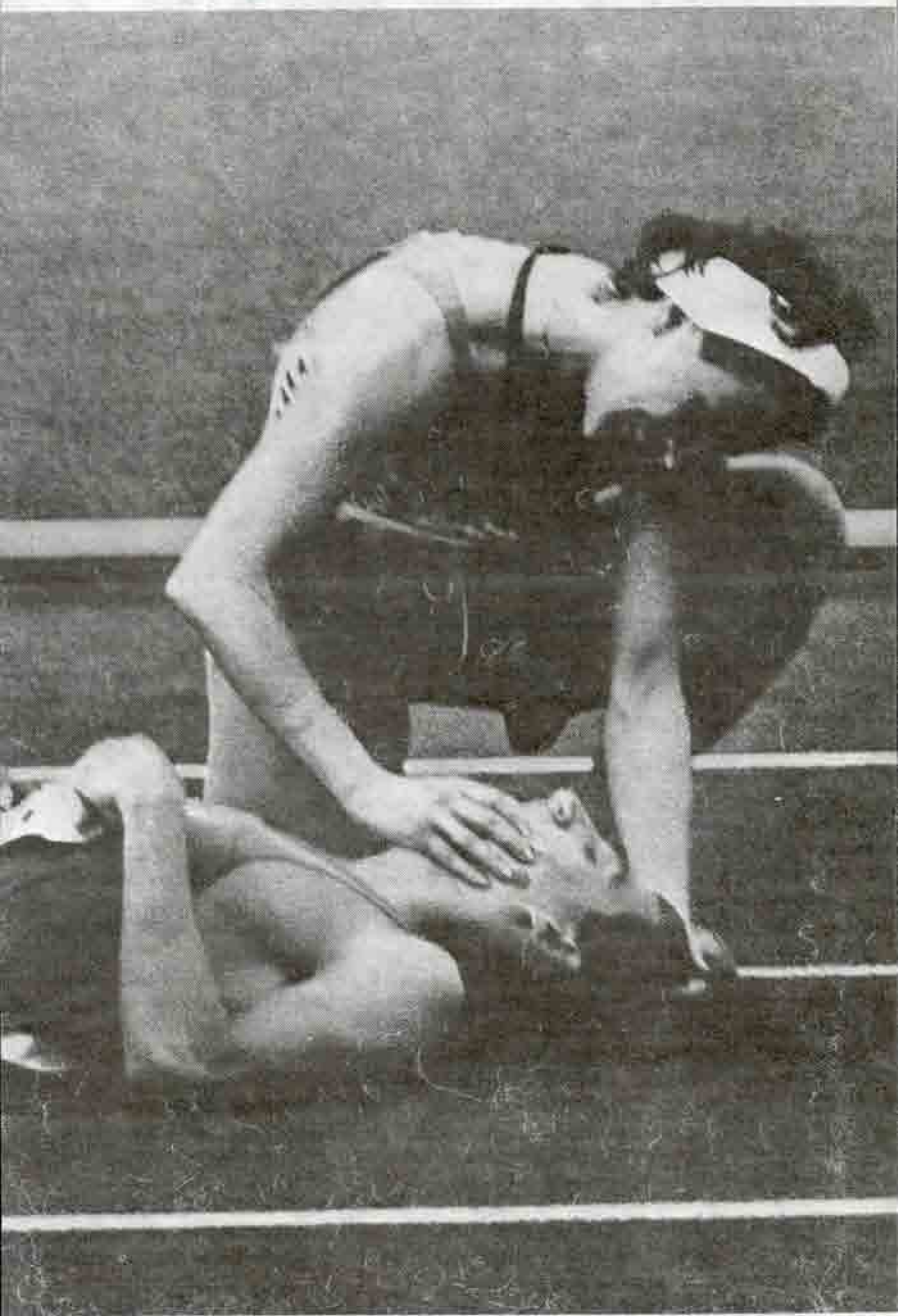


Кузница и «кадры».





Трудный финиш.



Борцы.
Заслуженные мастера спорта
братья Белоглазовы.



Буду чемпионом!



ОМАНДИ

ГЛАВА I

Часы в гостиной отчетливо сказали свою клавесинную песенку, пробили восемь раз — бронзовые часы французской работы; под их циферблатом юный Бонапарт протягивал руку с императорской короной, а ступенькой ниже юная Жозефина, чуть преклонив колено и вынеся перед грудью едва скрещенные руки, как раз под эту корону склонила свою прелестную головку.

Никто из гостей не мог пройти мимо этого сверкающего бронзового чуда. Правда, с тех пор, как Борис Петрович, знающий все, сообщил, что Бонапарт в то время был далеко не мальчик, а самой Жозефине тут и вовсе за сорок, часы приобрели некую двусмысленность, но очарования не потеряли.

Восемь часов — по средам в это время у них собираются гости.

На улице разом потемнело, занавески принялись вздуваться, отлетать от окна, уже погромыхивало, собирался дождь. Инга всегда любила дождь, а сегодня была ему особенно рада. Вообще сегодня она была в каком-то странном настроении.

У Сушилиных, как говорили в старину, был открытый дом, и даже сейчас, летом, когда их бесчисленные друзья и знакомые разъехались кто в отпуск, кто на гастроли, а иные счастливы — за рубеж, все равно в среду кто-нибудь да приходил.

Первый звонок в передней — это Ляля, адвокат, а по виду скорее манекенщица, так элегантна и тонка. Конечно, пришел Борис Петрович, он сел с нею рядом. Седая бородка и стертые джинсы, в которые он вбит, как ковбой. Прибежала Нелли, добрая душа, мелькнула, кивнула и сразу же к маме на кухню. В мамину кухонное царство не допущен никто, одной лишь Нелли сделано исключение. Явился Никита, долговязый умный физик — как ни в чем не бывало (это после вчерашнего!). И Киру свою привел.

— Здравствуйте, — сказал, заваливаясь в глубокое кресло. В том же кресле, поджав ножки, умастилась и Кира.

— Ну, как жизнь? — спросил он у Ляли.

— Хреново, — ответила та. Никто не удивился, все знали, Ляля и матом не брезговала (не у Сушилиных, конечно).

Очень эффектно: недвижимое лицо, в ушах серьги, которых Инга у нее еще не видела — две ажурные эйфелевы башни, серебряные, отличной работы.

А потом пришла Катя — вот кого Инга с радостью взяла бы в друзья. Да легко сказать! Катя была строга, держалась замкнуто, к себе не подпускала. Жила одиноко, в гости никого не звала и вряд ли к кому, кроме Сушилиных, приходила.

По заведенному обычаю Инга должна занимать гостей, но в сегодняшнем странном ее состоянии ее почему-то притягивало окно, возле окна она и села, поближе к дождю, который уже шумел.

Так под его шум, им словно бы даже слегка отгороженная, слушала она разговор — конечно, о последнем отцовском концерте, о чем же еще.

— Как он играл Чайковского... — тихо закрывая глаза, сказала Ляля. — Я не знаю ничего выше Чайковского... Когда я слышу «марш безумия» из «Пиковой дамы»...

— Украл его Петр Ильич, — ласково сказал Борис Петрович. — Возьмите фортепьянные пьесы Шумана, и вы найдете там ваш «марш безумия», так сказать, с поличным.

— Вы... лжете, — сказала Ляля, чуть-чуть побледнев.

Катя курила и, как видно, спора не слушала.

Кирилл Викторович вошел, поздоровался общим поклоном и присел на ручку кресла. Все ждали, что скажет хозяин дома, но он молчал — молчал просто и спокойно, не чувствуя от этого никакой неловкости. Привык, слава Богу, ко всеобщему вниманию.

Инга от своего окна попробовала и на отца взглянуть (по возможности) сторонним взглядом. Даже и на сторонний взгляд хорош собой и молод. Непереносимо хорош, когда улыбается своей прославленной улыбкой. Ну а если взглянуть на него глазами не любви, а ненависти? Глазами Генриха, например? Она и сама удивилась такому повороту мысли — Генрих, любимейший и все-таки действительно талантливейший из учеников...

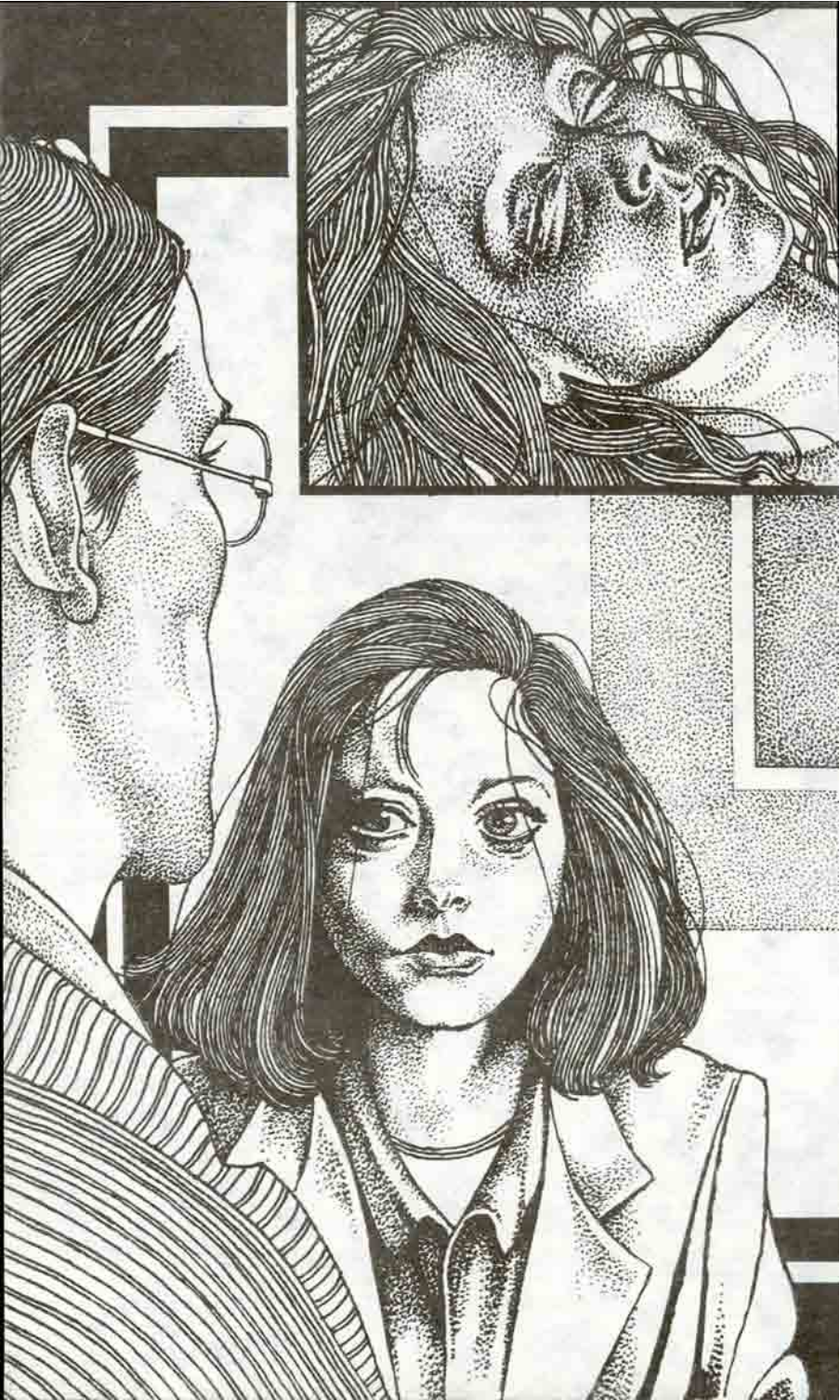
— Друзья! — воскликнула Ляля. — Сегодня к нам придет гость, если хотите, не совсем обыкновенный.

На правах своей она считала возможным позвать гостя, не спросив у хозяев. Большое, в сущности, нахальство.

Звонок, раздавшийся в передней, заставил всех замолчать.

— Это он! — вскричала Ляля и сама побежала открывать.

Она ввела гостя с явным торжеством.





— Прошу любить и жаловать,— сказала она.— За руку веду к вам Клима, интеллектуального грузчика.

Все с любопытством уставились на интеллектуального грузчика. Это был высокий элегантный парень. Во всей его фигуре, костистой и сильной, было что-то конское. Что-то от красавца коня. Голова казалась небольшой, наверно, потому, что он стригся наголо, и темная поросль плотно ее облежала. А глаза светлореховые в черных ресницах.

— Вы в самом деле грузчик? — спросил Борис Петрович.

— И в самом деле интеллектуальный? — вставил Никита.

— Ни того, ни другого,— ответил новоприбывший.

— Ну, слесарь,— сказала Ляля, умащиваясь в кресле как бы с неким предвкушением и не спуская глаз с новоприбывшего.— Слесарь, который пишет стихи. И никому их не показывает.

Он усмехнулся.

— Это уж немного ближе.

Катино кресло стояло чуть поодаль. Он подошел к ней и спросил:

— Мы с вами где-то встречались, вам не кажется?

«Вот она ему сейчас врежет»,— злорадно подумала Инга, но Катя только задумчиво покачала головой.

— Я не помню.

Он взглянул на нее внимательно и мягко, а потом отошел к окну, где сидела Инга.

— Хозяйка дома? — спросил, она в ответ улыбнулась.— Хорошо устроились.— Дождь уже гудел всюю.

— Не поможете ли вы мне по хозяйству? — спросила Инга нового гостя.

— О, с удовольствием,— откликнулся он так живо, словно только того и ждал.

В кухне никого не было видно, Нелли причесывается в ванной, а мать пошла переодеться. Гость огляделся.

— Кран у вас течет,— сказал он.— Слесарь ваш халтурщик.

Инга доставала из буфета посуду.

Он с готовностью подставил огромные руки, сложенные ладонями, как чаша. Когда она в эту глубокую чашу укладывала посуду, он взглянул ей в глаза. Ах, Ляля, Ляля, берегись! Сейчас начнется знатная карусель! Его глаза, ореховые в черных ресницах, внятно и сумрачно с ней разговаривали.

— Итак, вы в самом деле слесарь,— сказала она поспешно, чтобы их второй — немой — разговор не затягивался дольше, чем следует.— И в самом деле пишете стихи?

— Сказать вам по правде, я и сам не знаю, чего я такое пишу. Что я слесарь, я знаю твердо, потому что зарабатываю на этом кучу денег, а вот стихи...

— Вы мне почитаете?

Он скривился с сомнением.

Инга была уж и не рада, когда за столом он сел рядом с ней, не рада, потому что Ляля стала вдруг очень нервна и чрезвычайно разговорчива. По своему обыкновению завела речь о потустороннем, потому что была настроена мистически, верила и в сон, и в сглаз, и в гороскопы, и в черную магию, по поводу чего

Никита не уставал веселиться. «Можно, конечно, закрывать глаза на вещи очевидные,— говорила Ляля, снисходительно пожимая плечами,— от этого они не перестанут существовать». Но сейчас она была раздражена.

— Это в нашем поселке было! — гневно говорила она. — В нашем дачном поселке, на днях! Я вам говорю: тетя Поля не разрешила старухе соседке брать воду из своего колодца, а та ей сказала: «Ты пожалеешь». Любого, кто тут живет, спросите, любого!

— Так что же случилось? — спросила вдруг Катя.

— Еще раз вам говорю: тети Полин сын, он за три дня сгорел, неделю назад схоронили. И доктора не могут объяснить, что это была за болезнь.

— Все это интересно,— вставил Никита,— но я бы хотел своими глазами заглянуть в историю болезни.

— Интересно? — переспросила Ляля. — Так вот, там была вилка, большая, черная, как сажа... — И, в ответ на всеобщее удивление, прибавила устало: — Вы бы хоть почитали иногда что-нибудь об этом, ведь съезды собираются, конгрессы, тома написаны о ведовстве. Тогда вы, может быть, узнали бы, что означает черная вилка, всаженная в землю у вашего крыльца.

— А у крыльца тети Поли...

— Да, у ее крыльца была всажена в землю черная вилка — обычно их перед тем, как воткнуть, держат в огне, в печи или костре.

Даже Никита не нашелся, что сказать. Все молчали.

— Такие страсти да против ночи,— улыбаясь, заметила хозяйка дома,— как говорила в подобных случаях моя нянька.

Когда гости расходились, Клим опять очутился возле Инги. Пока он натягивал плащ на свои конские плечи (а какие, кстати говоря, плечи у коня?), он не спускал с нее глаз. «А где же Ляля?» — подумала Инга. Ляля разговаривала с Клавдией Васильевной и была очень бледна.

— Я все-таки, наверное, почитаю вам свои стихи,— тихо сказал Клим, наклоняясь к Инге,— если вы не воспротивитесь.

Да, хотела она того или не хотела, начиналась знатная карусель!

Катя — она уже стояла в плаще, сильно перетянутая поясом — спросила вдруг у Сущилина, правда ли, что после своего сольного концерта он надолго уедет за границу.

Он стоял, прислонившись плечом к стене.

— Да,— ответил,— Нью-Йорк, Лондон, Рим.

Катя кивнула, как бы что-то прикидывая в уме.

Наконец-то Инга осталась одна и могла вспоминать. Так, что же вчера случилось такого примечательного? Да ничего. Они с Никитой в его машине поехали к кому-то на дачу, компания оказалась неинтересная, все очень скоро перепились; Никита стал ухлестывать за какой-то потрясной блондинкой, затянутой в сверкающую кожу и бряцающую цепями. Инга вскочила, закинула на плечо сумку и ушла.

Она шла лесом, сбилась с дороги, проклиная Никиту, забрела в непролазные заросли и выбралась на шоссе ночью, когда ни о каком автобусе уже и речи быть не могло. Кругом стоял черный лес. Одинокий фонарь светил самому себе.

Стало холодно, дул ветер. Нужно было голосовать, но она побаивалась случайных машин и потому, когда показались огни автомобильных фар, не подняла руки. «Москвич» пронесся мимо нее на необычной, ночной скорости, ослепив и оставив в крошечной тьме. Но все же до Москвы было километров восемьдесят, пешком не дойдешь.

Опять показались огни фар, постояли вдали, а потом налетели неожиданно быстро. Инга подняла руку.

«Волга», шипя, пролетела мимо, Инга почувствовала себя еще более покинутой и одинокой, но тут, медленно свернув на обочину, остановился самосвал с прицепом, за «Волгой» она его не заметила. Машина дрожала, дышала теплом и казалась надежной, словно сюда, в лес, приехала огромная русская печь. В ребрах капота что-то светилось.

— Садитесь, девушка, — сказал невидимый ей шофер.

В кабине пахло бензином, кожей, гарью, было тепло и уютно. Самосвал бренчал, дребезжал и трясся.

Проскочили мостик, внизу блеснула черная вода. По долинке вилась речушка, ее узкой дорогой брел туман. «Ох, и сыро там, среди трав», — думала Инга, блаженно и знобко согреваясь. Почему-то очень занимал ее шофер. Лица его она не видела, свет приборов освещал только руки. На развилке их остановил милиционер: «Подвезешь?» Шофер кивнул. «А это кто у тебя?» — спросил милиционер, усаживаясь.

— А это мой завхоз, — ответил шофер, глядя на дорогу. Милиционер давно сошел, а она все улыбалась: «Завхоз».

Она согрелась, ей хотелось вечно ехать и никуда не приезжать. Огни Москвы показались слишком быстро.

— Куда вас везти? — спросил он вдруг.

Доехать до дому было весьма заманчиво. Одно ее смущало: чем дальше они едут, тем больше нужно будет ему заплатить. А чем? И все же она сказала адрес.

Когда самосвал сворачивал к ее дому, она увидела, что машина огромно велика и неуклюжа, что она не помещается в переулке и грозит снести своим прицепом автоматную будку. Шофер, оглядываясь, быстро крутил баранку. Кое-как объехали и стали.

Шофер выскочил первым. Высок, отметила Инга. Вышла и она. Дома кругом стояли немые, ни одного светящегося окна.

— Которое ваше?

— На четвертом. Третье слева.

Он помолчал.

— Муж, небось, ждет не дождется. Куда, думает, жена девалась.

— У меня мужа нет.

Ей и сейчас смешно было вспомнить, как поспешила она это доложить.

Он стоял в старой кожаной куртке и, задрвав голову, смотрел на ее окно.

— А может, мне подняться? — спросил вдруг.

То есть как это «подняться»? За кого, интересно, он ее принимает?!

— Сколько я вам должна? — спросила Инга холодно.

— А сколько у вас есть? — спросил он.

Она вынула из сумки все, что у нее было — три тысячи с какими-то рублями.

— Многовато будет, — сказал он. — Спокойной ночи.

И ушел к машине, ничего не взяв.

Инга поднялась к себе, села на кровать, стала слушать. Мотор дико взревел в ночной тишине. На стенке вдруг вспыхнул яркий переплет окна и поплыл к двери, а потом веером развернулся на потолке. Инга не глядела в окно, она все и так отлично видела. Вот уже прицеп благополучно миновал палисадничек — сейчас он, наверно, быстро крутит руль и оглядывается — у него это очень красиво получается, когда он быстро оглядывается назад! — вот проехал выступающую автоматную будку и, судя по всему, не зацепил. А сейчас уже машина на улице. А теперь и вовсе далеко. Совсем ничего больше не слышно.

Она ходила по комнате и улыбалась неизвестно чему. «Это мой завхоз», — сказал он. А потом: «Может, мне подняться?» Никакой обиды, честно говоря, она не чувствовала, а было только смешно.

Вот как все это случилось — небольшое дорожное происшествие, которое и происшествием-то не назовешь. Доехала домой на самосвале, больше ничего. Но утром она почему-то проснулась в отличном настроении — может, просто потому, что был солнечный день, и на стене ее комнаты, как раз на той стене, где вчера пробежали огни его фар, сейчас вспыхивали желтым и гасли узорчатые тени занавесок — на солнце набегали облака.

А в четверг был день концерта. Телефон не умолкал. Разнообразно-униженными голосами он молил о билетах. В консерватории знали, что после концерта Сушилини надолго уезжает за границу, проводили о том и поклонники. Их у Кирилла Викторовича было великое множество, в основном поклонницы, они объединялись в могучую корпорацию, бесновались на концертах, кидали на эстраду букеты, теснились в подъезде.

Они были ужасом Кирилла Викторовича, особенно одна, которую звали Серафимой Николаевной и которая в доме Сушилиных была известна как «штатная Серафима». Она не пропускала ни одного концерта, и однажды, говорят, продала пальто, чтобы купить билеты на самолет в Тбилиси и обратно.

— Она снится мне по ночам, — жаловался Кирилл Викторович, — она сидит у меня на рояле, свесив ноги на клавиши.

После концерта Инга служебным ходом прошла в артистическую и на лестнице встретила Катю. Ее поразило Катино лицо. «Господи, это же было так прекрасно, — подумала она, — зачем же так уж мучиться».

Отец стоял в артистической, по своей привычке прислонясь плечом к стене, лицо его еще горело возбуждением. Вокруг толпились поздравляющие.

А Катя Сушилину ничего не сказала, даже не подошла. Она

стояла поодаль у дверей и смотрела на него во все свои огромные, похожие на озера глаза.

Они убрали гору посуды — Клавдия Васильевна любила, чтобы на столе было много красивой посуды, в этот раз она подала немецкий голубой сервиз с бесчисленными тарелками, соусницами и салатницами. Писатель Коробов, их знакомый, на редкость выездной, рассказал им, будто английская королева в начале званого обеда опрокидывает соусник — чтобы гости чувствовали себя непринужденно. Клавдия Васильевна даже подумывала, не повторить ли ей этот фокус у себя за столом, но не решилась.

Как хорошо было им с Нелли в их кухонном мире.

— Мыть-то такую посуду и то от счастья можно с ума сойти, — говорила Нелли, перетирая до блеска голубые в летучих чайных розах тарелки. — Это ж надо, какая красота!

Она приехала в Москву откуда-то из глубокой провинции, кажется, из-под Костромы, года два назад через знакомых случайно попала в сушилинский дом и тут прижилась, как сильный цветок в хорошем грунте. Великая аккуратистка, из тех, кто, садясь, обеими руками проведет под собой, чтобы не помялась юбка, а потом еще раз приподнимется, еще раз под собой проведет и только потом уже сядет; веселая, славная да и смышленная к тому же, она легко вошла в заветный мир Клавдии Васильевны. Одна только Ляля ее не жаловала. «Из провинции? Смышленная? — говорила она. — Сядет на шею». Но Нелли, напротив, явилась в сушилинском доме вдохновенной работницей. Она могла часами тут убираться точно с тем же наслаждением, с каким убиралась в своем дому сама Клавдия Васильевна. В польском фартучке хозяйки дома и в ее же вьетнамской косынке появлялась она в гостиной, таща за собой пылесос, лицо ее сияло, круглое, какое-то пшеничное (и светлые веснушки на него чуть-чуть просеяны). А вечером всегда уходила в какое-то там общежитие: ночевать, сколько ни предлагали, никогда не оставалась. После того, как Нелли убралась, Клавдия Васильевна обязательно заходила в гостиную — не для контроля, упаси Бог, нет, просто полюбоваться. Она любила свою гостиную. Мебели тут почти нет, в углу рояль (другой, подаренный Кириллу фирмой «Стенвей», у него в кабинете); в центре вокруг овального столика несколько кресел — о, эти кресла! Кирилл был, в сущности, совсем еще мальчишка, когда взял первую премию на конкурсе Шопена, они уже были женаты, уже Инге было три годика (имя Инга — это ее выбор), и тогда они с Кириллом купили эти сногсшибательные кресла, обтянутые какой-то невиданной белой кожей, тисненной яркими цветами; с ума сходят ее знакомые по этим креслам. Хрустальная люстра свисала с потолка, нацеленная прямо в середину овального столика.

— Все у вас хорошо, — грустно сказала Нелли однажды, вместе с хозяйкой осматривая комнату. — Вот только телевизора у вас нет.

— Нет и никогда не будет, — сказала Клавдия Васильевна с отвращением, словно телевизор был какой-то ползучей гадюгой.

В углу стояла ампирная подставка с бронзовыми часами. Возле рояля — высокая напольная ваза. Клавдия Васильевна всегда покупает для нее длинные крепкие розы. И все это — рояль, кресла, ваза вместе с розами — отражено в натертом паркете, как в воде!

Однажды, когда Клавдия Васильевна так вот зашла полюбоваться, она увидела, что Нелли возится возле красавца Бонапарта.

— Что ты там делаешь? — спросила она.

— Я? — отозвалась Нелли. — Я ушки ему протираю.

Так у них и пошло, чуть что: «Я? Я ушки ему протираю».

Стены гостиной и вовсе пусты, висит здесь картина, одна-единственная на всю комнату, восемнадцатый век, отличная копия знаменитого рокоотовского портрета Орловой. Молодая красавица в пудреном парике (один длинный локон кругло лежит на плече), кавалерственная дама с орденской лентой через плечо и чуть ли не с военной выправкой. А лицо нежное, глаза длинные, смотрят загадочно. Кирилл все про нее знает, прочел где-то (он всегда найдет, где прочесть), умерла она молодой, может быть, потому и смотрит так загадочно — впрочем, все рокоотовские женщины так смотрят, и все они умерли.

Нелли ушла. Клавдия Васильевна сидела, отдыхала. С удовольствием вспоминала, что у нее в холодильнике кастрюля, полная борща, хотелось достать его и еще раз в него заглянуть. Ее знаменитый борщ, к воскресенью он настоится — по воскресеньям в кухне они собираются втроем. Она ставит на стол фарфоровую супницу с пылающим борщом. И у нее у самой, она чувствует, щеки пылают. Кирилл понимает важность момента. «Чудо, — сказал он однажды, — от женщины, которая варит такой борщ, никогда не уйдет ни один нормальный мужик». «Путь к сердцу мужчины...» — начала Инга. «Дуреха ты, — сказал он тогда своей дочке, — через душу...» Дорогой, он все решительно понимает.

«Чудо» — а что, это вам не чудо? — взять свеклу, небритую, хвостатую и... «Во-первых, — объясняла она неизвестно кому, — свекла должна быть очень темной, тогда, натертая, она даст такой цвет, то есть такой, какой не удавался ни одному мастеру Возрождения. Только нужно тут же — тотчас же! — прихватить его лимонной кислотой, чтобы не потерять этот волшебный цвет.

Лишь только это огненно-красное море взволнуется на огне, в него нужно, опять же не медля ни минуты, класть капусту и картошку (как же красиво это белое тонет в красном), а под конец — нарезанную зелень и — тотчас! — прижав крышкой, выключить газ. Пусть настаивается, наливается ароматом, как лесная глушь запахами грибов, цветов и травы. А потом, когда все это огненное великолепие — а сюда еще прибавят огню помидоры! — разлито по тарелкам, его надо припечатать тяжелой сметанной лужей — а сверху положить еще порцию собственной души. И когда они оба, уже чуть-чуть осоловелые, скажут, что после такого борща есть что-нибудь другое — чистое кощунство, вот тогда — остановись мгновение! Тогда она счастливый человек.

Да, она кончила Консерваторию, и вполне прилично, да, много радости принесла ей музыка, но вся музыка мира не заменит ей этих воскресных кухонных минут. Всего минуты, но они были — и будут. Несмотря на все тревоги. В тот вечер, когда Инга вечером не пришла домой, и она, вечно дрожащая мать, сходила с ума, и душа ее содрогалась от страшных видений, от которых спасения не было, — что она тогда пережила! Но Инге, когда та вернулась, не сказала ни слова. Да и что могла она сказать, только одно: «Боже мой, какое счастье, я снова тебя нашла». Но когда поутру Инга стала рассказывать, как доехала до дому на самосвале, уж очень ярко блестели у нее глаза — и Клавдия Васильевна насторожилась, хотя и сама не смогла бы объяснить почему.

Прошло недели две. Инга ездила в институт троллейбусом, сейчас, днем, он шел полупустой.

— Граждане, — раздался голос из динамика, — приобретайте абонементные книжечки.

Инге книжечка была не нужна. Она рылась в сумке, отыскивая талоны.

Голос раздался опять.

— Граждане, а граждане, — сказал он с оттенком горечи, — покупайте книжечки, а?

В троллейбусе заулыбались. Водитель валял дурака.

Инга тоже улыбнулась и посмотрела туда, где в шоферской кабине был виден затылок водителя. Водитель держал у губ микрофон.

186 Что-то, что-то... Она села и стала наблюдать. Он поднял руку и пошарил на полочке у себя над головой. Рука была похожа.

Когда троллейбус остановился возле института, она не вышла, а пересела поближе к кабине и в зеркальце увидела глаза и брови водителя (в чисто вымытом зеркале все всегда выглядит ярким и словно бы промытым). Глаза смотрели прямо на нее.

Троллейбус круто завернул, она видела, что водитель быстро крутит баранку — и опять движение его показалось ей знакомым, — всех повалило набок, сверкнули окна, отражая друг друга. Теперь они гнали по проспекту. Инге было смешно на себя — куда она едет и зачем? И как мог тут очутиться водитель того лесного самосвала?

Куда она заехала? По-видимому, это круг, конечная. В троллейбусе давно уже никого нет. Водитель с чем-то возится в кабине, а потом выходит не на улицу, а вовнутрь троллейбуса.

— Я мигом, — говорит.

Она сидела растерянная и счастливая. Он тоже запомнил!

Его довольно долго не было, и Инга вдруг почувствовала всю неловкость своего положения — сидит и покорно ждет незнакомого парня, а он, между прочим, что-то не торопится. И вдруг он вскочил в троллейбус.

— Вы не против вечером встретиться? — спросил он.

ГЛАВА II

Старший следователь прокуратуры Дронов был всегда таков:

взведенная пружина. Да иначе и нельзя. Следовательская работа, да будет известно всем непосвященным, пожирает человека с потрохами. Тут уж не спрашивай, сколько часов в сутки ты должен вкалывать согласно Конституции и когда тебе положен законный отпуск. Работа на износ. Богом и людьми проклятая, начальством забытая — и все-таки любимая работа.

Два месяца тебе положено, чтобы раскрыть дело, два месяца, и как хочешь, а жизнь, между прочим, подкидывает порой такие загадки...

Если бы дело заключалось только в том, чтобы найти след, установить, к примеру, идентичность отпечатков (рук, ног), однородность грушпы крови или еще что-нибудь, что люди малосведущие считают главным в работе следователя. Столь рекламируемая нынче криминалистическая техника — совсем не она решает дело. Следователь должен — обязан! — постигать характеры людей, их душевный склад, их привычки, склонности, самую суть их отношений. А вот на эту работу — головоломную, тонкую, трудоемкую, не терпящую спешки — времени-то ему как раз и не дано.

Нет времени. Особенно если учесть, что приходится писать, писать и писать. И протоколы писать, и запросы писать, и постановления, и все самому, и направления писать, и заключения. Вот если бы у него был помощник с машинкой, все было бы полегче, а так недолго и язву желудка заработать (кстати, классическая болезнь зеков и следователей), хорошо, он от природы здоров как бугай...

В одном ему, несомненно, повезло — относятся к нему неплохо, с некоторым уважением даже, а в их деле это имеет важность первостепенную. Если, например, к тебе серьезно относятся эксперты, заключение их будет толковым, пришлют его быстро, не придется ждать или повторять вопросы. И милиция присылает толковых ребят-дознателей.

Дронов ходил по кабинету — он любил ходить, сидение за столом и особенно бесконечные писания утомляли его, — ходил от шкафа с папками, в которых были текущие дела, до сейфа. И поглядывал на парня, которого ему только что прислали из милиции. Прохоров Всеволод, неплохая характеристика, говорят — толков. Да, на вид — ничего, крепкий мужичок. Дронов собирался подключить его к одному делу, но оно уже распуталось, дознавателю там уже делать нечего. Правда, вчера пришло к ним новое дело, но он, Дронов, честно говоря, постарался спихнуть его на С. К. (так у них в прокуратуре называли Сергея Константиновича Шимановского): женщина покончила с собой, оставила записку, мол, в смерти моей и так далее. Такое дело — одна писанина, и больше ничего в нем нет.

И тут как раз С. К., легок на помине, вошел к нему в кабинет.

— С-с-спасибочки, — сказал он с порога (он заикался).

Михаил Алексеевич улыбнулся не без смущения — речь шла, конечно, об этом самом самоубийстве.

— А впрочем, небезз-з-злюбопытно, — добавил С. К.

Севка Прохоров жадно рассматривал обоих; он много о них слышал, и о том, и о другом, оба считались особо способными следователями прокуратуры, у обоих были громкие, попавшие в печать дела. А внешне — полная противоположность друг другу. Дронов — широкий, крепкий, налитой, возле него, кажется, все время искрит. А этот — тщедушен, тело под пиджаком кажется таким же легким, как у птицы под перьями. И в узком, обтянутом кожей лице тоже есть что-то от благородной птицы. И глаза особенные, может быть, даже и невеселые.

С. К. шагнул в комнату, и Севка увидел, что он хромает. Да, ребята говорили, что у него протез.

— Я думал, что д-д-дневники писали только в девятнадцатом веке, — сказал С. К., — а вот, оказывается, и в наше время...

— А что, самоубийца оставила дневник? — с интересом спросил Дронов.

— Муж сегодня принес.

— Интересный?

— Д-дневник? Ничего интереснее я давно не читал.

Когда он заикался, у него старательно поднимались брови, помогая выговаривать.

— Знакомьтесь, — сказал Дронов. — Это Прохоров из милиции. Будет нам помогать.

С. К. посмотрел на Севку, кивнул головой и выхромал из комнаты.

— Ну, теперь станет неделю читать для одного собственного удовольствия, — сказал, ухмыляясь, Дронов, и по лицу было видно, что он С. К. любит.

Когда на следующий день вечером (они работали допоздна) Сева по поручению Дронова зашел к С. К. с какими-то бумагами, он застал следователя за чтением блокнота.

— Х-х-художественное произведение, — сказал С. К., подняв на Севку глаза и пальцем постучав по блокноту.

— Дневник?

С. К. кивнул.

— А мне можно посмотреть? — спросил Севка, осмелев.

— Отчего же.

И Севка, присев у края стола, начал читать.

18 марта.

«Сегодня весь день была занята делом — очищала в русских романах слова от музыки — как лук от шелухи. Знали бы вы, сколько прекрасных стихов на свете погублено музыкой. Ведь музыка Глинки к пушкинскому «Я помню чудное мгновенье» — это дивная музыка, но она погребла в себе дивные стихи. Попробуйте произнесите их отдельно, и вы увидите, что никогда их не знали, что у них совсем иной ритм, иное дыхание. Под музыкой они задохнулись. Вы не согласны?»

Севка взглянул на С. К.

— А здорово это у нее подмечено, — сказал он.

— Я же говорю, — откликнулся С. К., он читал уже третий блокнот.

Севка с сожалением покачал головой.

- А интересно, должно быть, с ней было бы поговорить.
- Да-а-а, с ней уже не поговоришь.

30 марта.

«Странный народ люди. Какое это утомительное занятие — встречаться, здороваться (да еще не дай Бог за руку). Я знаю, они сердятся, когда я прохожу мимо и не здороваюсь, но мне этот мимолетный контакт всегда очень тяжело давался. В чистом поле куда легче дышать. Вы не согласны? Ах, сударь, вы ничего мне не отвечаете!»

- К кому это она все время обращается? — спросил Севка.
- К мужу. Он часто бывал в отъезде, она очень без него тосковала, и вот...

Дальше следовало что-то, густо замазанное чернилами.

«Стоит ли жить, если жизнь становится все быстрее, все неразборчивей, как будто летишь вниз?»

Над этой строчкой другим почерком было написано: «Вот оно!»

- Кто это писал? — спросил Севка.
- Муж, — ответил С. К., — уже после ее смерти. Это уже, так сказать, для нас — объясняя причину самоубийства.

— А как он объясняет?

— Припадки безумия.

— Состояла на учете?

— Никогда. Но сослуживцы подтверждают, что она была странной. Работала переводчицей в научно-исследовательском институте, работала, говорят, отлично, но была совершенно неконтактной. Ни с кем даже не здоровалась, включая директора.

— Сколько ей лет-то было?

С. К. полистал бумаги.

— Тридцать шесть.

15 апреля

«Москва сошла с ума — залита солнцем, полна красивыми девушками, и всюду продают тюльпаны. А мне в этом весеннем воздухе слышится недомогание, даже болезнь, что-то вроде скотечной чахотки.

Нет, сударь, не подумайте, что мне было грустно, нет, так радостно, что эта радость уже переходила в боль, и тогда уже вообще ничего в себе нельзя понять. Скажите, бывало в истории так, чтобы люди умирали от счастья? От избытка счастья?»

Последние строчки тоже были отчеркнуты другими чернилами.

— Что же это он теперь все черкает и черкает, — не выдержал Севка. — А раньше он где был?

— Так ведь это в жж-ж-жизни бывает. — С. К. помог себе бровями. — Это называется одиночество вдвоем.

— Он был в отъезде, что ли?

— Нет, он как раз был дома. Она сказала ему, что устала, что примет снотворное, «с удовольствием», — сказала, — приму таблеточку», и чтобы он не беспокоился, если она утром проспит, — ей с утра на работу не нужно. Незадолго до этого они получили новую квартиру, казалось бы, жить да жить, а вот, все не так

просто в жизни получается.

— Можно мне прочесть ее последнюю записку?

С. К. вынул из папки и протянул Севке листок, вырванный из блокнота. Тем же крупным почерком тут было написано: «В смерти моей прошу никого, разумеется, не винить. И прошу оставить в покое моего мужа». Последняя фраза была подчеркнута теми же чернилами и твердой рукой.

— «Разумеется», — усмехнулся Севка. — А что говорит экспертиза?

— Установила полную идентичность почерка.

— Жаль, — сказал Севка.

С. К. улыбнулся.

— А тебе уже виделось кошмарное убийство с подложной запиской?

— Все равно этому мужу простить нельзя, — горячо сказал Севка. — У него под боком женщина мается, с собой кончает... Что он за человек?

— Парень как парень. Переживает сильно. Ходит черный, небритый, страшнее смерти. С дневниками этими не хотел расставаться. Говорит, это самое дорогое, что ему от нее осталось.

«Да, можно понять», — подумал Севка.

— Одно только мне непонятно, — медленно сказал С. К., — как это при таком иступленном горе да при таком благоговейном отношении к дневнику он написал для нас пометки не на полях, а прямо в тексте, и не карандашом, а чернилами?

Севка настороженно на него взглянул и спросил:

— Интересно, какая она была с виду?

— Можешь взглянуть.

С. К. вынул из письменного стола несколько снимков.

Фотограф снимал, как положено, издали — комнату, раскрытую постель, а на постели мертвую женщину, лежащую очень прямо, с тонкими руками поверх одеяла. Потом он подошел ближе, и на второй фотографии уже можно было почти рассмотреть лицо. А третий снимок фотограф сделал, как видно, сверху, получился большой портрет, и подушка была ему рамой.

— Господи боже мой, — сказал Севка.

— Ты что, знаешь ее?

— В том-то и дело, что знаю.

Он не раз видел ее у Сушилиных, когда она сидела в углу и курила, не спуская своих огромных глаз с хозяина дома. Теперь эти глаза были закрыты.

— Это же Катя! — воскликнул он.

— Откуда ты ее знаешь?

— Я пять лет за одной партией с Ингой Сушилиной сидел.

Оба они смотрели на фотографию.

— И что ты можешь о ней сказать?

— Резкая, умная, может... могла срезать словом, как бритвой...

— По дневнику этого не скажешь. По дневнику она мягкий, легкоранимый человек.

— Да не в том дело! — воскликнул Севка. — Не в том дело! У нее никогда не было никакого мужа. Никогда! Никакого!

Они встретились в тот же вечер у Никитских ворот. Он пришел неожиданный — при галстукке, в импортном плаще. Широкие плечи, крепко затянутый пояс, очень ладный.

Собственно, тут Инга его впервые разглядела по-настоящему. Тогда, на шоссе, по лицу его двигались тени, а свет встречных фар высвечивал неожиданно ярко, и ей показалось, что у него глубоко посаженные глаза и сильные челюсти, вроде бы даже что-то обезьянье в нем есть, в этом лице. На самом деле он был вовсе не таков. Во-первых, цвет: лицо темное, словно бы глиняное, а волосы светлые. Простонародное лицо, но тот, кто его так хорошо лепил, остановился на грани — скулы выступают, но несильно, крупные губы выдаются вперед, но едва. Словом, лепили на красавца — почти. «Боже мой, — поняла она вдруг, — я же на него пялюсь, это неприлично», — и заставила себя отвести глаза.

Они были возле памятника Тимирязеву. Ученый стоял в своей каменной мантии, как всегда, с вороной на голове; голову он держал очень прямо, словно боялся уронить эту птицу. Новый Ингин знакомый глянул вверх на Тимирязева с его вороной, в лице его что-то засветилось, но он ничего не сказал.

И вот странность, она не знала, с чего начать разговор, это она-то с ее светским образованием и великим опытом. Впрочем, именно опыт ее и выручил.

— Я рада, — сказала она любезно, — что мы с вами снова встретились.

— Взаимно, — ответил он.

От этого «взаимно» ее сердце слегка зануло, и она, опять не зная, что сказать, проклинала себя, что не запаслась какой-нибудь интересной историей. Спросить, как он очутился на троллейбусной линии? И где теперь его славный самосвал, теплый, как русская печь?

— Между прочим, меня зовут Александр, — сказал он. — А вас?

Да, конечно, это глупо, они даже не знают, как друг друга звать.

— Инга.

Он приподнял брови, но ничего не сказал.

— У Александра масса уменьшительных имен: Саша, Шура...

— Любое на выбор. Мать зовет меня Саня.

Они пошли бульваром. О чем разговаривать? Как о чем! У них ведь уже есть общие воспоминания — лесное шоссе.

— Да, — сказал он, — дальнбойные рейсы — дело тяжелое. Платят, конечно, прилично. Это есть.

— День и ночь, день и ночь, а когда же вы спите?

— Да вот так — стал на обочине, положил руки на баранку, а голову на руки — без этого дальше ехать нельзя.

Он шел шагах в двух от нее, заложив руки за спину.

Инга вдруг вспомнила, что она дочь Сушилина, что она, как всем известно, обаятельна и что хватит ей тушеваться.

— Давайте так, — вдруг сказала она. — Представьте, что я репортер, а вы знаменитость, и я беру у вас интервью. — Он на ходу повернулся к ней, показывая тем, что готов отвечать. —

Традиционный вопрос для начала: «Кто вам больше нравится, брюнетки или блондинки?»

Он взглянул поверх ее лба.

— Больше всего мне нравятся каштановые девушки.

— Хорошо, — сказала она, рассмеявшись. — А что в жизни цените больше всего?

— Сберкнижку, — сказал он, твердо глядя ей в глаза. — Тяжелую сберкнижку.

Инга остановилась, нет, ноги ее продолжали идти, но внутренне она остановилась как вкопанная. И даже не сразу нашлась со следующим вопросом:

— А... друзья у вас есть?

Он чуть усмехнулся — ход ее мыслей был слишком очевиден. Но ответить не успел: впереди оказалась колдобина, довольно глубокая, с черной водой.

— Осторожно.

Он приблизился, взял ее за локоть — и вот уже она не помнила, о чем шел разговор, и не понимала ничего, кроме того, что сильное плечо его так близко и сильная рука держит ее локоть. Но он, обведя ее вокруг колдобины, локоть отпустил и снова пошел рядом шагах в двух, держа руки за спиной. Что-то говорил, она не слышала что.

— Против сна за рулем защиты нет, — между тем говорил он. — Сон свое возьмет. У нас недавно парень заснул за рулем, и приснилось ему, будто надо ему поворачивать вправо, а дело было на мосту...

— И что же? — спросила Инга, приходя в себя.

— Ну и свернул вправо. Вышиб перила, целую секцию, и загремел на железнодорожное полотно. — Он вдруг словно бы опомнился, повернулся к ней и сказал с некоторой поспешностью: — Только вы не волнуйтесь, жив остался. Метров десять летел и на колеса стал. Потому что был гружен кирпичом. Представьте, жив остался.

Боже мой, как она обрадовалась и тому, что шофер остался жив, и от этого «вы не волнуйтесь», вдруг такого славного и простодушного. Она остановилась, он тоже.

— А почему вы перешли на троллейбус?

Как раз в это время он откинул полу плаща и полез было за чем-то в карман, но, услышав вопрос, замер и стоял так, рука в кармане. Глаза его светились насмешкой. «Чистая загадка, отчего я перешел, — говорили они. — Никому не догадаться».

Она проснулась на следующее утро, стала вспоминать вчерашнее и сперва почти ничего не могла вспомнить.

На стене вдруг возникали тени от занавесок, то становясь яркими и четкими, как дворцовые решетки, то расплываясь в матовые туманные узоры, тающие в ничто, в пустую стену, чтобы вновь вспыхнуть четко, желто и радостно; день солнечный, и на солнце набегают облака. О чем они говорили? О том, что какая-то машина, груженная кирпичом, упала с моста, почему же у нее в душе черт-те что? «Саня», — повторила она с наслаждением. Это же надо, такое удачное имя: Саня. Было,

правда, что-то не совсем ладное со сберкнижкой, но об этом думать не хотелось. Хотелось смотреть, как на стене вспыхивают и тают тени от занавесок. А вставать не хотелось, в конце концов у нее каникулы.

Саня позвонил и сказал, что они встречаются у Савеловского вокзала возле касс.

Когда Инга в ковбойке, брюках, с сумкой через плечо была уже у двери, в прихожую вышла мать. Она ничего не говорила, только смотрела. «Не ходи», — сказали ее глаза, и дочь не узнала этих глаз.

— Мама, — сказала она возможно убедительней.

Но глаза Клавдии Васильевны повторили: «Не ходи. Ты не знаешь, а я знаю».

Бедная мама. Инга ушла из дому с жалостью в душе, но одновременно и с раздражением. И с тревогой.

Она взяла такси — машина Сушилиных была целиком в распоряжении шофера Ивана Федоровича: Клавдия Васильевна ни мужу, ни дочери водить ее не разрешала, в этом они ей уступили.

Еще издали, подъезжая к вокзалу, Инга увидела возле касс высокую Санину фигуру, и тут же бесследно растаяли в ее душе и раздражение, и тревога. Куда, до какой станции они ехали, она решительно себе не представляла и всецело доверилась его выбору. А он уверенно пошел к кассам, взял билет куда надо, нашел нужную платформу и нужную электричку.

Ехали они долго, сошли на каком-то полустанке, сразу же оказались в лесу, основательном, темном, с толстыми стволами и широкой грязной мокрой дорогой. Вышли на большой пологий луг. Теперь дорога была гладкой и шла между высокими травами.

Тепло, сухо, райский день, ветер оглаживает лицо, отдувает назад волосы. А Саня идет легко и так уверенно, словно он тут хозяин — впрочем, нет сомнений, это он приготовил такую великолепную погоду. Вдруг он остановился.

— Совсем позабыл, у меня подарок. — И протянул ей большие часы луковицей. — Это шагомер. Будет отсчитывать шаги, которые прошли ваши ноги.

Инга опустила шагомер в карман брюк и двинулась дальше. Шагомер в кармане приятно тикал, постукивал.

Луг был богат, даже странно видеть такое богатство в Подмоскovie, недалеко от электрички. Они проходили мимо высоких желтых зарослей, Саня сорвал маленький цветочек, растер его в пальцах.

— Вы знакомы? — спросил он. — Донник.

— Донник, донник... — сказала она, вспоминая: — «А с донником ли твой табак, батюшка?» — «С донником, сударыня, с донником».

— Совершенно точно. Идет в высший сорт «Золотое руно».

— Вы все травы знаете?

— Я нет, мать у меня знает. Только называет она их по-своему, по-местному. Видите, вот тот, грубый, желтый сорняк,

это вообще-то пижма, а мать называет ее птичьей рябинкой.

Ровного ярко-зеленого бархата луг отделял их от полосы прибрежных ив. Как хорошо, должно быть, бежать по этой ровной бархатной плоскости, да еще под уклон, вдруг подумала Инга, а ведь она хорошо бегаёт, физкультурник, бывало, не нахвалится. И она, свернув с дороги, кинулась бежать по склону вниз.

— Осторожно! — крикнул ей Саня. — Туда нельзя!

Но она уже летела, как ангел небесный, едва касаясь ногами земли. Радость ее была недолгой, под ногами сильно захлопало, кроссовки промокли, она сняла их и уже босиком прыгала с кочки на кочку среди вздыхающей черной грязи, усыпанной ситцевыми незабудками — и вдруг, оступившись, еле вытянула ногу из чавкающего, зловонного месива.

Саня оказался неподалеку, тоже в подвернутых брюках и с кроссовками в руке.

— Надсада господня, — сказал он. — Видала бы моя мать, обязательно бы сказала: «Надсада господня». Помочь?

О, нет. Она сама допрыгала до твердой земли, сама отмывала ногу внизу среди осоки, острой, как ножи. Сама поднялась по крутому берегу речушки.

Они стояли друг против друга, и Инга, глядя в его глаза, вдруг догадалась: он уже не мальчик и видит ее насквозь со всеми ее страданиями (и со всеми ее штучками), видит, как ее тянет к нему, как хочется, чтобы он хоть бы словом откликнулся, глаза его ясно сказали ей об этом. Будь они прокляты, обаятельные мужики. Она знала, чувствовала: если сама сейчас подойдет к нему близко, он возьмет руки за спину и отступит шага на два.

Она подхватила с земли сумку, закинула ее на плечо и двинулась в лес. Обходя кусты и деревья, она забирала все левее. Кусты становились все гуще, а деревья — все толще, кругом стояли огромные косматые ели. Пришлось перелезть через поваленные стволы — прямо в заросли папоротника. Она и продиралась, и перелезала, радуясь одиночеству. Где-то справа слышались Санины шаги, потом и их не стало слышно. Только птицы.

Она все сильнее и сильнее забирала влево.

И вдруг увидела Саню. Он стоял, смотрел куда-то и сделал ей ладонью знак — стоять. А потом так же, не оборачиваясь, помянул ее к себе. Инга подошла неслышно, чтобы не хрустнула ни одна ветка, и стала рядом. Что такое?

На высоко сломанном дереве сидела сова.

Она сидела очень прямо, маленькая и такая же рябая, как лес, только в ее оперении лесная пестрота сильно сгустилась. Клюв ее был загнут прямо в ее мохнатое лицо, глаза широко и недвижно открыты.

— Дрыхнет, — одними губами сказал Саня.

Да, Инга сама поняла: спит, дрыхнет с открытыми глазами.

Все так же не глядя на Ингу, Саня обнял ее за плечи одной рукой и медленно притянул к себе. И она стояла, снова пленная, счастливая, а в голове ее сплетались какие-то нелепости: «Вот мы все вместе, все втроем, он, я и эта сова...»

Но сова вдруг огромно моргнула, тяжело снялась с места и полетела. «Господи, поспать не дадут», — говорил ее вид.

Саня убрал руку (но это уже ничего не значило, они все еще были вместе) и сказал весело:

Сова осердилася,

Пошла, не простилася.

— Что это? Что это такое?

Но Саня не стал продолжать, сказал: «Потом, потом, пошли»; они пошли лесом, сгибаясь под ветками, обходя высокие рыжие муравейники, пока Саня не привел ее на отличное высокое место над рекой под стройными соснами. И вот в зеленой траве уже пляшет еле видный розовый огонь, над ним на двух рогатинах котелок (принес в своей сумке Саня), обед их обилин, оба запаслись.

Тут, за обедом, Саня и рассказал про сову.

— Понимаете ли, какая история. Воробей плясать пошел, молодой плясать пошел, и, представьте, отдал сове ноженьку, отдал Савельевне. Вот как дело было.

— Откуда вы знаете? — спросила она с любопытством.

— Мать говорила, когда я был маленький, никаких других стихов слышать не желал, требовал, чтобы раз десять на дню она мне их говорила. Так вот, значит, отдал он сове ноженьку.

Сова осердилася,

Пошла, не простилася.

Воротись, моя совушка,

Оглянись, Савельевна.

А сова отвечает:

Не того я отчества,

Чтоб назад ворочаться.

— Точь-в-точь как наша, — сказала Инга.

Они сидели на поваленном дереве, перед ними внизу вилась речка, над ними в голубом небе — высокие сосны с медными под вечерним солнцем стволами.

Уже на обратном пути к электричке Инга решила сказать:

— Вы так часто вспоминаете о матери...

— Еще бы, мы вдвоем с ней восемнадцать лет жили, до моей армии.

— А после армии...

— А она не позволила мне вернуться в деревню. Боялась, что сопьюсь. У нас в деревне парни, кто не уехал, почти все спились. А мы с ней... Мы с ней были вдвоем. Я родился через десять лет после того, как мать получила похоронную на отца. Так что наша с ней жизнь... Знаете, деревня — дело жестокое.

Она взглянула на него — и не узнала, таким тяжелым и мрачным стало его лицо. Слово и в самом деле было вылеплено из глины, самой грубой, гончарной. Только что они были вместе, стояли, смотрели, боялись разбудить сову, а тут вдруг — чужой, совсем чужой. Сердце ее сжалось, и вспомнились ей глаза матери, когда та стояла утром в передней. Она усмехнулась: мама может за нее не беспокоиться. Никто на нее не покушался и покушаться не собирается. И на сердце ее было тяжело.

Поднимаясь в лифте, Инга взглянула на часы — слава Богу, еще не поздно, мама не будет сердиться. Но уже от дверей она

услышала рыдания. Пораженная, остановилась в дверях гостиной.

Клавдия Васильевна рыдала на груди мужа, а тот обнимал ее и успокаивал.

— Я... не любила ее, — рыдала мама. — Я... не хотела ей добра.

Кирилл Викторович старался заглянуть в лицо, которое она прятала.

— Но и зла ей ты не хотела, — говорил он. — И смерти ее ты не хотела.

Мать только крепче прижалась к его груди. Подобных сцен в их семье до сих пор не случалось.

Инге не сразу удалось понять, что случилось. Катя! Боже мой!

— А... где она?

Инга едва выговорила эти слова, но отец ответил четко и, как ей показалось, сухо:

— Давно похоронена. Ее давно уже похоронил муж.

— Как... муж?

— Ее собственный законный муж. Расписанный с нею в загсе и прописанный в московском паспортном столе.

Княгиня Орлова с ее военной выправкой смотрела на них из своего XVIII века далеким астральным взглядом.

— Хочешь посидеть на допросе этого самого мужа? — спросил С. К.

Севка поднял брови: «Еще бы!» Единственно, что его смущало, — это Дронов...

Так вот теперь и шло: по долгу службы он был при Дронове, выполняя бесчисленные задания этого моторного человека, но лишь выпадала минута, он бежал в кабинет С. К. — нет ли чего нового.

Сколько лет Катиному мужу, понять по лицу, заросшему щетиной, невозможно. Лет сорок? Когда Севка вошел, С. К. как раз закончил заполнять графы протокола и поднял голову.

— Продолжим, Владимир Николаевич, — сказал он. — Так когда же состоялось ваше знакомство с Екатериной Павловной?

— Когда? — повторил Катин муж и поискал кругом глазами. — Вы знаете, это просто... смешно, но мне легче бывает вспомнить строки и целые строфы Баратынского, чем какую-нибудь дату.

— И все-таки, — сказал С. К., твердо глядя ему в глаза. — Ведь не можете же вы не помнить, где и когда вы в первый раз увидели вашу жену.

— Это было в кафе у Художественного театра. Я очень спешил и зашел перекусить. О, я это помню так, словно это было вчера!

— А на с-с-самом деле когда это было?

— Постойте, постойте. Да, я шел к пустому столику, но меня почему-то властно тянуло к другому, где одиноко сидела девушка — это было как чудо. Словом, сел я за столик, мы заговорили и с той минуты забыли все на свете — на несколько лет.

— И все-таки я вынужден повторить свой вопрос: когда все это было?

— Это было... это было четыре года назад.

— Дня вы не помните?

— Нет.

— Неужели потом вы с женой этого дня не вспоминали?

Многие всю жизнь празднуют этот день.

— Нет, мы с ней не праздновали. Вы знаете, у нее был характер...

Владимир Николаевич замолчал. Смотрел в окно, задумавшись.

— Мне бы хотелось знать, в каком месяце это было?

Вопрос С. К. прозвучал бестактностью.

— Месяце? — Владимир Николаевич очнулся. — Месяца я не помню, помню только, что тогда продавали нарциссы. А разве... Разве все это так важно? Ведь в этом деле, к сожалению, такая убийственная ясность...

— Вы ошибаетесь, тут ясности нет. А нам необходимо понять, что привело к трагедии. Вы знали о ее дневнике?

— Еще бы! Ведь это был разговор со мной, который она вела, когда меня не было. «Сударь» — так она меня называла. «Сударь» и на «вы». У нас все с ней было странно. Она очень любила меня, очень без меня тосковала и в то же время, знаете, то и дело гнала от себя. Она жила по собственным законам.

«Это правда, — подумал Севка. — Она жила по собственным законам».

— Так вот, относительно дневника, — сказал С. К. — Мы его тут очень внимательно читали, но, если говорить правду, далеко не все поняли. Ваша жена, Владимир Николаевич, была человеком высокообразованным, и у нас для того, чтобы понять ее, правду сказать, образования не хватает. Если вы не возражаете, давайте прочтем некоторые места вместе с вами.

С. К. раскрыл дневник в том месте, где была закладка.

— Вот, например, она пишет: «Мир иногда кажется мне хрупким, неустойчивым, именно материальный мир. Я чувствую иногда, как разрыхляется, как крошится материя. Путеводная звезда Кьёркегора? Нет, это мне совсем не подходит. Я никогда не пойму и не приму его жертвоприношения». Скажите нам, ради бога, что все это значит?

— Позвольте мне самому прочесть это место, — сказал Катин муж.

Он долго и сосредоточенно читал, а С. К., подперев подбородок ладонью, смотрел в это время на него.

— Все это не так-то просто, — сказал наконец Владимир Николаевич. — Дело в том, что Катя подчас писала очень темно и невнятно...

— А кто это такой — Кьёркегор?

— Ну, это современный немецкий философ, довольно сложный, идеалист по своему направлению. Мы с Катей как-то вместе его читали, Катя им увлекалась одно время, а потом и сама от него отошла. Я помню, мы с ней как-то об этом разговаривали.

— Ну, что же, Владимир Николаевич, — сказал С. К., откидываясь на спинку стула с явным желанием отдохнуть, — спасибо.

Но все-таки я вас прошу сейчас никуда не уезжать. Мало ли какие вопросы могут еще у нас возникнуть.

— Да куда же мне ехать, — устало сказал Владимир Николаевич.

Через день они были на Катиной квартире.

Квартиру эту Катя получила недавно, и Севка почему-то представлял себе это Катино жилье какой-то барсучьей берлогой. Ведь Катя дичилась людей. И за собой мало следила, рядом с Лялей или Ингой, великими модницами, выглядела странно в своих детских туфлях без каблуков и растянутых свитерах. А квартира ее оказалась хороша. Вдоль стен тянулись сверкающего дерева книжные полки. И стоял тут на высоких ножках великолепный приемник.

— Ого, — сказал С. К., — сколько книг.

— Да, — грустно ответил Владимир Николаевич, — это мы с ней вместе четыре года собирали.

— А как вы находите, если вам какая-нибудь нужна? — спросил С. К.

— Это несложно. Они стоят в определенном порядке, — ответил Владимир Николаевич.

— Ну, предположим... — сказал С. К., — предположим мне нужна книга по немецкой философии.

— Пожалуйста. Немецкая философия стоит у нас на самом верху.

— А ну, п-п-п-проверим, — шутливо сказал С. К. — Севка, слазай-ка. Где, вы говорите?

Владимир Николаевич молчал.

— А вот и нет, — в тон Сергею Константиновичу сказал Севка, — тут как раз сочинения Гончарова и Мельникова-Печерского.

Владимир Николаевич все молчал.

— Если вы смеетесь надо мной, — сказал наконец, — то вы нашли не очень подходящее время. И место.

Они возвращались в прокуратуру пешком, С. К. устал, хромал особенно сильно и заикался больше обыкновения.

— П-п-п-помнишь, — говорил он, — ее муж сказал нам, что Кьёркегор — это современный немецкий писатель и философ. На самом деле не немецкий и не современный. Он родился в 1813 году в Дании. Но, главное, этот Катин муж не понимает, что значит путеводная звезда Кьёркегора и жертвоприношение, а я теперь уже понимаю. Это жертвоприношение Авраама из Ветхого Завета. Жуткая история, между прочим.

— В самом деле, странно, что муж этого не знает.

— То есть совершенно не знает! — живо подхватил С. К. — Ни строчки с его помощью мы прочитать в дневнике не можем, ни одного факта не можем т-т-т-толком установить.

— Ни одной книги с его помощью не можем найти.

— Вот им-м-менно. Помнишь, Владимир Николаевич просил обратить внимание на то, что все ее мысли так или иначе ведут к смерти. А я обратил внимание...

С. К. живо и с любопытством смотрел на Севку. Тот ждал.

— З-з-з-зама з-з-з-занное место, — сказал С. К.

Ах да, об этом Севка совсем позабыл. Когда читал, заметил его, но потом совсем про него позабыл!

— Так вот. Я отдал это дело ребятам из лаборатории. Можешь его прочесть.

«Когда я думаю о вашей музыке, — читал Севка. — Ах, сударь, вы не только пианист, вы — Музыкант!»

— Разве ее муж — музыкант? — бессмысленно спросил Севка.

— Итак, — не слушая его, продолжал С. К., — мы можем установить несколько непреложных истин. Во-первых, мужу очень хотелось, чтобы все признали его духовную близость с женой, когда на самом деле духовной близости не было, а было, напротив, некоторое непонимание. Тут невольно ставится под сомнение — пока только под сомнение — и нежная любовь. А самое важное — и это в-третьих...

— Сударь — это не муж! — выкрикнул Севка.

— То-то и оно. Этот сударь, которому в дневнике она только что не молилась, это, конечно...

— Сушилиц, — сказал Севка.

— Ну, раз-з-зумеется, — сказал С. К.

После Катинной смерти дом их как-то померк, словно покрылся пеплом. Отец у себя играл неведомо что (импровизировал?), однажды даже начал было шопеновский похоронный марш, но резко оборвал. Мать была тиха. А с Саней они встретились снова, опять у Тимирязева, который все еще держал на голове свою ворону.

Они посмотрели на ворону, потом друг на друга, и оба улыбнулись.

— У меня мало времени, — сказала Инга.

— Дела?

— Да, дела. — Ей не хотелось рассказывать о Катинной смерти.

Они, как и в первый раз, двинулись по бульвару в сторону площади Пушкина. Интересно, помнит ли он лес, и сову, и костер? Да она и сама все это уже смутно помнила, словно то был сон. Сейчас они так же далеки друг от друга, как в их первую встречу. Он заговорил, и она поняла, почему мысли его далеко и он раздражен.

— Я вчера видел такое дело, — сказал он, — водитель «Волги» врезался в автобусную остановку, сшиб двоих насмерть. Пьян был, скотина. Я бы его своими руками, — он поднял ладонями вверх свои большие руки с сильными пальцами, — этими самыми руками его бы задавил.

— А он... действительно пьян был? — спросила Инга.

— А что же, трезвый?

— У нас есть приятельница, адвокат, она недавно нам рассказывала точно такой же случай, думали он пьян, а оказался инсульт.

Саня отвернулся от нее с каким-то коротким угрюмым медвежьим ворчаньем, явно выражающим недовольство.

До сих пор у них размолвок не было, а сейчас ей особенно не хотелось спора и несогласия, и она вдруг сказала то, что собиралась ему сказать много, много позднее.

— А не придете ли вы в наш славный дом?
Он насторожился, как бы говоря: «Зачем это?»

— Мне хотелось бы... — ответила она.

— Нет, — сказал он кратко. — Кстати, чтоб вы знали: я упрям, чуть что — рога в землю — и все.

Теперь и говорить было вроде уже не о чем — о чем можно говорить, если рога в землю? Она остановилась, ей хотелось сделать последнюю попытку установить мир: увидеть, что скажут его глаза. Он смотрел на нее спокойно. «Я решил», — говорил его взгляд.

— У меня мама такая, — сказала Инга. — Она... беспокоится.

И вдруг лицо его стало внимательным. Он обдумывал.

— Хорошо, — сказал он. — Я приду.

Он перерешил. Сам решил, сам и перерешил.

ГЛАВА III

Звонок в передней раздался ровно в восемь, когда мама и Нелли еще возились на кухне и никого из гостей еще не было.

Саня был в темном костюме и при галстуке, тоже темном, еле мерцающем. Она оглядела его цепким взглядом (и он слегка усмехнулся). В руке три розы (слава Богу, не букет, мать говорит: большие букеты — дурной тон). В общем, лучше не бывает. Спокоен, как памятник.

В переднюю вышел отец. Он сделал шаг вперед и протянул руку. Глаза его смеялись.

— Так это вы каждый вечер куда-то уводите мою родную дочь?

Саня тоже шагнул вперед, ничего не ответил, но руку протянул с поспешностью.

И вот они стоят друг против друга, крепко сцепив руки и твердо глядя друг другу в глаза. Начало есть!

— Очень рад, — сказал Кирилл Викторович. Вот умница: получилось, что он рад не только знакомству, но и тому, что он, Саня, каждый вечер уводит куда-то его родную дочь.

Мужчины прошли в гостиную, остановились перед портретом Орловой. Почти одного роста. Саня повыше и покрепче, конечно.

— Вот эта кавалерственная дама, — говорил отец, — видите, орденская лента через плечо, она умерла от чахотки, когда ей было двадцать с небольшим. Муж возил ее по всем врачам Европы, все делал, чтоб спасти, — и не спас. Он с ума сошел от этого, князь Григорий Григорьевич, так в безумии и умер.

Саня стоял, заложив руки за спину, и молча смотрел. Инга попробовала посмотреть на Орлову его глазами, как бы впервые.

Напудренные волосы вздымаются копной, да и веки словно бы чуть-чуть вздуты ветром, а стан прям, и локон на плече лежит недвижно. Взгляд? Не поймать ее взгляда. Хороша?

— Хороша, — сказал наконец Саня убежденно, отец кивнул.

Тихий ангел пролетел в гостиной.

А в передней уже раз за разом звенел звонок, слышались голоса.

И вот уже в гостиной Ляля! Она в черном платье, которое они называли «маленьким черным платьем от Диора» — верх элегантности. В ушах, у ворота и на пальцах одинаково дрожали разноцветные бриллиантовые огни.

На Саню она бросила быстрый взгляд, очень женский. Ну, конечно, наострила уши, наверно, все женщины так. «Я еще с ним намаюсь», — подумала Инга, не в силах сдержать улыбки.

— Давно хотел я вас спросить, — обратился к Никите Борис Петрович, — что вы, биофизик, мне скажете...

— Слушаю вас, — сказал Никита, целиком занятый Кирой, которая опять поместилась с ним в одном кресле.

— Все мы знаем, — продолжал Борис Петрович, — что жизнь человека отражается на его лице. Его образ мыслей, его профессия, уровень культуры — все это как-то во многом определяет лицо этого человека. Мы различаем по лицу, например, учительницу и даже городскую отличаем от сельской. Интеллигентное лицо отличается от неинтеллигентного. Бывают грубые лица, от природы топором тесаные, а видно, что культура их уже обработала, особенно, я заметил, поддаются обработке глаза и губы. Стало быть, жизнь и в особенности культура напрямую обрабатывает человеческое лицо. Не гены тут работают, не наследственный код, а сама живая жизнь.

— Куда же тут возражать, — ответил Никита, расстегивая и застегивая пуговку у Киры на воротничке, — тут возражать нечего.

— Тогда я вас спрошу, — торжественно сказал Борис Петрович, — каков тут механизм?

— Проблема Дориана Грея, — сказал отец.

Тут Инга заметила, что в гостиной Нелли, что она таращится изо всех сил, стараясь понять, о чем речь, а понять не может. Отец тоже это заметил.

— Пойдите, — сказал он, — не все помнят «Портрет Дориана Грея». Это роман Оскара Уайльда. Там герой, юный красавец, безумно боится подурнеть, и вот с него написан портрет, который удивительным волшебным образом стареет вместо него.

Борис Петрович еле дождался, когда отец закончит.

— Так каков тут механизм? — вновь обратился он к Никите.

Инга заметила: Саня слушает с интересом. Ну а его собственные глаза и губы? Интересно, успела их обработать культура? И какая культура кого обрабатывает?

— Нет, объясните мне, — настаивал Борис Петрович, — каким биологическим механизмом пользуется культура, подчеркиваю — биологическим, чтобы изменять наше лицо?

— Если кто-нибудь это узнает и докажет, — ответил Никита, — Нобель обеспечен.

Тут пришли Коробовы. Мать всегда зовет Коробова, потому что училась с ним в школе, а прошлое имело над ней большую власть. Ну уж его-то талантом не назовешь, он какой-то там чин в Союзе писателей — аж союзного масштаба!

Усевшись в кресло, Коробов тотчас овладел разговором. Он только что вернулся из зарубежной поездки, ему хотелось о ней рассказать; он был достаточно умен, чтобы не хвастать загра-

ничными знакомствами, но и удержаться, как видно, был не в состоянии, а потому избрал особую, ироническую, как бы саму от себя отрекающуюся манеру рассказа.

— Не стану хвастать, — лениво говорил он, — английской королевы я не видал. Чего не видал, того не видал. А вот принцессу Маргарет видеть удостоился.

— Честное слово? — блистая глазами, сказала Ляля.

— Истинный крест. Опять же не стану врать, на брудершафт мы с ней не пили, но вот на приеме я с ней рядом что стоял, то стоял.

Инга скосила глаза на Саню. Ну как? Он ответил ей взглядом, который говорил: «Любопытно».

В дверь гостиной просунулась Нелли, молча глянула на Кирилла Викторовича и поспешно скрылась.

— Ну, — тотчас сказал Сушили, — кажется, все готово. Хозяйки просят к столу.

— Не рада бы курочка к столу, — вполголоса, как бы самому себе, сказал Саня, — да за крылышко тянут.

— Как вы сказали? — переспросил Кирилл Викторович.

— Так вот, не рада бы курочка к столу, говорю, да за крылышко ее, бедняжку, тянут.

Кирилл Викторович понял и рассмеялся.

Санину курочку тотчас оценил Никита и тоже рассмеялся. Так все весело направились в соседнюю комнату, где в торжественных случаях расставлялся большой стол.

Но тут ждала их Клавдия Васильевна — и ее невозможно было узнать. Дело было даже не в умопомрачительной прическе, дело было в ней самой.

Она стояла, выгнувшись, как Ермолова на знаменитом портрете Серова, где актриса стоит, сцепив пальцы, резко прогнувшись в пояснице, а платье, туго обтягивающее ее стать, тяжело лежит на полу. У Клавдии Васильевны не было этого лежащего на полу платья, но стояла она, так же надменно выпрямившись, и, казалось, вокруг нее трещит мороз.

— Мама, — сказала, враз оробев, Инга, — разреши тебе представить...

Стол был фантастический. Разноцветные салаты, глянec черной икры, фонарный свет красной, прохладный фарфор сервиза, хрустальные бокалы на длинных прямых стеблях, и над всем этим возвышаются — словно переглядываются — бутылки с фантастическими пробками. Против Сани как раз оказалась бутылка с веселой немецкой рожей.

— Знатная закусь, — сказал Никита.

Все расселись. Нелли внесла знаменитый мамин пирог. Розовая от жара духовки, тупорыленькая (и светлые веснушки чуть-чуть просеяны), в белоснежной блузке и черной мини-юбочке, она была отменно мила. Инге показалось, что Саня тоже так подумал, во всяком случае, взглянул на нее со вниманием.

— Дорогие гости, — сказала Клавдия Васильевна, — прошу без приглашений. У нас просто.

Инга переглянулась с Никитой: да уж, просто, проще не бывает.

Началась та застольная работа, когда гости накладывают себе и друг другу салаты, рыбку, грибочки — красота сушинского стола понемногу разрушалась.

Настало время и застольной беседы.

— Слава, — первой начала Клавдия Васильевна, обращаясь к Коробову, — расскажи нам, как съездил.

— Не стану вам врать, — поднимая жующее, жмурящееся лицо, сказал Коробов, — английской королевы я не видал. Чего не видал, того не видал. Зато с принцессой Маргарет удостоился стоять на приеме рядом. А-ля фуршет. Очень милая леди.

— Вы, кажется, потом переплыли Ла-Манш? — спросила Ляля явно для того, чтобы продлить успех рассказчика.

— Да, был и во Франции. И, представьте себе, гостил у герцога Гиза в его родовом поместье. Мы сидели с ним и разговаривали.

— А камин при этом был? — не унималась Ляля.

— Как же, присутствовал. Обязательно. И дрова в нем, извините, пылали.

— О чем же вы с ним разговаривали?

— О чем? — Коробов продолжал жевать. — Герцог мне: «У меня, говорит, денег нет». «У меня, говорю, тоже».

Все рассмеялись.

А Инга сидела и думала: «Боже мой! Какая я счастливая! Саня в моем доме, сидит рядом и вот наливает мою рюмку».

И тут вдруг Клавдия Васильевна обратилась прямо к нему.

— Рыбки, пожалуйста. Она не так плоха.

«Ого, — подумала Инга, — начало переговоров о перемирии?» Саня тут же с готовностью подставил свою тарелку.

А Ляля жила своей оживленной жизнью, поворачивая отважный нос то в сторону Никиты, то в сторону Коробова. Тут Нелли принесла блюдо с жарким.

Жаркое купалось в каких-то кавказских травах (это кушанье было особой гордостью Клавдии Васильевны). И случилось так, что Ляля, непрестанно болтая и вертя головой направо-налево, уронила кусок на скатерть, нетронутую, как поле, покрытое только что выпавшим снегом. И вот теперь по этой белой глади расплзлось черно-зеленое толстое мохнатое пятно.

В обычный будний день соус, пролитый на скатерть, у Сушилиных ровно ничего бы не значил, но сейчас шел парадный обед, в такие дни хозяйка особо не замечала пролитого соуса или иной неловкости.

И все не заметили. Все старались не смотреть, как соус побегает, звездообразно впитывается в ткань и, захватывая все новые и новые белоснежные просторы, ползет дальше — так в кино показывают фашистскую агрессию. Только Саня этим пятном заинтересовался и смотрел, как оно расплзается.

— Вороне где-то бог послал... — вкрадчиво сказал он, повернувшись к Ляле.

Воцарилось неловкое молчание. Инга боялась поднять глаза на мать, казалось, что все перестали есть, пить и даже двигаться.

— А вот та же английская королева, — спокойно сказал Ки-

рил Викторovich, — так она в начале званого обеда, говорят, сама опрокидывает соусник...

Это было великолепно, но Ляля — Инга видела это — пришла в крайнее раздражение. Если раньше она поглядывала на Саню с несомненным женским интересом, то теперь как-то опасно призадумалась. А Коробов между тем сообщил, что Европа до сих пор без ума от Горбачева и его перестройки. Он видел ликующие толпы.

— А, бросьте, — прервал его Борис Петрович. — Все эти перестройки, гласности... Развяжут люди языки, а их хлоп в «черный ворон». Вот и весь ваш Горбачев.

— Ради Бога, — сказала Клавдия Васильевна, — у нас не говорят о политике.

— Прошу прощения, не я начал, — поспешно ответил Борис Петрович. Но продолжать не стал, Клавдию Васильевну он слушался беспрекословно.

— Кстати, перестройка перестройкой, — продолжала она, — а студентов по-прежнему посылают в колхоз на картошку.

— Надо додуматься, — сказал Коробов. — Пианистов и скрипачей на картошку? Руки! Они подумали хоть об их руках?

— Да, — сказал Кирилл Викторovich, — нашим рукам это, пожалуй, малополезно.

— Мы с миленочком... — начала Ляля, — вы знаете такую частушку?

Никто частушки не знал.

— Пожалуйста. — И она запела:

*Мы с миленочком гуляли,
Целовались до утра,
А картошку убирали
На полях инженера.*

Саня, который задумчиво вертел в руках пробку с веселой немецкой рожей, поднял брови.

— Гуляли до утра? — Он долго молчал, а потом поднял голову и спросил:

— А вы хотя бы на свекле когда-нибудь вместе с бабами работали? На прополке?

— Нет, честно скажу, — ответила Ляля, глядя не на Саню, а на Коробова, — не работала. Я даже и не знаю, что это такое — свекла, я знаю только, что такое свёкла.

Наступило молчание, весьма натянутое, но Ляля не обратила на это никакого внимания. Напротив, она вдруг всю развеселилась.

— Выпьем! — сказала она Никите, тот не откликнулся, но и на это она внимания не обратила. — Выпьем за наше сельское хозяйство и его тружеников, ура! — почти крикнула она теперь уже Коробову. — Наполним стаканы, содвинем их разом!

Вот Коробов ей тотчас откликнулся.

— Да здравствует солнце, да здравствует разум! — сказал он с какой-то особой назидательностью.

Они явно были в союзе против Сани. Происходило что-то неподобающее. Инга умоляюще взглянула на отца, но прежде, чем тот успел вмешаться, Саня поднялся, наклонился к Инге, быстро

сказал: «Не провожайте меня», — поклонился всему столу и вышел из комнаты. Хлопнула дверь, шаги дробно пролетели по лестнице, и тут же хлопнула дверь в подъезде.

Придя в себя, Инга услышала, как Ляля говорит, как бы утешая кого-то:

— Ничего, я убеждена, что зато он прекрасно играет на баяне.

Гости разошлись в смущении, без обычных шуток в передней, дом затих и сушилинская квартира тоже.

В кухне горько плакала Клавдия Васильевна.

Посуда была перемыта и расставлена; Нелли, сняв французский передничек, ушла к себе, в свое общежитие. Клавдия Васильевна осталась одна в любимой кухне, сверкающей кафелем и никелем, уставленной яркой болгарской керамикой, увешанной кастрюлями, замечательно имитирующими средневековую медную посуду. Не в силах сдерживать себя, она разрыдалась — и уже остановиться не могла.

Она понимала, что вела себя глупо, что Кирилл недоволен, а Инга в отчаянии. И что затея ее провалилась. Но что она, мать, могла поделать, что? Что было ей делать, если всем сердцем своим она чувствует, что на дом ее надвигается беда?! Когда Инга робко спросила, можно ли ей привести своего нового знакомого, Клавдия Васильевна согласилась и задумала этот обед, чтобы все увидеть собственными глазами. Ну вот, теперь она увидела это глиняное лицо, эти светлые волосы, эту холодную душу.

Она в ловушке, вот что самое страшное, она сама в ловушке, ни мужу, ни дочери не в силах она об этом рассказать. Нет, теперь, после того, что случилось три дня назад, она знает... Но не может, не может, не может им открыться. Да и чем она докажет, что этот шоферюга, конечно, оттуда, что он послан... Но кем? Если бы она сама это знала!

Надо было идти в спальню, но одна мысль о том, что Кирилл не спит и может о чем-нибудь ее спросить, приводила ее в ужас.

На следующий день Саня не позвонил. Инга сидела дома, боялась уходить даже в ванную, где льется вода и звонка можно не услышать.

Саня не звонил. Она не сразу поняла, что его у нее больше нет и что она одна. На следующий день после проклятого обеда она пошла на троллейбусную остановку. Стояла, ждала.

В первом троллейбусе за рулем сидела могучая женщина в серьгах. Во втором — какой-то морщинистый жилистый мужчина.

Инга уехала на четвертом, а на следующий день в отчаянии пропустила шесть.

Она стояла на остановке, а рука ее в кармане сжимала единственную вещь, доставшуюся ей от Сани, — шагомер. Сколько счастливых шагов по полям и лесам он тогда отмерил, сколько счастливых беспечных шагов! «Может быть, он заболел? — дума-

ла она. — Или... Он шел тогда от нас в таком волнении, наверно, не разбирая дороги...»

Опять проехала мощная женщина в серьгах, потом морщинистый мужчина. Люди входили, выходили. Она стояла. На повороте каждый троллейбус заворачивал, отражая солнце всеми своими окнами.

Потом эти окна отражали уже розовую зарю, на фоне которой все ярче становились зеленые огни фонарей. Она стояла до ночи, когда троллейбусы уже мчались, ярко освещенные, как маленькие театры.

Она давно поняла, что Саня ушел с линии, да и что ему было здесь делать, шоферу такого класса? Он ушел. Сам ведь говорил, что упряма — рога в землю — и все.

И все-таки ею все больше и больше овладевала мысль, что с ним что-то случилось — дороги наши так ухабины, так опасны, так много на них пьяных, что любой водитель, самый искусный, может погибнуть в автоаварии. Наконец эта мысль стала казаться единственно верной: как бы ни был он раздражен, он не мог уйти так, даже не позвонив.

И вот стали ей сниться сны, где Саня погибал. Они казались вещими. А дом их совсем заглох. Никто не приходил, только Ляля забегала время от времени и, как правило, для того, чтобы перекусить между судебными заседаниями. Инге тяжело было видеть ее, виновную в том, чем закончился тогда званый обед, но вносить в их и без того печальную жизнь еще и какой-то новый раздор, ей не хотелось. И когда Ляля примчалась к ним в очередной раз, Инга — она была дома одна — покорно пошла на кухню ее кормить.

Ей неможилось, она еле ворочала языком, а Ляля была элегантна, полна энергии и своих судебных впечатлений, ела с большим аппетитом, в промежутке между жадными глотками успевая рассказать о своем победном наступлении на прокурора.

— Да, кстати, — сказала она уже в передней, — видела я этого твоего... знакомого.

Инга, даже не спросив, о ком идет речь, подалась вперед.

— Когда?!

— Да вчера, — равнодушно сказала Ляля.

— И...

Ляля смотрела на нее, как бы соображая, стоит ли говорить правду этой глупой голове.

— Он ехал в машине.

— В какой? За рулем?

— О нет, вовсе не за рулем, а на заднем сиденье какой-то иномарки и, прошу прощения, с какой-то девичей совершенно непотребного вида. Давно я хотела тебе сказать: нет ничего хуже таких молчаливых кобелей.

Инга смотрела на нее исподлобья.

— Ты... правду мне говоришь?

— Бля буду. — И ногтем большого пальца Ляля зацепила передний зуб. Приблатненная Ляля.

А Инга смотрела на нее глазами, полными счастливых слез. Жив!

— Психопатка! — сказала Ляля. — Ты видела, как он ходит — руки назад? Это жеки так ходят под конвоем, тюремная привычка. — И ушла, хлопнув дверью.

Целый день она была счастлива: «Жив!» Только ночью схватила ее лютая тоска. Девица несколько ее не беспокоила, она ни минуты не верила, что Саня может променять их леса, дуга, их сову, наконец, на какую-то девицу и тем более непотребную. Но она поняла: он для нее потерян. Попыталась вызвать в душе ту радость, которая охватила ее при известии, что он жив, но уже не было радости в ее сердце. Жить без него она не сможет, она это знала.

Поутру Клавдия Васильевна вышла из дому в смятении — почти выбежала. И тут же вспомнила, что забыла ключи от квартиры — в ее состоянии и не то еще забудешь! Ключи остались в кармане плаща, Инга может уйти, Кирилл вернется с дачи (Иван Федорович уже за ним поехал), обеда нет, кошмар! Она поднялась на лифте и позвонила. Инга, конечно, спит, жаль будить. Она опять нажала на кнопку и услышала бег босых ног.

Дочь распахнула дверь — и застыла. Ну, разумеется, она ждала, бедная, вопреки разуму и, не ведая ни о чем, ждала.

— Я забыла ключи, — виновато сказала Клавдия Васильевна.

Инга молча посторонилась. Клавдия Васильевна вошла и взяла ключи.

— Нам надо бы поговорить, — робко сказала она.

«Да, мамочка, нам очень, очень надо поговорить», — хотела сказать Инга, но со сна ей бог знает что померещилось.

— Ты надолго? — спросила она.

— По разным делам, — ответила мать, не глядя ей в глаза.

«Поговорить!» — с горечью думала Клавдия Васильевна, поспешая к метро. — Как может она говорить с ними, со своими любимыми, если не в состоянии рассказать о главной своей беде.

У входа в метро толпились люди, медленно протискивались в двери — утренний час пик. Клавдия Васильевна никогда не бывала в метро в столь ранний час. Однако сегодня — не ее воля.

Ее внесло на эскалатор, вынесло на платформу, стиснутой, прижатой к чьему-то мужскому боку («А ведь люди так каждый день...» — думала она, двигаясь вместе с толпой). Поезд стоит, но из всех дверей торчат спины. Придется ждать следующего, это досадно, но зато она оказалась в первом ряду пассажиров.

Как назло, поезда все нет и нет, она опаздывает, неотрывно глядит в начало тоннеля, туда, откуда он должен появиться. И впервые видит, как страшен этот тоннель, черная печь.

И вдруг из этой угольной печи показались глаза. Три огненных глаза глядят угрюмо, низко, как исподлобья. «Это твоя смерть», — тихо говорит ей голос, и непонятно — извне он звучит или внутри нее.

Она не поняла, почему ногам ее не на что опереться и как это случилось, что поезд летит прямо на нее, она поняла только, что

гибнет, что это наверняка и что она не успела, не успела предупредить Кирилла.

Толпа в ужасе отпрянула от края. Раздался страшный крик, но это кричала не Клавдия Васильевна, а женщина, стоявшая с нею рядом. Клавдия Васильевна уже не было на свете.

Похоронная процессия движется медленно по аллеям кладбища. Инга идет за гробом рядом с отцом, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, но удивительным образом замечая все, что происходит кругом, словно фотографирует. Гроб несут отцовы ученики. Тут же и Борис Петрович поддерживает сбоку. Вот идет Ляля; ее руки, затянутые в черные перчатки, держат белые цветы. Сзади за Ингой — Всеволод. Разве это он должен был бы сейчас тут идти? Но это мимо, мимо. Хорошо, что рядом Всеволод. Он надежен, это главное. Уж очень ненадежно кругом. Все стало омутом, черной водой, темнотою, где с ее милой матерью сделали что-то страшное.

Но тут — стоп. Тут ее воображение останавливается на краю. Очнувшись, Инга вновь видит длинную процессию, что провожает к могиле наглухо закрытый гроб.

Отец рядом, но боже, что с его лицом! Кажется, что оно выжжено до своей костяной основы, похоже на череп. Губы запеклись и приоткрыты, видно, что зубы стиснуты. Хочется прижаться к нему плечом, но она чувствует: нельзя. Так велико его одиночество.

Гроб опускают — нет, невозможно представить себе, что это мама там, в этом длинном ящике, который так точно укладывается в щель.

Быстро работают лопаты, слышен грозный стук земли о доски. Уже на месте щели ровная площадка, уже растет холмик, все выше и выше, его заваливают венками. Вот и все.

Нет, не все. Появляется какой-то человек и ножницами прорекает шелковые ленты на венках. Зачем? Ах да, говорят, на кладбище нынче крадут цветы и ленты.

А что же теперь? Теперь надо возвращаться в их пустой дом. Иван Федорович ждет в машине.

Дверь их квартиры почему-то открыта. Зеркало в передней затянато белой простыней, большой портрет мамы с ее милой недолговечной красотой. Почему-то много людей, снуют какие-то женщины с тарелками, кажется, это сотрудники папиной кафедр и его ученицы; из кухни запах печеного. Боже мой! Поминки. Только этого ужаса ей не хватало.

В передней перед ней Нелли; только сейчас Инга вспомнила, что ее не было на кладбище — значит, осталась дома, чтобы организовать стол.

— Пойди, ляжь, — говорит Нелли мягко, как старшая. — Мы тебя позовем.

Инга идет к себе и, как была в черном свитере и брюках, залезает под одеяло. Ее бьет озноб, она никак не может согреться. Хочется, чтобы, как всегда, когда она болеет, вошла мама и принесла горячего вкусного питья и чтобы ей можно было бы пожаловаться, рассказать события последних дней, все, вплоть

до кладбища. Но с мамой она перестала быть откровенной с того самого дня, как возник он, — зачем только она его встретила.

В двери появляется Нелли.

— Пойдем, — говорит она тихо.

Инга с трудом поднимается.

Стол раздвинут огромно, как при маме. И отец тут, это неожиданная радость. Ингу сажают, кто-то сзади над ней наклоняется, это опять же Нелли, она ставит перед ней тарелку горячих блинов. Все пьют, не чокаясь (вон и отец тоже пьет), холодная водка горячим током бежит по ее телу, крутом начинается негромкий разговор. И она вдруг понимает: она не одинока, она в зоне верности. В зоне верности, повторяет она себе и благословляет древний обычай, не оставивший ее одну в ее страшный час.

Жизнь как-то пошла. В их доме соблюдался порядок, заведенный при Клавдии Васильевне — так решила Нелли. Та же идеальная чистота в квартире, обед в те же часы, с теми же тарелками и салфетками.

И все-таки не было жизни в их доме.

— Сегодня я говорил в министерстве, — сказал Сушилину дочери вскоре после похорон, — чтобы срочно оформляли документы на тебя, без тебя я не поеду. Они хорошо поняли, что решения я не изменю и хорошо знают, сколько валюты потеряют, если я не поеду. Так что готовься. Нам теперь друг без друга...

Это было неожиданно. И даже хорошо. За границей, где она еще не бывала, кончится ее рабство, не нужно будет ждать звонка.

Инга шла, никого не замечая, машинально обходя людей или останавливаясь, чтобы с ними не столкнуться. И вдруг что-то преградило ей дорогу.

Она пыталась обойти препятствие, но, куда бы она ни сворачивала, вправо или влево, оно всюду возникало перед ней и не давало пройти.

Наконец она догадалась поднять глаза. Неужели? Но сердце ее теперь всегда ошибалось: перед ней стоял Клим.

— Здравствуйте, — сказал он, — как выживаете?

Что это значит? Неужели же он не знает?

— Не удивляйтесь моему вопросу, — сказал он печально, — ведь мы с вами в одинаковом положении. Оба погорельцы.

Она взглянула на него вопросительно.

— За то время, что мы с вами не виделись, — объяснил он, — мы оба потеряли самое дорогое, что только было у нас в жизни.

— И вы...

— Да, я потерял мою Катю. Да, да, да. Я тот самый таинственный муж, который вызвал такой всеобщий переполох. Я должен был бы просить у вас прощения за этот странный маскарад, но, честное слово, идея была не моя. Так хотела Катя, а то, что хотела Катя, было для меня законом.

— Но постойте, — медленно ответила Инга, — постойте, тогда

у нас... Ведь тогда у нас вы с ней только что познакомились...

— Вы это помните? — живо отозвался он. — О! Сколько тут всего было. Сколько всего! Мы с ней договорились встретиться у вас, но она ни за что не хотела, чтобы кто-нибудь знал о наших отношениях. Это просто была ее идея-фикс: «Только те отношения сохраняют свою романтическую свежесть, — говорила она, — что остаются втайне». Я подошел к ней тогда и спросил: «Мы с вами, кажется, где-то встречались?» — по правде сказать, надеясь, что она скажет «да», мы рассеемся и откроем всем вам, что мы с ней давно уже муж и жена. Но она ответила «нет».

Инга посмотрела на него. Такой большой, костистый, и шея, как у молодого коня, только вот похудел и потемнел.

— Если бы вы знали, как они меня замучили, — вдруг сказал Клим.

— Кто?

— Да все эти прокуроры-следователи, чтоб они сдохли...

— Как это случилось?

— Да разве расскажешь? Значит так. — Он собирался с мыслями. — В тот вечер я сделал ошибку: я настоял на том, что остаюсь, не ухожу. Она в минуты тоски любила быть одна. «Хорошо, — сказала она, — в таком случае я приму таблетку и буду спать». Я помню, с каким наслаждением она сказала: «О, как я буду спать». Я разложил раскладушку в кухне. А утром встал, смолод кофе...

— Может быть, больше не нужно? Я бы вам о своем сейчас рассказывать не смогла.

— А то, что произошло дальше, и рассказать нельзя. Я вошел в комнату и увидел...

Они шли молча.

— Как я рада, — сказала Инга, — что мы с вами сегодня встретились. Это перст божий.

— Пошли на бульвар? — предложил он.

Нет, этим бульваром она идти не могла.

— Пошли лучше переулком.

Опять они шли молча.

— А что это мы с вами друг на друга тоску нагоняем, — сказал он вдруг совсем другим голосом. — Не поговорить ли нам о чем-нибудь более веселом?

— Вряд ли у нас получится, — ответила Инга, усмехнувшись.

— Почему же? Вот я, например, могу сказать, что вы сегодня на редкость хороши. Венецианские рыжие волосы, зеленые глаза...

Она удивленно на него взглянула. «Это что еще за пир во время чумы?»

Его глаза лихорадочно блестели.

«Ах, вот оно что! И у вас, сударь мой, нервы не из лучших? Ну... мне такое сейчас не под силу. С этим вам придется справиться самому».

Она мягко перевела разговор и через минуту еще мягче стала прощаться.

После этой встречи на душе у Инги и вовсе стало скверно. Убийство, подозрение в убийстве. Недавно кто-то рассказывал:

подходит дочь к своему дому, а окно — днем — белой простыней занавешено...

Нет, невозможно, зачем она отпустила Клима, ведь и ему хотелось поговорить, ему тоже трудно быть одному. Отец уехал на дачу поработать перед отъездом. Одно хорошо, завтра утром у него занятия в Консерватории, стало быть, завтра он вернется в город.

Утром Ингу разбудил телефон — было половина десятого. Хорошо знакомый голос деканатской секретарши спрашивал, почему Кирилла Викторовича нет на занятиях, — студенты ждут.

— Не может быть! — закричала Инга.

— Что-что? — спрашивала секретарша. — Я не поняла.

Но Инга уже бросила трубку. Он не приехал на занятия!

Машина шла быстро. Через полчаса после того, как она позвонила, Никита был у ее подъезда. И теперь, откинувшись на спинку сиденья, высокомерно — он всегда так глядел, когда был за рулем, — смотрел вперед. Навстречу летели машины.

«Неужели отец в самом деле заработался настолько, что позабыл про дни? Никогда с ним раньше такого не было, — думала Инга. — И этот «рыдван» смеет нас обгонять?»

Их на огромной скорости, брэнча и подпрыгивая, обогнал пустой грузовик. Никита нажал на газ и настиг нахала. Все было, как всегда во время их поездок. Только так, да и не так.

«Ну, до сих пор не забывал, а теперь мог и забыть. Тем более что он работает над новой, очень сложной шумановской программой».

— Куда ты подевал мою Бабу Ягу? — спросила она. — Стоило дарить!

— Сам не знаю, — ответил Никита, смотря на дорогу, — делась куда-то.

— Сто раз тебе говорила, — сварливо продолжала Инга, — ниточка перетерлась. Подонок, потерял мою Бабу Ягу.

Она привыкла, что в машине Никиты перед ветровым стеклом всегда болтается эта ужасная старуха, скорченная на помеле.

— Кире небось подарил, — ворчала Инга.

Никита усмехнулся.

— Кира — это вариант. Знаешь, теперь вместо «моя девушка» говорят «мой вариант».

— И я была вариант?

— Ты инвариантна.

Напрасно она спросила, для него это, кажется, до сих пор важно, а для нее нет.

Они уже проехали высокие черно-белые заводские трубы, похожие на гигантские детские игрушки. Сейчас машина повернет, откроется озеро, потом лесок, а потом уже и сам дачный поселок. Их дача крайняя от леса, отцовский рояль слышен бывает уже с дороги.

Но дом молчал. У него был глухой, нежилой вид. Окна закрыты. В саду ни одного шезлонга.

Только вот лейка, по счастью, стоит у клумбы, вид ее успокаивал, говоря, что отец был тут недавно. Инга взбежала на крыльцо и дернула дверь. Заперто. Ключ? Лежит на условленном месте под крыльцом.

— Наверно, вспомнил про занятия и кинулся в Москву, — сказал Никита. — Вот и лейка стоит.

— Ну, конечно, — ответила Инга и тут же вспомнила, что эту лейку они всегда оставляли возле клумбы.

Она обошла дом, взглянула на окно отцовского кабинета и вдруг дико закричала: «Ник!»

Окно было завешено белой простыней.

— Ник! — кричала она, мчась к крыльцу. — Отпирай!

Они переступили порог и вошли. Пусто. Она знала, знала — это в кабинете.

Но и в кабинете было пусто. А окно действительно непостижимым образом завешено белой простыней.

Долго и дико бродили они по пустой даче, заглядывая во все углы.

— Ничего не понимаю, — говорила Инга. — Постой, тут рядом живет тетя Даша, она нам помогает...

Тетя Даша сидела в кухне на низкой скамеечке и так мирно чистила картошку, что все их страхи сами собой разом исчезли. Только сейчас они почувствовали, как тяжело было у них на душе все время, что они ехали по шоссе, и бродили по даче, и шли к тети-Дашинному дому.

Но разговаривать с тетей Дашей нужно было не спеша.

— Как ваши ноги? — спросила Инга.

— Что ноги, — ответила та, явно польщенная, что ею интересуются. — Ходят ноги.

— Сейчас погода такая, — вставил Никита. — Давление большое, может сказываться на здоровье.

— А где папа? — спросила Инга. — Уехал в Москву?

Тетя Даша ответила не сразу и только на них весело поглядывала.

— А чего ему уезжать, — сказала наконец, — чего ему уезжать, если он и не приезжал?

— Как... не приезжал? — спросила Инга, еще ничего не понимая, но уже бледнея.

Ей мгновенно представились глухие запертые окна и лейка, забытая на дорожке, может, недели две назад. И простыня на окне.

— Да не приезжал он, — продолжала тетя Даша все так же весело. — Не было его тут вовсе, тваво папы.

И положила розовую картофелину в чистую воду.

Они вернулись на дачу. И остановились как вкопанные: возле крыльца была вогнана в землю большая черная вилка.

Дело это взволновало не только Москву, о нем писали центральные газеты, говорили по телевидению и даже по «голосам»

(эпоха гласности). Молва тотчас связала исчезновение и вероятную смерть Сушилина с недавней гибелью его жены.

Телефон в прокуратуре трещал не умолкая. Следственная группа — Шимановский, Прозоров, еще один парень из розыска, Андрей, и Дронов во главе — собралась в его кабинете.

— Итак, — сказал Михаил Алексеевич. — Я думаю, мы распределимся так: мы с Андреем займемся Москвой, а вы, Сергей Константинович, с Севкой поедете в поселок. Сушилин уехал из дому рано утром двенадцатого, как видно, поездом, не машиной. Необходимо встретиться с бригадами этих поездов — не было ли каких-нибудь инцидентов в поезде. Не произошло ли чего на платформе — Сушилин знаменит, да к тому же еще и красив, его не могли не заметить. Ну да, не мне тебя, Сергей Константинович, учить. Арест на почту в местном почтовом отделении. Андрей, зайдешь на почту тут, в Москве, узнаешь, нет ли на имя Сушилина писем или телеграмм, наложишь арест — санкцию прокурора я уже получил. Итак, действуем.

Севка вел машину, места кругом дивные, поля налево, лес направо. Скоро уже покажутся заводские трубы белыми и черными кольцами, потом озеро и поселок.

Дача стояла глухая, с закрытыми окнами и запертыми дверями.

Они зашли к соседям, чтобы пригласить их в понятия. Тетя Даша пошла, тяжело переваливаясь на своих опухших ногах. Вторым был пенсионер. Молча прошли садом. У крыльца в земле увидели вилку. Отперли дверь. В кухне все было в том скучном порядке, какой бывает там, где не живут. И в столовой все было в порядке.

А в кабинете Кирилла Викторовича окно было завешено простыней. Осторожно сняли, убедились: она домашняя (вышиты инициалы), положили в пакет, взяли с собой.

С. К. вернулся к входной двери и внимательно осмотрел дверной замок.

— Открыт ключом, — сказал он. — Ключей у Сушилиных было два — один у них, другой у тети Даши.

— Может, убийца из поселка? — сказал Всеволод. — Может быть, он без ведома тети Даши брал ключ?

— Или сделал третий? А этот третий вообще где-нибудь существует?

— Постоите, — вспомнил Севка, — ведь Сушилины своего в город никогда не брали, его всегда оставляли под крыльцом.

— Кто об этом знал?

— Думаю, все, близкие дому. И даже не очень близкие. Я, например, знал.

Окончили осмотр поздно ночью, но ничего не нашли.

Вернулись они в прокуратуру далеко не победителями. Зато Дронов и Андрей были в самом боевом настроении.

— Есть улов? — спросил Севка у Андрея.

— Не жалуемся, — ответил тот, поблескивая глазами.

— Как у вас? — спросил Дронов.

— Не г-г-густо, — ответил С. К. — Мы собственными глазами видели вилку и простыню. Вот и все.

— Любопытно. — Михаил Алексеевич задумался. — У тебя есть ей объяснение, этой простыне?

— Ни малейшего. Кстати, шторы там очень плотные.

Дронов сидел и соображал.

— Ну а теперь, — сказал он, как видно, оторвавшись от своих мыслей, — теперь послушайте, что у нас. Мы с Андреем взяли связи Сушилиных и сразу же вышли на одну небезлюбопытную фигуру — некто Елисеев Александр, приятель, может быть, и любовник Инги Сушиловой. По характеру человек семье не только чужой, но и враждебный, не так давно Инга привела его в дом, на семейный обед, он, кажется, устроил там что-то вроде дебоша. Ему, что называется, отказали от дома. Словом, мы с Андреем подумали: есть за что зацепиться.

Андрею явно не терпелось рассказать о своей удаче.

«Странно», — думал Севка, он ничего не слышал о семейном скандале Ингиного шофера. Самого же его видел однажды на улице, вроде бы обаятельный парень.

— Значит, первым делом я пошел в троллейбусный парк, — начал Андрей, торопясь, — нашел диспетчера, сказал, что я из ГАИ, посмотрите, мол, в ваших путевках, в какую смену у вас работал двенадцатого Елисеев. А она, Света, симпатичная, между прочим, отвечает, зачем мне куда-то смотреть, я и так помню, Елисеев двенадцатого работал в утро, точнее, должен был работать, но поменялся с водителем Савельевым. А почему же, спрашиваю, он поменялся?

Тут Андрей обвел их всех таинственным счастливым взглядом.

— Почему? Да потому, говорит, что к нему кто-то пришел. А кто, спрашиваю, пришел, вы случаем не заметили? И вот тут она и говорит: «Почему же мне не заметить, очень даже заметила». И что характерно — покраснела вся. Пришел мужчина, чересчур, говорит, интересный, такой, говорит, интересный, что она таких даже и в кино не видала.

Дронов повернулся к С. К. «Ну как, мол, тебе?» Тот только брови поднял.

— А как, спрашиваю, он был одет? — продолжал Андрей. — В черный блестящий плащ, говорит, сразу видно, не наш. Сушилилин именно в таком плаще ушел из дому.

— Мы, ясное дело, дожидаться не стали, — подхватил Дронов, — надо было допросить эту самую симпатичную Свету до того, как они встретятся с Елисеевым. Мы сегодня же ее и допросили, и фотографию на опознание представили.

Севка хорошо знал эту фотографию, ее обычно давали на афишах — Сушилилин тут был снят во фраке и белом галстуке.

— Среди фотографий, — продолжал Дронов, — она сразу указала на Сушилилина: «Это он!» «Вы уверены?» — спрашиваю. «Уверены», — отвечает. Так и сказала — «уверены». Вот такие пироги.

— Елисеева мы, ясное дело, берем, — добавил Дронов, — ордер на арест уже подписан.

С. К. кивнул, и все поднялись.

— А у Сушилиных при обыске делали какие-нибудь выемки? — спросил С. К.

— И тут кое-что. Записка. Некий Генрих собирался двенадцатого на дачу. Под подсвечником на столе у Сушилина.

— Дай взглянуть.

«К. В.! — значилось в записке. — К сожалению, в четверг не могу быть на занятиях — запись на радио. Если разрешите, двенадцатого приеду на дачу, Генрих».

— Что это за Генрих, ты его знаешь? — спросил С. К. у Севки.

— Ученик Сушилина, — объяснил Севка. — Очень талантлив, очень нервный; самовлюблен, говорят, до потери сознания.

— Сушилина, конечно, обожал?

— Напротив, говорят, ненавидел. Считал, что Сушилин завидует его таланту и не дает ему ходу.

С. К. присвистнул.

— Хорошо, — сказал Дронов. — Ты не против, если мы с Андреем займемся версией Елисеева, а вы с Севкой — этого самого Генриха.

С. К. кивнул, и они, трое, разошлись.

Инга вошла и тихо села у стола.

— Просите нас, — сказал Дронов, — что мы... Но дело — вы сами это, конечно, понимаете — не терпит промедления. Расскажите нам все, что вы знаете об этой трагедии.

Он подробно записывал все, что она говорила.

— А теперь, — сказал он, — расскажите, когда и где познакомились вы с тем молодым человеком, который был у вас в среду на званом обеде?

Она с удивлением взглянула на Севку — откуда они знают про Саню? «Не я», — сказали ей Севкины глаза.

Инга молчала. Она вспоминала ночь, шоссе, руки на баранке, со стороны все это выглядит странно. Да и при чем тут Саня? Какое им до него дело?

— Это имеет значение? — спросила она.

— Для нас огромное.

Она насторожилась.

— Что вы хотите этим сказать?

— Пока ничего.

— Мы встретились с ним случайно... на дороге. Он подвез меня до Москвы.

Дронов кивнул с таким видом, словно иного ответа и не ждал.

— Вы знаете что-нибудь о нем, о его прошлом? Кто он, что он?

И опять она молчала.

— Ну хотя бы — как его фамилия?

Да, действительно кошмар, ведь она даже Саниной фамилии не знает.

— Его фамилия Елисеев, — жестко сказал следователь.

Он властно смотрел ей в глаза, и в душе ее стал подниматься гнев — какое право имеет он таким тоном с ней разговаривать?

И все же ощущение, что он имеет тут какие-то права, ее не оставляло.

— Знаете ли вы, что ваш отец в самый день своей... своего исчезновения, — она поняла смысл оговорки, и от того, что оговорился так именно он, следовательно, у нее сжалось сердце, — ...ваш отец встречался с Елисеевым?

Встречался с Саней? Эта новость ее поразила. Внезапная робость охватила ее — многого, как видно, она не знает. Что же еще?

— Где сейчас Елисеев? — подавшись вперед, быстро спросил Дронов.

— Не знаю, — сказала она тихо.

— Инга Кирилловна...

— Честное слово, не знаю.

Некоторое время он смотрел на нее испытующе, а потом откинулся на спинку стула и сказал спокойно:

— Хорошо. — И дал ей прочесть и подписать протокол.

— Можно мне уйти?

— Нет, — ответил он, улыбнувшись. — Нам с вами предстоит еще одно, как у нас говорят, следственное действие.

Из ящика стола он вынул шагомер с поломанной дужкой.

— Видели ли вы когда-нибудь эту вещь? — спросил он, держа шагомер перед собой и поверх него глядя пристально на Ингу.

На лице ее было изумление.

— Да, она... моя. Как он к вам попал?

— Сейчас узнаете. Откуда он у вас?

— Мне его подарил... Елисеев.

— У нас шагомеры выпускает только один часовой завод, и все они похожи друг на друга. Почему вы думаете, что этот шагомер принадлежит Елисееву?

— Да потому что у него вот тут царапина на крышке, я помню, откуда она взялась... Но ведь он же был у меня...

— Вы узнаете его по царапине на крышке?

— Да, но ведь он же был у меня, в моем собственном доме! Я же вам говорю...

Севка видел: она была совсем растеряна. Да и сам он растерялся, потому что ничего не знал о шагомере.

— Давайте разделим вопрос, — сказал Дронов спокойно. — Сперва зафиксируем, что этот шагомер принадлежал Елисееву и что вы его твердо опознаете. А потом уже вернемся к вопросу о том, где и у кого он находился.

Дронов заполнял страницы протокола. Инга сидела с напряженным лицом, словно что-то мучительно вспоминая. Севка маялся, не в силах ей помочь.

— Ну а теперь, — сказал Дронов, кончив писать и выпрямляясь, — расскажите нам все, что вы знаете относительно этого шагомера.

Инга была совершенно потеряна.

— Этот шагомер я носила в кармане. Или он лежал у меня на столике. А потом он вдруг куда-то подевался... Не знаю... Пропал... Мне было не до него.

— Понимаю. А вы не можете вспомнить, когда именно он у вас пропал?

— Точно не помню, но...

— До двенадцатого или после?

— Я не могу вспомнить. — Мучительно морщась, она приложила руку ко лбу. — Кажется, до.

Михаил Алексеевич бесстрастно записывал ее показания.

— Ну вот, теперь уже все, — мягко сказал он, когда формальности были окончены. — Теперь уже вы можете уйти.

Но Инга не двигалась.

— Скажите, — начала она, — где его нашли, этот шагомер?

Дронов ответил не сразу. Севка ждал в напряжении.

— Возле вашей дачи, — сказал наконец Михаил Алексеевич.

Какое-то время Инга вообще не могла произнести ни слова.

— Но ведь он был... у меня... — бессмысленно повторила она.

— Но ведь вы же сами только что нам сказали, что не можете точно вспомнить, когда именно он у вас... пропал, и что вам кажется, это было до двенадцатого.

Она хотела было возразить, но вместо этого опустила голову и так и сидела, молча, с опущенной головой. Севка ждал, что, узнав, где именно нашли шагомер, Инга вскочит, закричит, словом, что-то сделает, а она в глубокой сосредоточенности опустила голову (и волосы упали ей на лицо), посидела так, а потом встала и, все так же молча и не поднимая головы, вышла из дрововского кабинета.

Как только она вышла, Михаил Алексеевич повернулся к Севке.

— С Елисеевым у нас прокол.

— Что такое?

— Да бежал он, Елисеев. На работу не вышел, из общежития смылся с чемоданом, постоянной московской прописки у него нет. Мы связались с Рязанью, где он прописан, там он, конечно, не появлялся. Теперь ищи ветра в поле.

«Значит, это после прихода в троллейбусный парк Андрея», — подумал Севка.

— А теперь... — Дронов замаялся. — У меня к тебе дело.

Севка быстро взглянул на него, удивленный его тоном.

— Видишь ли, — продолжал Дронов, ухмыляясь и почесывая висок, — мне из района сообщили, что там, на сушилинской даче, какие-то чудеса в решетке. Там, говорят, по ночам кто-то играет.

— Где?

— Говорю же, на сушилинской даче.

Севка ничего не мог понять.

— Как это... играет?

— На пианино. Интересно? — Дронов смотрел на него с любопытством. — И представь себе, именно те самые произведения, какие играл Сушилини. В поселке все, говорят, ходят синие, к даче, ясное дело, на версту подойти боятся. Ребята из местной милиции, я просил, первые дни сидели в засаде там — ничего. А в первую же ночь, как ушли, кто-то опять заиграл. Что за сон? Так что съезди туда, пройди незаметно, переночуй.

Они посмотрели друг на друга.

— Только этого нам с тобой не хватало, — добавил Дронов, и оба невесело рассмеялись.

Инга вышла из здания прокуратуры и долго стояла во дворе, стараясь вспомнить, о чем ее спрашивали и что она отвечала. Вспоминала и не могла вспомнить. В задумчивости брела она по улице.

Одно она понимала — идет охота на Саню. Знает ли он об этом? И как его предупредить? И что это за дикая история с шагомером? Ее спрашивали, когда она видела эту штуку последний раз, а она ничего не понимала и только старалась сообразить, как ей ответить, чтобы Сане было лучше. Ее спросили, когда она видела шагомер, до двенадцатого или после, и она...

Ее обдало жаром, она снова остановилась. Неужели же она сказала «до»? Ведь этим она погубила Саню!

«Нет, нет, — думала она, двигаясь в путь. — Прежде всего надо вспомнить, как все это было на самом деле».

На следующий день после проклятого обеда шагомер был у нее — она хорошо помнит, когда кинулась на троллейбусную остановку, он был у нее в кармане, она сжимала его в руках — ведь он стал тогда ее талисманом, единственным, что осталось от ее странного недолгого романа. И на похоронах шагомер был с ней, она еще подумала: недавно он отмерял ее счастливые шаги и вот теперь мерит погребальные. А что дальше, ближе к двенадцатому и за ним?

Дернул же ее нечистый сказать следователю это «до», когда на самом деле она ничего не помнит. Если она пойдет к нему снова, он, разумеется, ей теперь не поверит?

Инга была уже недалеко от своего дома, когда новая мысль заставила ее остановиться. Саню арестовали?! Он в камере с уголовниками?!

Нет, следователь спросил у нее, где он, значит, сам он этого не знает. А может быть, просто ее испытывал? А может быть, его схватили сейчас, тут же после ее показаний о шагомере?

Возле дома ее поджидала Ляля. Пусть Ляля. Сегодня это даже хорошо, можно ей все рассказать.

— Слушай, — говорила ей Ляля. — Этот, твой, мне просто отвратителен. Ладно, про Клавдию Васильевну он не знал, о ней в газетах не писали, но ведь о Кирилле Викторовиче-то весь мир трубит — что же он ничего не читал, ничего не слышал? Подонки он и больше ничего. Но я говорю с тобой как юрист. Шагомер? Ну и что шагомер? Если бы я Елисеева защищала, я спросила бы: что, скажите, пожалуйста, можно извлечь из этого вещдока? Курице ясно, что он мог попасть на дачу тремя путями. Его мог принести сам Кирилл Викторович.

Инга скривилась с сомнением.

— Не спорь, мог. Думая, что эта вещь принадлежит Елисееву, Кирилл Викторович захватил ее с собой, чтобы ему отдать, и почему-то не отдал. Теперь второй путь. Некто, мы не знаем кто, взял шагомер и подбросил его возле дома, чтобы создать ложную улику против Елисеева. Третью версию мы рассматривать не станем, ее наверняка усердно разрабатывает следователь.

- Но вторая!.. — начала Инга.
— Да, вторая с несомненностью означала бы, — спокойно сказала Ляля, — что преступник бывает в твоём доме.

ГЛАВА IV

Закат за лесом был похож на географическую карту: синие заливы туч по желтым материкам неба. Было прохладно, пахло травой. Севка шел к даче не по дороге, а лесом.

Было уже темно, когда он перелез через ограду дачи. Темный и настороженный стоял этот дом, страшноватый. Он отпер дверь ключом и вошел. Занавески задернуты, можно зажечь фонарик.

Та же пыль, тот же недвижимый воздух. И в столовой, и в кабинете, всюду та же пыль. Только вот рояль протерт до блеска.

Он пошел в кухню. Здесь стояли электроплитки и кое-какая посуда. Развернул сверток с едой, в темноте вскипятил на плитке воду, поужинал и пошел в столовую.

Тут он лег на диван, лежал, заложив руки за голову, смотрел в окно, где над черным мраком деревьев еле виднелась синева неба. Он лежал и думал о рояле, протертом до блеска.

У Севки была хорошая нервная система, как-никак мужчина и сотрудник розыска, но, правду говоря, он предпочел бы ночевать дома. Ощущение, что он не один на пустой даче, охватило его с такой силой, что он не удивился бы, если бы услышал шаги.

И все же, когда в саду действительно послышались шаги, сердце его само собой брякнуло в груди.

А в замке уже скрежетал ключ. Хорошо, что он, войдя, запер дверь.

Он стал соображать: ключа было два, один остался у Инги, другой — вот у него. Поезда из Москвы уже не ходят, машина не подъезжала.

Шаги прошли террасой и свернули в кабинет Кирилла Викторовича.

Севка тихонько приподнялся и сидел некоторое время, заставляя себя встать и пойти посмотреть, кто же это там.

Но прежде чем он успел подняться, в кабинете Сушилина раздались могучие аккорды, ударившие по его напряженным нервам с силой взрыва.

Он сидел, понемногу приходя в себя, давал успокоиться сердцу. Аккорды, в тишине показавшиеся могучими, на самом деле были слабосильными, их брали некрепкие, неверные пальцы. Так играть мог смертельно больной...

Севка старался понять, как ему лучше действовать. Незвестный за роялем, кто бы он ни был, не мог слышать его шагов, может быть, он не услышит и скрипа двери, если ее осторожно приоткрыть?

Он приоткрыл щелку, рассчитывая увидеть свет, но в кабинете было темно. Пианист играл в темноте! Окно слабо светило, и контуры предметов были едва видны. За роялем сидела сама темная тьма.

А что, если взять вдруг да зажечь свет? Идея показалась ему

дикой, но он все-таки, не помня себя, нацупал и повернул выключатель.

Вспышка света совпала с криком и глубоким провалом тишины. Он сам был ослеплен и ничего не мог разглядеть.

За роялем сидела женщина. Была она немолода, встрепана, глаза ее были водянисты, веки вспухли. Лицо ее дрожало от ужаса. И Севка вдруг сообразил, что вернее всего она принимает его за убийцу. Надо было что-то сказать.

— Не бойтесь меня, ради бога, — сказал он и вдруг заметил, что сам дрожит, как сукин сын. — Как вы сюда попали? Вы из поселка?

Она не ответила, а потом вдруг вскочила и удрала в дверь. Именно унесла ноги. Севка выбежал за ней на крыльцо — она, ссутулившись, улепетывала на соседний участок.

И тут его осенило: ведь это же «штатная Серафима»! Конечно, несчастная Серафима Николаевна, всю жизнь безнадежно влюбленная в Сушилина, его пожизненное наказание. Кстати, Инга говорила, что старушка когда-то училась и «относительно играет». Каждое лето она снимала комнату рядом с Сушилиным, чтобы, как она всем говорила, видеть, как Кирилл Сушилин по утрам выходит в сад. Но если все это так, она должна быть неопенимой свидетельницей!

Еле дождавшись утра — Севка все это время стоял у окна и не спускал глаз с соседнего дома, чтобы «штатная Серафима» ненароком не сбежала, — он отправился к ней. От хозяйки, у которой она снимала комнату, он узнал, что Серафима Николаевна Плющева снимает тут комнату каждое лето.

Когда он пришел, она уже немного просохла, но по красным глазам видно было: недавно плакала. И была она вовсе не такой старой, как показалась ночью, — мягкое лицо с полными губами, но и молодым его не назовешь, все оно в каком-то пуху, особенно вокруг рта, что наводит на мысль об усах и даже бородке. И голова ее, в мягких кудрях, немного трясется. Ее комната вся в сухих цветах и травах, они торчат из ваз и стеклянных банок, связками свешиваются по стенам — нечто ломкое, обесцвеченное временем, печальное, как сама их владелица с ее трясуцей головой.

— Ну и напугали мы с вами друг друга, — сказал он возможно веселее. — Я из уголовного розыска. Вы были ему другом...

Он, конечно, кривил душой, но это не беда. Она смотрела на него не мигая.

— Откуда вы знаете? — спросила она шепотом.

— Мне говорили в семье Сушилиных, что вы были ему истинным другом.

Ее глаза вдруг сверкнули.

— Это они во всем виноваты!

— Почему же?

— Только они! Только они одни! — Она сказала это с крайним ожесточением и вдруг задумалась.

Все Севкины попытки выведать, в чем же виноваты Сушилины — вне всяких сомнений Серафима Николаевна разумела не

только Ингу, но и бедную Клавдию Васильевну, — ни к чему не привели. Серафима Николаевна молчала.

— Как же вы это не побоялись, — спросил он, — прийти сюда ночью одна после всех этих страшных событий?

Она молча подняла на него глаза, и в них он сам прочел ответ. Она боялась. Конечно, боялась — и смертельно! Но искушение было слишком велико: быть ночами хозяйкой в его доме, на его инструменте играть его музыку. То были минуты ее великого одинокого торжества.

— Скажите, вы были тут двенадцатого? — тихо спросил он.

Она кивнула.

— Вы не заметили чего-нибудь странного или подозрительного?

Она опять кивнула.

— Расскажите! — взмолился он.

Она медленно покачала головой.

— Почему? Вы боитесь кого-нибудь?

Нет, она не боялась, а просто с первым же словом, он видел это, слезы брызнули бы и она разрыдалась. «Безнадега», — подумал он.

— Подъехала машина, — сказала она вдруг очень тихо.

— Какая?! — завопил он и тут же осекся: только еще не хватало испугнуть эту робкую душу.

Но, кажется, он все равно уже дело погубил, потому что она ничего не в силах была произнести. «Вот идиот! — думал он, ненавидя себя. — Ведь еще минута, и она бы заговорила, надо же было так заорать. А теперь все пропало».

— Легковая машина, — сказала она так же тихо. — Это была легковая машина.

— Какой марки?

— Я... в них не разбираюсь.

— Цвет?

Она беспомощно пожала плечами. Ну, конечно же, было темно.

— Где вы были, когда она подъехала?

Ей, как видно, неловко было говорить о занятой позиции, поэтому ее голос совсем угас, когда она прошептала:

— У забора.

Севка одобрительно закивал, всем видом своим показывая, что в восторге от ее догадливости и расторопности.

— Из машины кто-нибудь вышел?

— Да.

— Кто же? Мужчина, женщина?

— В наше время не отличишь, — прошептала она.

В самом деле, отличить нелегко даже днем.

— Это был мужчина, — вдруг сказала она.

— Как он выглядел?

— Не очень высокого роста, — ответила она нерешительно.

— И что же было дальше?

— Да, — сказала она несколько уверенней, — это был мужчина не очень высокого роста.

Тут она забуксовала. Ну что же, и того, что она сказала, достаточно, остальное сделает Дронов, мастер допроса.

Севка ног под собою не чувал, когда шел, ехал и снова шел, чтобы принести Михаилу Алексеичу свою замечательную новость.

На следующий день Серафиму Николаевну Плющеву вызвали в прокуратуру. Она нервничала, голубые глаза ее смотрели растеряннно, красные веки трепетали. В кулаке она сжимала носовой платок и на всякий случай держала его прижатым к скуле.

— Итак,— сказал Дронов, осторожно складывая ладони,— вы видели человека, который вышел из машины и вошел в дачу Сушилиных. Каков он был на вид?

— Но ведь было темно...

— И все-таки, вы же только что сказали, что это был мужчина.

— Да! — с великим жаром подтвердила она. — Это был мужчина!

«Вот, кажется, единственно, что она знает твердо», — подумал Севка.

— Как же все-таки он выглядел, этот мужчина, — мягко настаивал Дронов. — Рост?

— Небольшого.

— Небольшого или среднего?

— Скорее... среднего.

— А может быть, высокого?

— Пожалуй.

«Да не помнит она ни черта», — маялся Севка. — Просто плохо разглядела».

— Как он был одет? — спросил Дронов и тут же прибавил: — Только будьте осторожны в своих воспоминаниях, говорите то, что видели. В светлом он был или в черном? В пальто? Без?

Она молчала.

— В костюме? В рубашке?

И наконец она решилась.

— Он, кажется, был в светлой рубашке и светлых ботинках. Дронов быстро записал ее ответ в протокол и тут же на нее взглянул.

— Светлые, вы говорите? Но ведь белой обуви мужчины, как правило, не носят. Может быть, это была спортивная обувь?

Серафима Николаевна была еле жива.

— Может быть, — прошептала она.

— Вы знаете, что такое кроссовки? — вдруг спросил Дронов.

— Это... что-то вроде резиновых тапочек?

— Похоже, но скорее это башмаки. Вот они как раз бывают и белыми. Похожа была эта обувь на кроссовки?

— Пожалуй...

— Это будет правильно, если я запишу: «На ногах у него была обувь, похожая на кроссовки»?

— Да, пожалуй...

— Пожалуй или да?

— Да...

Дронов записал и этот ответ. Чтобы придать себе большей уверенности, она попыталась было заложить ногу на ногу, но нога сорвалась, и ничего у нее не получилось.

— А теперь давайте установим, как вы его видели — спереди, сзади, сбоку? Вот план усадьбы, вот калитка, вот дорожка. Где вы стояли, покажите?

Серафима Николаевна указала пальцем место у забора.

— Значит, этот мужчина должен был идти сперва к вам боком, а потом спиной — тут, где тропинка поворачивает к дому. Была луна, отлично все было видно, неужели вы его не разглядели?

— Нет, нет, я не помню, чтобы была луна. И от забора далеко, а я неважно вижу...

— Серафима Николаевна, я сейчас дам вам направление к доктору-глазнику, а вы к нему сходите.

— Значит, так, — сказал Дронов, когда они остались одни, — нам предстоит выяснить, какое освещение могло быть в это время года и в это время ночи. В самом деле, было полнолуние, а вот видна ли была луна... Словом, метеорологи скажут нам облачность. Расстояние от забора до тропинки тебе завтра придется вымерить, сделай схему. После этого уже можно будет ставить эксперимент — что могла, а чего не могла она видеть со своего дозорного поста.

Дронов прошелся по комнате, как всегда ему трудно было усидеть на месте. И вдруг Севка увидел его глаза. Они прыгали и рябили, как это бывает с глазами человека, который следит за мельканием летящего мимо экспресса.

— Дела идут, — сказал Михаил Алексеевич, глядя в пространство, — идут дела, почитай, — прибавил он, кивнув головой на бумагу, лежащую на столе.

Севка стал читать протокол допроса водителя Савельева, того самого, с кем Елисеев поменялся сменой в несчастный день двенадцатого. Савельев показал, что в тот день на Елисееве были белые кроссовки.

Севка шел по улице и зачем-то смотрел, не пройдет ли кто в белых кроссовках. Таких было сколько угодно.

Что-то его тревожило в допросе Серафимы Николаевны. Он старался его вспомнить. «Но ведь белой обуви мужчины, как правило, не носят, может, это была спортивная обувь?..» Постойте, кто первый сказал про белую обувь, Серафима, помнится, говорила о светлой... И дальше: «Знаете ли вы, что такое кроссовки? Похоже это на кроссовки?» Она же еле лепетала, а в протоколе: «Это был молодой человек выше среднего роста в белых кроссовках».

И вдруг он остановился в недоумении. Как это раньше ему не пришло в голову?! Ведь Серафиму они допросили только что, а Савельева Дронов допрашивал накануне. Это значит, когда пришла Серафима, Дронов уже знал о белых кроссовках? Как странно! Как все это странно!

Нелли вошла и села. Она села, потом, как видно, подумала, что, садясь, помяла юбку, приподнялась, провела под собой руками и села опять. Все это время глаза ее были с готовностью устремлены на Дронова. Впрочем, с Севкой она поздоровалась отдельно и как бы потайно, потихонечку полуприкрыв глаза. «Все-таки она идиотка!» — подумал он.

С полчаса заняли формальности и попытки заставить Нелли повторить все то, что она знала о смерти Сушилилина.

— Вот ты человек, близкий дому, — сказал Дронов, — не заметила ли ты некоторого отчуждения, что ли, между Сушилилиными-старшими и их дочерью с тех пор, как появился Елисеев.

Нелли не то пожала плечами, не то поежилась.

— Да или нет?

Она снова поежилась и нерешительно кивнула, а потом сказала:

— Вроде нет.

— А теперь скажи мне, как, по твоему мнению, относилась к Елисееву Инга?

Нелли широко открыла глаза: «Вот вопрос!» — и чуть было не прыснула, но вовремя прикрыла рот ладошкой.

— Я хочу сказать, не кажется ли тебе, что она подпала под влияние Елисеева?

— Не знаю, — сказала она наконец. — Я в их дела не мешалась.

— А какие у тебя были отношения с Сушилилиными?

— Для меня они были, как родные. — Голос ее дрогнул.

Никакого проку от нее Дронов явно не было.

Следующим был Виталий Анисимович Коробов. Вот этот уж нисколько не растерялся. Он сел спокойно и принял удобную позу, заложив ногу за ногу. Потом пересел, снова переложил ноги и принял еще более удобную позу.

— Конечно, — говорил он, — я отлично помню этот обед. И этого парня. Что сказать вам? Парень этот, как там его, Евстигнеев, Епифанов...

— Елисеев.

— Да, Елисеев.

— Если можно, дайте нам его психологический портрет.

— Пожалуйста. Очень грубая, необработанная материя. Я таких мальчиков немало повидал на веку своем, знаете, из тех, кто, чуть что, хватается за нож.

— Пойдите, минутку, — сказал Дронов, быстро записывая.

— Видите ли, — Коробов затянулся, выпустил, подняв лицо, облако дыма и некоторое время следил за ним глазами, — такие натуры, как Елисеев, вообще говоря, очень агрессивны по природе. Да это и нетрудно понять. Вырванный из родной деревенской среды...

Дронов слушал с интересом, но не записывал.

— А мог бы такой парень убить? — впрямую спросил он.

— Ну, разумеется, — спокойно ответил Коробов, потянулся, стряхнуть пепел, по дороге просыпал его немного на брюки и поспешно отщелкал мизинцем. — Разумеется. Я не хочу ска-

зять, что он убил Сушилаина, и не мое это дело. Но что такой социальный тип уже, если хотите, тронутый деклассацией...

Коробов ушел, и Севка смотрел, как он переходит улицу, косолапо загребая ногами.

— Ну, ладно, — сказал Дронов, — пошли поедим. Не то у добрых людей уже ужин, а мы с тобой только еще на обед.

Севка уже обедал и с Дроновым не пошел. Он пошел к С. К.

— Слушай, — сказал Шимановский, — ты тогда до конца прочел дневник? А у меня это просто стало чтением на сон грядущий. И чем больше я его читаю, тем больше вычитываю. Вот, к примеру, на странице четыре строчки стихов и больше ничего. Но к-к-каковы строчки!

Но Севка начал не со стихов, а двумя страницами раньше.

11 мая.

«Я не могу жить, — так написала в своем дневнике Мария Башкирцева, — я создана неправильно. Во мне множество лишнего и множества вещей недостает».

— Кто это такая, Мария Башкирцева?

— Я уже посмотрел в словаре. З-з-знаешь, с этим делом мы с тобой, глядишь, образованными людьми станем.

«И я тоже про себя могу сказать, что создана неправильно и что во мне много лишнего и многого недостает».

И вот, наконец, страница с четверостишием, которое так заинтересовало С. К.

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...

Не мерят так и лютому врагу...

Ох, я дышу еще болезненно и трудно.

Могу дышать, но жить уж не могу.

Что Сушилаина на свете нет, Михаил Алексеевич не сомневался. А тут еще странная гибель Сушилаиной. Распутать этот узел будет непросто.

Михаил Алексеевич вызвал следующего свидетеля не сразу. Ему хотелось передохнуть. Допрос предстоял сложный, требовал напряжения, вот почему он хотел немного передохнуть и даже закрыть было глаза, но от этого легче не стало — перед ним все равно плыли бесконечные строки протокола. И опять же телефонные звонки не заставили себя ждать. Со всех сторон от него требуют найти убийцу. Вынь да положь. Нет, мол, у вас оперативности. По счастью, он мог бы им ответить: «Мы его нашли».

Эти дурачки не знают, не ведают, что самое сложное — это не найти убийцу, самое сложное — доказать суду, что он убийца. Не так уж трудно было догадаться, что Елисеев целил на женитьбу, на московскую квартиру, на машину, дачу. Родители мешали, психологическая обстановка достаточно ясна. Михаил Алексеевич знал, что это Елисеев, чувствовал, а его следовательская интуиция до сих пор никогда еще его не подводила. И вот теперь, в процессе следствия, все шло именно так, как нужно, все складывалось одно к одному. Подобная счастливая легкость возникает лишь в том случае, когда идешь по верному следу. Одно к одному — как кубики уже существующего где-то рисунка.

Но все это еще не составляло неопровержимых улик, без которых обвинительного заключения не напишешь. Добыть эти улики, припереть ими преступника к стене — вот что самое трудное, вот что требует высокого профессионализма. А Елисе-ев? Пусть побегаёт. Никуда не денется.

Что у него в активе? Белые кроссовки, это немало. Козырный туз его, конечно, шагомер. Но и с шагомером дело обстоит не так-то просто. Любой адвокат обязательно скажет, что шагомер мог быть у Сушилина в кармане и что его выбросили убийцы, обыскивавшие тело.

Вот почему сегодняшний разговор с Савельевым так важен, вот почему он потребует напряжения и мастерства. Эх, если бы...

Что же, пора начинать. Он встал, потянулся всем своим сильным литым телом, постоял, заложив сцепленные руки за голову, чувствуя, как приятно напрягаются мускулы, а потом с маху уронил руки и пошел звать Савельева.

Тот вошел осторожно, на его темном, словно бы обожженном пороховым взрывом, лице глазные впадины смотрели совсем черно. Маленький, он сел на краешек стула, всем видом своим показывая готовность и преданность. Да, этот хочет помочь правосудию.

— Видите, Василий Игнатьевич, — начал Дронов, — пришлось мне беспокоить вас по второму разу.

Савельев задвигался на стуле и заулыбался: «Какой, мол, может быть разговор! Раз надо — значит надо».

— Я сейчас вам задам очень важный вопрос, а вы ответите на него, хорошенько подумав. И только правду. Не торопитесь.

Савельев перестал улыбаться. Дронов медленно выдвинул ящик стола и медленно вынул оттуда шагомер.

— Мы с вами уже говорили об этой вещи. Вы опознали ее как принадлежащую Елисееву. Мы это записали. А теперь у меня к вам вот какой вопрос: когда вы в последний раз видели ее у Елисеева?

Вид у Савельева был настороженный и напряженный. Под мохнатыми бровями в глубине впадин обозначились глазки. И в них была растерянность. Савельев моргал, соображая.

— Вроде бы недавно, — сказал он.

Так, осторожно, пробуют ногой холодную воду: сунут и отдернут.

Дронов ничего не ответил. Во взгляде его было одобрение.

— По-моему, недавно, — повторил Савельев еще с некоторой нерешительностью, но уже утвердительно. Он убедился, что вода как будто терпима и входить можно.

— А где же ты его видел, этот шагомер? Где ты мог его видеть?

— Где мог видеть? На пальто мог!

— На пальто шагомеры не прицепляют, их прицепляют к спортивным курткам...

— И на куртке мог! Она у него в шкафу висела, я, когда за своим пиджаком лазил, мог видеть.

— Мог, Василий Игнатьевич, или видел?

— Да видел я его! Я ж вам говорю, когда в шкаф за пиджаком лазил, каждый раз прямо тут на него и натыкался.

Дронов, записывая, спросил:

— А когда ты видел его в последний раз?

— Так вот... — Савельев замаялся. Дронов бросил писать.

— Василь Игнатьич, ты по каким числам в этот месяц работал? По четным? Вот и будем вспоминать, что ты делал одиннадцатого, десятого, девятого, мог в эти дни видеть шагомер?

— Какой разговор! Ясное дело, мог. Десятого видел. Когда плащ надевал.

— Почему ты так думаешь, что это было десятого?

— Так ко мне сестра из Подольска приезжала. Она тоже могла видеть, коли надо, подтвердит, она у меня грамотная.

Дронов молчал, постукивая ручкой по своим белым зубам. Думал.

— Не надо сестры, — сказал он, — пусть дома сидит. — С. К. вошел в его кабинет, когда Савельев подписывал протокол допроса, подписывал усердно, даже истово. А уходя, как будто улыбался и кланялся.

— Оп-п-пасный человек, — сказал С. К., проводив его взглядом.

— Почему же так?

— Начальство очень любит. Тип нев-в-вежественный и нервный, я его еще в коридоре наблюдал. Нервные люди, между прочим, очень чутки. А ты что такой веселый? Елисеева в гроб з-з-заколачиваешь?

Дронов ходил, курил, ничего не ответил. Вроде посмеивался про себя.

— Между прочим, — сказал он, — Елисеев не расставался с этим шагомером до самого двенадцатого.

С. К. кивнул на дверь.

— Этот?

— А чем «этот», собственно говоря, не свидетель?

С. К. сидел долго, ничего не говорил. А потом повернулся и сумрачно взглянул на Дронова.

— Знаешь, что я тебе скажу, Михаил Алексеевич?

— Ну что? — спросил тот.

— Я х-хотел бы передпросить Плющеву.

Дронов остановился в удивлении.

— Ради бога, — сказал он. — А зачем тебе, собственно, Плющева?

Шимановский помолчал.

— Кое-что мне неясно, в частности, насчет белых кроссовок.

Дронов так и вскинулся в ответ на его слова.

— Это что — следствие за следствием?

Он уже опять не мог сидеть и пошел колесить по кабинету.

С. К. молча за ним наблюдал.

— Что значит — белые кроссовки? — спросил Дронов, опять останавливаясь.

— Только что ты допросил Савельева, который рассказал о белых кроссовках, и тут же у тебя Плющева увидела их в темноте.

— Ты хочешь сказать, что я липую? — грозно спросил Дронов.

— Нет, я хочу сказать, что тебе очень хотелось услышать про белые кроссовки, — в таких случаях они легко появляются сами собой, ты знаешь это не хуже меня.

— Была луна, — сказал Дронов запальчиво. — К тому же кроссовки белые, их можно было видеть и в темноте.

— Было полнолуние, это верно, но погода была облачной. В темноте, самое большое, видно что-то белое, а уж фасон обуви... Ну да не в том дело. Следственная интуиция, ты сам любишь о ней говорить. Так вот, она подсказывает мне, что этот вопрос надо п-п-переп-п-проверить.

— Это... — Дронов не нашел слов.

— Поэтому я тебе и предлагаю — допросим вместе.

Михаил Алексеевич опять кинулся в свой путь по кабинету — от стены к стене, от шкафа к сейфу.

— А если я не найду нужным передопрашивать Плющеву? — бросил он на ходу.

— Ну, тогда, — Шимановский обеими руками поправил прямую ногу, — между нами к-к-конфликт, мы обращаемся к начальнику следственного отдела. Пусть решает.

Дронов опять остановился перед ним.

— Ты же понимаешь...

— Вот потому я и говорю: давай п-передоп-просим вместе.

Дронов сел за стол.

— Ладно, — сказал он угрюмо, — допрашивай без меня.

Серафима Николаевна краснела, бледнела, трепетала, прижимала к скуле носовой платок, зажатый в кулачке. Тем не менее вопрос о кроссовках выяснился без труда. Она вообще не имела ни малейшего представления о том, что такое кроссовки. Тогда, ночью, разглядеть обувь, разумеется, не могла, да ей и не было в том надобности, она смутно запомнила что-то светлое. Светлая рубашка и светлая обувь, кажется, так. А впрочем, точно вспомнить она вообще не в состоянии.

Время от времени разговор их прерывался глубокими паузами, С. К. терпеливо ждал — раз она при нем так глубоко задумывается, значит, привыкает. Время от времени он задавал ей негромкие вопросы.

— Кто-нибудь оставался в машине, когда этот человек из нее вышел?

— Я же вам говорю, я вообще не видала машины, я только слышала, как она подъехала. А видала я, как эта особа вошла в сад.

— Особа? — быстро спросил он.

— Ну да... так говорят и про мужчину, и про женщину...

— Конечно. Но чаще про женщину?

— Я вас не понимаю, — пролепетала Серафима Николаевна.

— А я вас, — откликнулся он. — Я даже не понимаю, кто это был, мужчина или женщина.

— Я же вам сказала... — Голос ее безнадежно угасал.

— Но у меня нет уверенности, что вы сказали мне правду, вот в чем беда, — мягко сказал он.

— Но зачем бы мне...

— Не знаю.

Было видно: силы ее на исходе. Нужно было кончать.

— Вот что, Серафима Николаевна, — сказал он, — поступайте, как знаете. Только помните: вы взяли на себя страшную ответственность — перед памятью Кирилла Викторовича.

Всеволод вошел в кабинет Шимановского, когда Плюшева уже уходила.

— Ты вовремя, — сказал С. К., — сейчас сюда придет Генрих. Если, — он взглянул на часы, — он человек точный...

— Вряд ли такой уж точный. Насколько я его себе представляю...

Но в дверь уже кто-то стучал.

У Генриха было холодное, нарочито замкнутое лицо. Сама оскорбленная невинность.

— Признаться, я надеялся, — сказал он сразу же, как только сел, — что мы с этими вопросами покончили...

— Да и мы надеялись, — ответил С. К.

— Я готовлюсь к конкурсу в Вене, и, признаться, эти... милые разговоры не дают мне работать. Кажется, нетрудно было бы понять...

— Я понимаю, — примирительно сказал С. К. — Это я понимаю. Но есть вещи, которых я не п-п-понимаю.

Генрих сидел перед ним, резко выпрямившись, глаза его горели, пружинные волосы стояли дыбом.

— Как вы помните, — начал С. К., — в прошлый раз вы сказали нам, что не смогли быть на занятиях у Сушилина, потому что у вас была запись на радио, но ведь на радио вы в тот день не записывались и вообще там не были.

— Я не записывался, но я там был!

— Нет, Генрих Степанович, не были. Ведь у вас нет постоянного пропуска на радио, не так ли? А временного вам в тот день не выписывали.

Генрих сильно побледнел. Губы у него стали совсем белые, а глаза еще ярче.

— Я... мог быть... в другом месте... — Голос его дрожал от ненависти.

— Могли, — согласился С. К. — Но мне бы хотелось знать, что же было на самом деле.

Генрих, казалось, несколько овладел собой.

— Теперь я уже не могу и вспомнить. Был где-то.

— Значит, Кириллу Викторовичу вы сказали неправду?

— Ну... предположим. Предположим, у меня было свидание.

— С кем?

— Я... отказываюсь отвечать.

— Генрих Степанович, по закону вы не имеете права.

— И все-таки я отказываюсь! — закричал Генрих. — Отказываюсь — вы слышите? Можете делать со мной все, что угодно!

С. К. спокойно записывал.

— И еще один вопрос, — сказал он, поднимая голову. — Вы собирались на дачу Сушилина двенадцатого, не так ли? Так

говорится в вашей записке. Почему вы не поехали?

— И на это я уже отвечал.

— Напомните, пожалуйста, мне эти ваши объяснения.

Генрих молчал.

— Зачем?! — вдруг завопил он. — За что?! Кому нужна эта игра кошки с мышкой? Вы же все отлично знаете!

— Конечно, — согласился С. К. — Знаю. Заседания кафедры, на которое вы сослались как на помеху, на самом деле в тот день в Консерватории не было. Я хочу знать, почему вы и на этот раз сказали неправду?

— Я отказываюсь! Отказываюсь! Отказываюсь отвечать!

— В самом деле так взрывается, — спросил С. К., когда они с Севкой остались одни, — или только делает вид?

— Боюсь, что я могу вам объяснить, где он был двенадцатого. У них роман с Лялей, адвокатом, приятельницей Сушилиных.

— Адвокат Дунаева Елена Владимировна? Как все это одно за другое завязывается. Ведь и в истории с Бабой Ягой тоже главное действующее лицо адвокат Дунаева. Блестящий защитник, я ее очень уважаю, а тут...

Сведения о Бабе Яге принес в прокуратуру Всеволод, это действительно была странная история. Оказывается, Серафима Николаевна не все рассказала следователям, она утаила от них главное — что рано утром тринадцатого в саду сушилинской дачи нашла ту самую Бабу Ягу, что всегда висела против ветрового стекла в машине Никиты Преснякова. И вместо того, чтобы отнести эту игрушку в прокуратуру, она разыскала адвоката Дунаева и отдала игрушку ей.

Дронов в эту историю вообще не поверил.

— Дунаева умная женщина, — сказал он, пожимая плечами, — толковый, культурный адвокат, зачем ей вообще было в эту историю ввязываться.

— Ну, а если Плюцева действительно эту игрушку нашла?

— Чего же она нам тогда об этом не сказала? — насмешливо спросил Михаил Алексеевич. — Какие у нее были основания скрывать от нас такую важную находку? Нет, пусть ищут других, со мной такие штучки не проходят.

Он подумал и сказал:

— И вот что интересно по-человечески: чтобы спасти Елисеева, они решили отдать на погибель друга — ведь Пресняков им друг? Вот что любовь-то делает. Говорят, она чувство возвышающее. Нет, братцы, не всегда.

— В жизни еще не видал такого дела, — говорил С. К., когда они с Всеволодом шли из прокуратуры. — Шагомер, Баба Яга — на сушилинской даче просто дождь идет из вешдоков.

— И простыня на окне, — добавил Всеволод, — и черная вилка у крыльца.

Утром позвонил Никита. Вот уж действительно легок на помине.

— Насчет кофейку не составите компанию?

Когда-то, столет назад, так он звонил и говорил именно эти слова. И они шли в маленькое кафе, где была итальянская кофеварка

и кофе был приличным. Традиция требовала также, чтобы она, проходя мимо соседней кондитерской, покупала пирожные с заварным кремом — три штуки, два для него, одно для себя.

И вот сейчас он, кажется, приглашал ее сделать вид, будто ничего не произошло и жизнь идет по-прежнему.

Сперва все в ней восстало против этого приглашения к игре, но, подумав, она согласилась. Не потому, что в голосе его было что-то необычное, что можно было бы назвать нежностью, а потому, что встреча могла кое-что прояснить.

Ну что ж, она включилась в игру. Надела когда-то любимое зеленое платье, щеткой до блеска причесала волосы, заколола их зеленой заколкой. По дороге заглянула в ту самую кондитерскую и купила три пирожных с заварным кремом. И пришла в то самое летнее кафе, под те же самые полосатые тенты, трепетавшие на ветру.

Никита сидел за их столиком в углу, у тента. Она подошла и печально положила перед ним пирожные. Он поднял глаза, они спрашивали: «Как живешь?»

Она ему улыбнулась.

Это одна Инга ему улыбнулась — та, что когда-то играла с ним в волейбол, рассказывала ему про своих мальчиков и всегда ему верила. Но была другая Инга, теперь уже выдавшаяся, — та была настоroje.

— Двойной?

Она кивнула. Двойной кофе сейчас хорошо, в самый раз.

— Может быть, тяпнем?

Она опять кивнула. И коньяку сейчас тоже хорошо — с огненным горячим кофе. Только теперь она заметила, что ее познбливает.

Интересно, спросит он про Бабу Ягу?

В кафе было пусто, если не считать буфетчицы за стойкой да воробьев за соседним столиком, которые бесстыдно дрались из-за куска булки.

Инга и Никита посмотрели друг на друга и улыбнулись.

«Ночь? Машина? Баба Яга, найденная Серафимой возле их дачи? Ни за что не поверю», — подумала она.

И тут же ей вдруг показалось, что Никита весь как-то настоroje, голос его стал словно напряженным, когда он спросил:

— А что следствие?

Она сразу поняла, что ради этого самого вопроса он сюда и пришел, все остальное было предлогом. Именно сюда он пришел, в кафе, сама обстановка которого должна была бы отвлечь ее внимание. Все в ней умерло в эту минуту.

— Да кто его знает, — сказала она.

— Это правду говорят, что Дронов — лучший следователь, как бы ас у них?

«Конечно, лучший — куда лучше, если он охотится не за тобой, а за Саней».

Если бы она не пила коньяку, она, может быть, и сдержалась, но коньяк, должно быть, в ней что-то и сдвинул.

— Может быть, ты хочешь спросить у меня про Бабу Ягу на шпточке? — спросила она зло.

Лицо Никиты вовсе стало чужим. Таких холодных глаз она у него никогда не видала.

— Вот именно, — сказал он жестко, — мне бы хотелось знать про эту милую игрушечку, твой подарок.

Они уже враждебно смотрели друг на друга.

— А кроме того, я хотел бы знать, — сказал он еще жестче, — неужели я должен ходить вокруг да около, задавать наводящие вопросы, неужели я, промежду прочим, не мог рассчитывать на то, что ты сама мне расскажешь о такой находке?

— А теперь я бы хотела тебя спросить, — не менее жестко сказала и она, глядя ему в глаза, — откуда тебе вообще известно о том, что Баба Яга найдена около нашей дачи?

— Вопрос, мягко выражаясь, оскорбительный, но я все-таки на него отвечу: от самого товарища Шимановского. На допросе.

«Я больше не могу», — взмолилась прежняя Инга, а нынешняя сказала холодно:

— Уже был допрос?

— Вполне.

— Ну и... как?

— Поговорили.

Наступило молчание.

— Ну, мне пора, — сказала Инга.

— Может быть, все-таки выясним отношения?

— В другой раз. До свидания.

— До свидания, — ответил он, не поднимаясь и не спуская с нее глаз.

232

Но Инга действительно больше не могла: ее уже сильно трясло. Пока она шла домой, озноб становился все сильнее. Страстно хотелось оказаться под одеялом. Сейчас она придет домой, и Нелли, если не ушла, принесет ей чай с малиновым вареньем (малину варила мама, да и малиновые кусты на даче сажала она).

По счастью, Нелли не ушла — что бы она делала без Нелли? Едва увидев Ингу, она кинулась на кухню.

В передней на подзеркальнице лежала почта — отцу все еще шли и шли письма, телеграммы, приглашения на конгрессы, контракты на концерты. Одно письмо было адресовано ей. Читать у нее сил не было, она захватила его с собой и пошла в свою комнату — скорее под одеяло!

Конечно, тут же прибежала Нелли, принесла горячего чая с малиной, от него начался особый, сладкий озноб. И так хотелось, чтобы Нелли хотя бы сегодня никуда не уходила.

— Может быть, останешься?

Нелли была в нерешительности.

— Оставайся, — прошептала Инга, закрыла глаза, и тут же оказалось, что она едет в машине. Едет в машине, но ей почему-то нужно прочесть письмо, что лежит на столике. Она очнулась, надо было протянуть руку, чтобы его взять, и она было протянула, но тут же, оттого, что приоткрылось одеяло, ее стало трясти еще сильнее.

— Слушай, — сказала Нелли, она сидела возле, на стуле, — не читай ты его.

— Это еще почему?

— Не знаю. Еще когда оно в передней лежало... Ну, бывает ведь предчувствие... Не читай. Никуда оно не денется, завтра прочтешь.

Озноб становился сильнее, Инга втянула руку обратно в жаркое тепло, закуталась плотнее одеялом, которое Нелли подоткнула ей со всех сторон, глаза ее слипались, и она заснула до утра.

Утром жар, спасибо малине, спал. Она тотчас вспомнила про письмо.

Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, почему нервничала Нелли. На редкость противный почерк.

Какое счастье, что Нелли (вот уж вешнее сердце) осталась с ней, была бы она сейчас одна...

Письмо, отпечатанное на машинке, содержало всего две строчки: «Ну как? Ничего? Дальше еще лучше будет. Уж если мы взялись за дело...» Подписи не было.

Она еще не совсем поняла всего смысла этих строк, как зазвонил телефон. Борис Петрович, о котором она последнее время как-то позабыла. Только сейчас сообразила, что он после похорон куда-то исчез.

— Я думала, вы в отъезде, — сказала она сухо.

— Я... не смел, — ответил он. — Это не для телефона.

Ей не хотелось его видеть, но она сказала: «Приходите».

А Нелли тем временем читала и перечитывала письмо. А потом заплакала злыми слезами, затопала ногами, завопила:

— Я говорила, не нужно было его читать!..

Раздался звонок. Инга открыла дверь и не узнала Бориса Петровича — перед ней был старик, очень худой и, как видно, очень несчастный. Она увела его в гостиную, он огляделся с видимым страданием и начал говорить.

— Я должен был рассказать вам тогда... и не мог.

— Тогда — это когда? — спросила Инга. — Борис Петрович, успокойтесь, давайте сядем.

Но села она одна, он не сел, он метался.

— Поймите, я не мог, не мог... Ведь Клавдия Васильевна, наша милая, наша драгоценная... — Он замолчал, потому что не в силах был говорить. — Она упала на рельсы не сама... — Он смотрел на нее остановившимся взглядом. — Ее столкнули.

В глубине души, на самом дне сознания, она это знала. Тем лишь и спасалась, что не была уверена до конца, да еще потому, что изо всех сил старалась об этом не думать.

— Откуда вы знаете?

— Я знаю.

— Но откуда, откуда?

— Я видел.

Ей стало страшно — конечно, перед ней суматшедший. Как мог он это видеть? А еще страшнее было поверить, что он действительно видел.

→ Я это видел! — крикнул он еще раз и кинулся в переднюю. Она не успела его остановить.

Из кухни выбежала Нелли.

— Зачем он приходил?

Теперь Инга смотрела на нее безумными глазами.

— Он говорит, что маму тогда на рельсы столкнули...

Нелли, услышав, зажала рот обеими руками, как бы не давая крику вырваться. И снова раздался звонок. И снова это был Борис Петрович.

— Только имейте в виду, — лихорадочно сказал он, — никаких официальных заявлений и никаких допросов... Я не буду отвечать. И вас прошу дать мне слово...

— Никакого слова я вам давать не стану, — жестко ответила Инга, — я его вам не давала и не дам. Вы обязаны...

— Боже мой, боже мой! — забормотал он в отчаянии. — Вы сами не знаете, что говорите! Сами не знаете! Именем вашей матери заклинаю вас...

Он с ужасом взгляделся в ее непреклонное лицо и с каким-то жалобным воплем кинулся вниз по лестнице.

Письмо, полученное Ингой, Севку обрадовало: наконец-то материал для настоящего криминалистического исследования — весьма возможно, что в их работе начинается новый этап и пойдет настоящая работа.

— Да, дело серьезное, — сказал Дронов, рассматривая письмо. — Написано на портативной машинке, импортной «Эрика» или «Рейнметалл», что-нибудь в этом роде, эксперты скажут нам без труда. Наша задача сейчас — найти машинку.

Да, начиналась настоящая работа.

А Севку не оставляла мысль о той «особе», которую видела ночью Серафима Николаевна на даче Сушилиных двенадцатого числа. Если то в самом деле была женщина, кто это может быть?

И вдруг как луч света пронзил его сознание! Баба Яга во дворе дачи и женщина на тропинке. Баба Яга из машины Никиты Преснякова и женщина, может быть, тоже из машины Преснякова? Кира? Если она водит машину, она или кто-нибудь из ее знакомых могли бы взять ее и без ведома Никиты? При всех обстоятельствах необходимо ее допросить.

С. К., когда он сказал ему об этом, очень заинтересовался Киroy, просил выяснить ее координаты и вызвать на допрос. Но Киры разыскать ему не удалось: она ушла в отпуск, и никто не мог сказать, куда уехала отдыхать. И Никита не мог сказать? И Никита.

Ночью во сне что-то случилось. Сон был странный, она почти ничего из него не помнила, запомнилась только мчащаяся машина о трех колесах, вместо четвертого быстро бежали две ножки. И такие были они проворные, эти ножки, такие умные. И плыло что-то живое и тоже умное, а главное, звучали слова, которые обязательно нужно было запомнить, чтобы перенести их из сна в реальное утро. Она ужасно боялась, что слова потеряются, что они исчезнут вместе со сном, почему-то они были ей очень нужны, она все повторяла их, полупроснувшись, когда сон был еще здесь, но смысл слов был еще непонятен, повторяла лихорадочно, чтобы удержать и перетащить в явь, и, к удивлению своему, удержала и перетащила.

«Сова осердилась, — звучали слова, — пошла, не простилася...»

Откуда это к ней пришло? Ведь она их тогда не запомнила! Да что же тут гадать? Саня посылает их ей, это же ясно! Она сидела в постели и повторяла, чтобы закрепить в памяти: «Оглянись, моя совушка, воротися, Савельевна...» Дальше она уже не помнила, но и этого чуда, пришедшего к ней через сон, было довольно. А ножки — как весело и проворно они бежали!

Она не просто встала с постели — она восстала. В душе ее была решимость бороться — да, бороться с теми, кто погубил самых дорогих для нее людей и сейчас грозит прийти за ее жизнью.

Ах, хотя бы на минуту увидеть Саню, предупредить его, рассказать про Дронова, показать ему письмо.

Спасти Саню и не пропасть самой, так велит сон.

Она не очень-то ясно представляла себе, как она это сделает, но решимость ее была велика.

Дронов ведет дело так, чтобы все свалить на Саню — в сущности, он заодно с преступниками, которые явно хотят того же. Нужно найти людей, которые вмешались бы и помогли, — не может быть, чтобы вот таким образом ложь наматывалась на ложь и никого бы это не возмутило.

«Спасти Саню и не пропасть самой», — повторяла она отважно.

Часа через два прищла Ляля. Как всегда бодрая, нарядная, как видно, только от парикмахера. Инга удивилась: оказывается, жизнь идет своим чередом. Никто не думает ни об убийствах, ни о письмах, грозящих убийством. Люди ходят на работу, в кино, в парикмахерскую...

Последнее время Ляля и вовсе к ним зачастила — и тоже не совсем бескорыстно: у них бывал Генрих. Теперь она восхищалась Генрихом (а что же Клим?), не пропускала ни одного его выступления, громко сулила ему блестящую будущность и даже посмела сказать: «Он заменит нам Сушилина». И Генрих теперь стал бывать у них часто, много чаще, чем бывал при отце.

— Заходи, — сказала она Ляле. — Генриха мы тебе сегодня обеспечить не можем, зато чаю все-таки дадим.

Нелли тотчас скрылась в кухне, это «мы» ей явно не понравилось.

— Генрих? — сказала Ляля беспечно и подняла брови. — Плевать на твоего Генриха. Давай чаю.

Но минут через пять Генрих все-таки прибежал — по странному совпадению у него как раз оказался двухчасовой перерыв в занятиях. Он и Ляля были так откровенно заняты друг другом, что Инга сочла себя вправе уйти по собственным делам.

Она шла улицей Герцена мимо церкви, где венчался Пушкин, свернула переулком на Воровского. И вдруг остановилась в удивлении.

Как странно. Этих двоих она никак не ждала увидеть вместе.

Навстречу ей, оживленно разговаривая, шли Клим и Виталий Анисимович Коробов. Собственно, разговаривал один Клим, что-то с напором доказывая своему спутнику, а тот шел, по обыкновению, косолапо загребая носками внутрь, держа голову набок и почему-то уклончиво улыбаясь.

Он первый заметил Ингу и тотчас направился к ней.

— Инга, дорогая, я так жалел, что не застал вас тогда. Я как только вернулся, сразу же забежал.

— Хорошо съездили? — спросила она прежним светским тоном.

Коробов тотчас стал рассказывать, как съездил, а она поглядывала на Клима. Стрижен, только что не под машинку, черно небрит, но в идеальном костюме и в такой же идеально белой нейлоновой рубашке, не то босьяк, не то денди.

Он смотрел только на Коробова и был так оживлен, словно только что узнал нечто важное или догадался о чем-то, чего до сих пор никак не мог разгадать.

— Мы с Виталием Анисимовичем только что говорили о Кьёркегоре, — сказал он сильным, почти радостным голосом. — Я говорю, что главная идея Кьёркегора — это материя, которая в его глазах как бы теряет свою структуру, как бы крошится...

Коробов опять уклончиво улыбнулся. Да и знает ли он, кто такой Кьёркегор?

— Ну я пошел, — сказал Коробов, с некоторой, как показалось Инге, поспешностью. — Мне еще нужно в несколько мест и в Дом литераторов.

Коробов помахал им рукой и пошел. И Клим собрался идти за ним.

— Мне хотелось бы кое-что вам рассказать, — сказала Инга. — Как прокуратура?

Клим ожил и даже весь засветился.

— Отвязались! Представьте себе, начисто отвязались! — И он обернулся в ту сторону, куда ушел Коробов. — Занятный дядька, — прибавил он с сожалением.

— У меня очень очень странные новости...

— Что такое? — спросил он, забывая Коробова и весь поворачиваясь к ней. И от того, как он разом повернулся, у нее стало легче на душе. Все-таки она не одна.

— Я получила записку... Более чем странную.

Он смотрел на нее, ожидая. Крупная щетина, как хвоя, облепляла его сильные челюсти, а над хвоей — перекрасные светло-ореховые глаза, которые смотрят на нее сверху вниз.

— Записку, где мне грозят... Не знаю, как сказать, но ясно, что это от тех, кто...

— Покажите записку.

Записки у нее не было. Инга заставила себя повторить текст. По мере того как она говорила, лицо Клима наливалось гневом, огромные ручищи его сжались в кулаки, а когда она кончила, взглянул куда-то вверх, в небо.

— Ну... попались бы они мне, — сказал он тихо. — Они б у меня...

Она так и знала, что найдет в нем поддержку, так и знала!

— Я все-таки попробую его догнать, — сказал он, еще раз оглядываясь в ту сторону, куда ушел Коробов.

Виталий Анисимович еще виднелся в конце улицы, он стоял там и с кем-то разговаривал.

— Я вам обязательно позвоню, — поспешно сказал Клим и ушел туда, где стоял Коробов.

Инга с улыбкой смотрела ему вслед. Конечно, он позвонит. Вообще ей стало легче на душе — нет, все-таки она не одинока.

А ведь была еще и сова, Савельевна, которая пошла, не простилась, но все-таки вернулась — обязательная птица! — что-бы показаться ей во сне.

На столе С. К. лежала большая закопченная вилка. В дачном поселке никто ее никогда в глаза не видел. С. К. попросил Севку привести к нему Ингу — оказалось, всего для одного, нет, двух вопросов. Первый: кто-нибудь когда-нибудь говорил ей об убийстве, при котором окно было бы завешено простыней? «Кто-то ей о подобном случае говорил, — отвечала Инга, — но она не может припомнить, кто именно». «Вспомните, пожалуйста», — сказал С. К. И второй вопрос: слышала ли она когда-нибудь о зловещем значении вилки в колдовских делах, в черной магии, вилки, воткнутой в землю возле входа в дом? Ну, тут Инга как раз помнила очень хорошо, у них дома, незадолго до несчастий, об этом рассказывала их приятельница, адвокат Елена Дунаева.

И вот теперь черная вилка лежала у него на столе.

— Да уберите вы ее куда-нибудь! — не выдержал Севка. С. К. понимающе улыбнулся, и тут стажер Андрей, просунув в дверь голову, сказал, что Севку зовет Дронов.

— Учти, — сказал Андрей, — он хохочет.

Хохочет? Севка и улыбки-то стоящей никогда на дроновском лице не видал. Но Михаил Алексеевич действительно хохотал, только что со стула не валился. И оказалось, что он, когда смеется, резко хорошеет, ну, роскошный мужик, хоть в кино его снимай.

Отсмеявшись, Дронов взял со стола какие-то бумаги и сказал с мягкой снисходительностью:

— На, читай.

Акт экспертизы — ну, ясное дело, когда нужно работать для Дронова, эксперты оборачиваются быстро. В преамбуле эксперт Солодова сообщала, что ей на экспертизу была прислана пишущая машинка системы «Эрика — портативная» (за номером таким-то), а также машинописный текст (далее следовал текст письма, полученного Ингой). Перед экспертом был поставлен вопрос, не выполнен ли представленный текст на данной машинке. Экспертиза установила, что ряд признаков (все стертости в буквах, все неточные меж ними расстояния — все это было в акте подробно перечислено) дают основания утверждать с уверенностью, что анонимный текст выполнен на представленной машинке «Эрика — портативная» (номер такой-то).

— Это... — растерянно начал Севка.

— Вот именно, — подхватил Михаил Алексеевич. — Машинка, изъятая из дома Сушилиных. Я прямо с нее и начал — как знал. Ну, скажи, ну не ребенок? Ни малейшего представления о наших возможностях.

Тут Севка сдвинул на затылок кепку и осторожно сел на стул, держа в руках акт экспертизы.

По правде сказать, Севка экспертизе не поверил и даже пошел

к эксперту Солодовой, пожилой спокойной женщине, которая охотно стала ему объяснять, на основании чего она пришла к своим выводам. «Вы знаете, — говорила она, — как мы бываем осторожны, ведь нам легче всего написать, что вывод сомнителен, ответственности куда меньше, но тут никаких сомнений быть не может. Вот посмотри сам: буква «О» скошена справа... Десятки совпадений». Севка рад был бы оспаривать каждое слово, но спорить было не с чем. Так что же оставалось? Вслед за Дроновым поверить, будто Инга сделала это сама, чтобы направить следствие по ложному пути?

На этот его вопрос С. К. не ответил.

— Значит, выяснишь всех, кто бывал у Инги до того, как пришло письмо. Оно без штемпеля, значит, опущено прямо в ящик. А с кем она теперь живет?

— Ну, чаще всего с нею девочка одна, славная девчужка, очень Сушилиным преданная.

— Это днем. А ночью как?

— Иногда та остается ночевать. А так-то ночью она одна.

— Да что, у нее родных нет, друзей нет? Впрочем, охранять — наша обязанность. Только вот обязанность есть, а возможности нет, как это сплошь и рядом в нашем государстве. Никто нам с тобой ни единого человека не даст. Остается охрана друзей. Есть Пресняков. Есть ваши одноклассники. Если мы этого не сделаем, может, никогда себе потом не простим.

С. К. не сказал Севке, что уже не раз просил Дронова связаться с милицией и обеспечить охрану Инги. «Не от кого ее охранять, — сказал наконец Дронов раздраженно, — смотри, как бы она сама со своим Елисеевым на кого не напала».

— Можно мне посмотреть кабинет Кирилла Викторовича? — спросил Севка. Инга кивнула.

Они вместе вошли в кабинет, где все — и ковер, и ряды книг, мерцающих за стеклами шкафов, и бесценный рояль, и две картины на стене, — все говорило о благородном и строгом вкусе. Целый мир мысли и музыки — только без хозяина.

— Кто это у вас так курит?

Тут Инга и сама увидела, что пепельница полна окурков.

— Так это Ляля с Генрихом к нам повадились.

— Они оставались тут одни?

— Да, целыми часами.

«Опять Генрих, — подумал он. — А может быть, «они» именно через него и получают информацию, недаром он в последнее время зачастил к Сушилиным? А может быть, это именно он напечатал на машинке две строчки, для которых нужна минута».

Но только зачем?

Тут может быть два объяснения. Первое: «они» полагали, что у Сушилиных станут искать в последнюю очередь. Второе: именно на семью Сушилиных «они» старались бросить тень. Бессмысленно? Не совсем.

Есть на свете человек, который убежден, будто Инга связана с убийцей — не преступлением, так любовью. Только для него эта ситуация и представляет интерес.

— О чем ты? — спросила Инга.

— Сейчас, — ответил он.

Итак, «они» хотели бросить тень на Ингу. Значит, записка предназначалась не только для нее, но и для Дронова. Кому же известна позиция Дронова в этом вопросе? Только людям, близким семье. И прежде всего, конечно, Ляле. Уж кто-кто, а она-то знает характер Дронова, эту его приверженность одной версии. Может быть, потому она и поспешила тогда явиться с Бабой Ягой, чтобы отвести подозрения от Генриха? Она в него безумно влюблена. Действительно, представим себе, что она узнала о преступлении, что Генрих, зная о ее чувствах (да, наверное, он и сам влюблен), рассказал ей все, просил совета, она умная женщина да к тому же еще и юрист...

Тут он увидел, что Инга смотрит на него с беспокойством.

— Ты думаешь, что Генрих...

— Не знаю, — ответил он медленно. — Не знаю. Признаться, мне трудно представить себе Генриха...

В передней на подзеркальнике кипую лежали телеграммы, повидимому, соблезнования; он знал, было много звонков, в том числе и из-за рубежа. Родных у нее нет, но где же друзья, хотел спросить он, но не решился. А потом все-таки решился, и она сказала, что никого не хочет видеть.

Это был день, когда повсюду ревели приемники и гремели телевизоры, изо всех окон был слышен один и тот же гул и рев толпы, один и тот же взвинченный, сам себя перегоняющий голос спортивного комментатора.

Инга шла на свидание с Климом. Он позвонил ей и сказал, что соскучился. Она назначила ему свидание в городе.

Заметив его издали, она удивилась: сколько в нем силы, сколько веселой силы! Он ее не видел, он прохаживался, он кружил на месте, как застоявшийся конь у коновязи. А почему он, собственно, не бреется, когда приходит на свидание к даме? Может быть, знает, что это ему идет?

Он ее уже увидел и быстро шел навстречу.

— Вы знаете, — сказал он, не поздоровавшись, — они снова принялись за свое.

— Кто?!

— Пойдемте куда-нибудь, ладно? Я не могу здесь. — Он чуть было не со страхом оглянулся на говорящие и гудящие окна.

— Так это же сегодня повсюду будет так — матч на первенство мира.

— Ничего, тут за углом забегаловка, там всегда тихо.

Шли молча. Он был совсем не весел, как ей подумалось издали, а взволнован и раздражен. Забегаловка оказалась большим рестораном, где было сумрачно, прохладно и тихо. Днем тут мест сколько угодно. Они выбрали столик в углу.

— Ну, рассказывайте, что там у вас случилось, — сказала Инга, чувствуя себя старшей сестрой, и он тотчас же начал.

— Они, оказывается, дела не закрыли, а, напротив, ведут его полным ходом. Изучают мою невзрачную особу со всех сторон

и во всех аспектах. Я было совсем о них позабыл, и вдруг, представьте, — возвращаюсь к себе домой и вижу, что по нашей лестнице спускается некий тип, которого я видел у них в прокуратуре. Душу они из меня вымотали. Только лишь я немножко стал, нет, не то чтобы успокаиваться, а...

Он отвернулся и принялся смотреть в окно. Успокаивал себя.

— Я не понимаю, — сказала Инга, — что же такое случилось? Ведь этот тип из прокуратуры не к вам приходил?

Он быстро повернулся к ней.

— Так он же по дому рыщет, обо мне всех расспрашивает!

— Откуда вы знаете, что о вас?

— Так ведь сегодня утром они опять меня вызывали. Я, как вышел от них, сейчас же позвонил вам. Ну... невоготу стало, честное слово!

Все-таки в трудную минуту он позвонил ей — значит, и она тоже может быть ему полезна.

— Ну и что же они от вас хотят? — спросила она, а про себя подумала: надо спросить у Севки, что они в самом деле привязались к человеку.

— А вот спросите их, — зло ответил он. — Они копают и копают. Раскопали старую романтическую историю. Изучили мою биографию до детского садика. — Он повернулся к ней. — Кстати, до того, как встретить Катю, я был далеко не образцом нравственности.

— Ну, это личное дело каждого. Передо мной можете не исповедоваться.

— У меня было совсем по Чехову: девять я бросил, десять бросили меня. Так этот следовательно тр-р-реклятый, он всех, кого я бросил, откуда-то выкопал. А, небось, тех, кто меня бросил, их он не трогает. Была одна... молодая особа когда-то, я был мальчишкой, она мне нравилась... Роман наш был недолог, я ей зла не желал, но она... Она возненавидела меня на всю жизнь, честное слово... Так он и ее выкопал, спасибо ему!

— Но зачем? Зачем?

— Ну, это ясно. Хочет, так сказать, поставить смерть Кати в связь с моим моральным обликом.

— Но это...

— ...статья уголовного кодекса о доведении до самоубийства.

— Какой бред!

Но тут к ним царственным шагом подошла официантка.

— Наши выигрывают? — спросила она с улыбкой.

Да уж, нам бы да ваши заботы.

— Знаете, — сказал Клим, — сегодня мы с вами, пожалуй, кутнем немножко. И знаете, я с вашего разрешения отчасти напьюсь. Выпьем коньяку?

Мысль была недурна. Ей очень хотелось есть, да и выпить она была непрочь. Последний раз она немного выпила с Никитой, но на душе у нее тогда было скверно, она была насторожена, а тут — полное доверие.

Они с увлечением сделали заказ.

— А денежки? — спросила Инга, когда официантка удалилась тем же царственным шагом.

— О, об этом не беспокойтесь, вставить два замка...

Она рассмеялась.

— Объясните мне все-таки, почему вы при такой интеллигентности работаете на такой...

— Так тут у меня заняты только руки, а голова свободна. На любой «интеллигентной» работе у меня уставала бы голова, а так — только руки...

Она с удовольствием смотрела на его руки. Да, такие, наверно, и без участия головы сами умно работают. Он заметил ее взгляд и тотчас накрыл ее руку, лежащую на столе, своей огромной теплой ладонью.

— Давайте сегодня немножко отдохнем, ладно? — сказал он мягко. — Не то...

Официантка расставила графины, фужеры, приборы и ушла. От предвкушения пиршества оба повеселели.

— Когда-то вы обещали, что прочтете мне свои стихи.

— Как давно это было, — ответил он, наливая в рюмки. — В сущности, если бы мы с вами не были погорельцами, я многое мог бы вам сказать.

— А именно?

— Про Венецию. Вы тогда на меня рассердились, но, честное слово, немногие из нас, мужчин, могут без сердечной травмы перенести такое сочетание темно-рыжих волос и зеленых глаз, пусть даже волосы каштановые, а глаза серые.

Оба рассмеялись.

— Клим, милый, если бы мы с вами не были погорельцами, я была бы рада вашим словам, а так...

Он, вдруг привстав, подвинул стул, наклонился к ней через столик и сказал горячо:

— Слушайте! Давайте сегодня проживем вечер — ну, не целый вечер, так хоть часа два — так, словно бы мы и не погорельцы. А? Всего какие-нибудь два часа отпуска, ведь это не так и много для людей, которые вот уже месяц ни дня ни ночи...

Она подумала.

— Вряд ли получится.

— Ну, пожалуйста!

— Выпьем, — сказала она решительно и печально.

— Выпьем, — ответил он ей в тон.

Они выпили и принялись за еду. Они не говорили больше ни о смерти, ни о прокуратуре, ни о следствии, говорили о еде. А потом о книгах. Клим все время поддвигал и ей, и себе.

— А знаете, о чем я мечтаю? — сказал он.

— О чем?

— Я мечтаю о том, как вы придете ко мне в гости и как я поставлю вам замечательную музыку. У меня есть замечательная музыка и замечательные книги.

«Опустевший Катин дом», — подумала она.

Нет, веселья не получалось, оба это чувствовали. Напротив, чем больше Инга пила, тем больше ей хотелось говорить именно о том, о чем они условились не говорить. Наконец она не выдержала.

— Клим, милый, если бы вы знали, как я без него тоскую!

И тут что-то произошло. Клим перестал есть, выпрямился, лицо его стало каменным.

— Не понимаю, — сказал он.

Она рассердилась:

— Как вы можете не понимать, о чем я говорю.

— Ну, знаете, я и тогда, по правде сказать, не мог вас понять, а теперь уж... Привести в дом — в ваш светлый дом! — темного парня... Нет... — Он поднял плечи и поискал глазами в потолке, как бы отыскивая там слова, столь же невероятные, как был невероятен ее поступок.

— Но вы его совсем не знаете!

— Так не надо и знать, достаточно и того, что мне рассказывала Катя. Я видел, какая вы, и вдруг этот... шофер. Убейте меня, не пойму.

Зато она поняла: так ведь он же ревнует! И так сильно, что не может этого скрыть!

— Клим, — сказала она мягко.

— Нет, — не сдавался он, — этого я не понимаю. А уж теперь, когда...

— Когда — что? — спросила она холодно.

— Когда он скрылся и все понимают, что он убийца вашего отца... Простите меня, что я об этом говорю, но...

«О, господи, — подумала она, — надо кончать этот разговор».

— Он не убивал моего отца, — сказала она через силу.

— А шагомер? — спросил он.

— Ну как вы можете? — вскинулась она. — Как вы можете, когда ничего не знаете. Ведь этот шагомер все время был у меня!

— Как же это так? — спросил он в недоумении.

— А вот так. — Она усмехнулась. — Вот так и все. Он был у меня, и как он мог очутиться там... Если говорить правду, я даже и не верю, что они действительно его там нашли.

Он был совершенно сбит с толку.

— Вот видите, — сказала она печально, — даже на два часа у нас с вами отпуска не получилось. Ничего не поделаешь.

Он проводил ее до дому.

— Наша связь односторонняя, — сказал он, — конечно, я буду вам звонить, но если вам вдруг станет грустно или я вам зачехнибуть понадоблюсь — напишите мне на главный почтамт, туда приходит моя почта.

У него были печальные глаза, и она сказала:

— Хорошо, я напишу.

Дома Нелли передала, что ее просят позвонить по такому-то телефону. Она насторожилась (она ст всего теперь настораживалась), но по такому-то телефону оказался следователь прокуратуры Шимановский, который просил ее зайти, если можно, сегодня же. Несмотря на то, что уже поздно? Да, несмотря на то, что уже поздно.

Следователь был худ и невысок — она это заметила, когда он с трудом поднялся из-за стола, чтобы протянуть ей руку.

— Кажется, мы вас порядком замучили, — сказал он (она ничего не ответила). — Сегодня я вызвал вас по делу о самоубийстве Екатерины Павловны.

Инга сразу вспомнила измученное лицо Клима. «Ну, погоди,— подумала она,— сейчас ты увидишь, мы своих не выдаем».

— В связи с этим делом,— продолжал Шимановский,— я хотел бы задать вам несколько вопросов. Первый: вы знали, что у Екатерины Павловны есть муж?

— Нет, никто из нас этого не знал, но так случилось потому, что она запрещала мужу говорить кому-нибудь об их браке. Вы знаете, у нее ведь был необыкновенный характер.

— А откуда вам известно, что она запрещала?

— Об этом рассказал мне — уже после всего — ее муж.

— А как вы с ним познакомились?

— Он пришел к нам в дом.

— Его привела к вам Екатерина Павловна?

— Нет, Ляля Дунаева.

— А теперь у меня к вам вопрос, на который вам, может быть, сложно будет ответить, потому что сам сюжет... Когда Климовский пришел к вам домой в первый раз, пытался он за вами ухаживать? Я говорю, разумеется, о том особом внимании, которое каждая девушка непременно чувствует.

«А, знаменитый «моральный облик», — со злорадством подумала она.— Ну, сейчас ты у меня увидишь».

Как это было? Клиим пришел и сразу заговорил с ней глазами, и она тотчас заметила, какие у него светло-ореховые глаза в черных ресницах. Ну, конечно же, тогда началась карусель, она это прекрасно помнит.

— Нет,— сказала она,— он никогда за мной не ухаживал.

— А когда Дунаева привела его, Катя была у вас дома?

Конечно, Катя была и, как всегда, была поглощена отцом, только им. А Клиим был занят только ею, Ингой.

И тут в первый раз ей это показалось странным. Она Климу тогда сразу понравилась, он весело и внутренне как-то свободно шел к ней, и стоило ей сделать навстречу один только шаг...

Надо думать, ее мысли как-то отразились на ее лице, потому что следователь спросил:

— И все-таки, Инга Кирилловна, вспомните, не было ли с его стороны, ну, скажем, каких-то романтических... сигналов?

— Нет,— сказала она. Он ей не поверил, она это видела. Ну что же, товарищ следователь, можете верить, можете не верить, ваше личное дело. Тут Инга заметила, что следователь смотрит на нее в упор.

— Елисеева подозревают в убийстве вашего отца,— сказал С. К.— Вы верите в это?

— Нет! — сказала она громко. — А вы?

— Я тоже полагаю, что эта версия не нашла пока подтверждения,— спокойно ответил он.

Тут Инга очнулась. Ее покупают, это ясно. Он и без того отлично знал, что она не верит в Санину виновность.

— Но вернемся к вашей встрече на улице,— невозмутимо продолжал он.— Итак, вы с Елисеевым шли по улице, настроение у вас обоих было прекрасное. И в это время вы встретили Климовского. Что же было дальше?

— Да ничего. Он уклонился от встречи, вот и все.

— А подробней никак нельзя? — вдруг спросил С. К. так сварливо, что Инга невольно рассмеялась.

— Ну что я могу сказать! Он нас увидел, на лице его не отразилось никакого удовольствия, и он перешел на другую сторону улицы. Вот и вся встреча.

— Сильно был он раздосадован, как вам показалось?

— Если правду говорить, порядочно.

— Хорошо. — Движением самым домашним он завалился локтем на стол, подпер голову ладонью и начал: — Я хочу вам рассказать, как идет у меня расследование этого дела — о самоубийстве Екатерины Павловны. На первый взгляд оно не представляет никакой загадки и, извините меня за профессиональный цинизм, никакого интереса для юриста. Екатерина Павловна была, конечно, человек психически не вполне здоровый, об этом четко сказала экспертиза, изучавшая дневник. Записка, оставленная ею, написана ее собственной рукой и сомнений тоже не вызывает. Но нас со Всеволодом — он, если я не ошибаюсь, ваш друг? — поразило, как, впрочем, и всех, появление этого самого никому не известного мужа. Он пришел к нам сюда, принес ее дневник, на редкость, кстати сказать, интересный, много говорил нам о его духовной близости с женой. Но вот мы стали замечать некоторое, как бы это сказать, расслоение между его культурным уровнем и культурным уровнем Кати, более того, мы убедились, что он подчас просто не понимает, что она пишет. Вот тогда уж возникло сомнение и в их духовной близости.

— Но ведь он сам очень интеллигентный парень.

— В этом, по правде сказать, мы тоже засомневались. Но дело совсем не в том. Перепад культурных уровней сам по себе ни о чем не говорит и препятствовать любви, разумеется, не может...

— Вы это говорите, чтобы доставить мне удовольствие? — спросила она, улыбаясь.

— К-к-конечно. Кроме того, я сам так думаю и даже в этом уверен. Нет, насторожило нас другое. Чисто фактическая сторона дела. Он говорил нам, что они с Катей уже несколько лет женаты, правда, расписались сравнительно недавно, но это потому, что они, и особенно она, не придавали этому никакого значения. Поверим. Но почему-то, когда Катя получила новую квартиру, они вот именно что расписались.

— Надо же было ему где-то быть прописанным!

— Раз-з-зумеется. Но вот что меня удив-в-в-в...

У него заскочило слово, он стал помогать себе бровями, и только тут Инга заметила, как сильно он заикается.

— ...в-вило. В течение тех четырех лет, что они с Катей будто бы были женаты, во-первых, их никто вместе никогда не видел, на прежней квартире — коммунальной — он никогда у Кати не был, а во-вторых, в течение этих четырех лет у него было несколько очень бурных романов.

— Он мне рассказывал про какой-то роман с молодой девушкой, которая его люто ненавидит.

— Ну, это их дело. Интересно другое: эта девушка была

дочерью знаменитого драматического артиста. Климовский пошел в атаку очень бурно, девушка была влюблена без памяти...

— Что же в этом худого? Он тоже был в нее влюблен.

— Я прошу вспомнить, что в это время он уже был женат на Кате. Будто бы. Итак, роман с дочерью знаменитого артиста. Он резко поставил вопрос о московской прописке. Девушка была загинотизирована, как кролик удавом. Она стала вести себя очень странно, грозила подать в суд на раздел площади. Чувствуя свою силу, Климовский ставил жесткие условия, но папа все же оказался сильнее. Словом, тут отбились.

Он внимательно смотрел на нее.

— А, понимаю, — сказал он удовлетворенно. — Вы сейчас думаете: двое, мол, любили друг друга, но вмешались родители и грубо их разлучили. Могло быть и так, но вся беда в том, что у Климовского буквально через неделю — я проверял по дням — возник роман с женщиной лет за сорок. Это была интеллигентная женщина-искусствовед, и была у нее прекрасная квартира, где Климовский, говорят, очень скоро стал полновластным хозяином. Бедная женщина-искусствовед спала с лица, начала хворать, но, по счастью, у нее тоже были родственники — брат и взрослые дети, которые, объединившись, выдворили его из квартиры.

— И все это может быть доказано?

— Документально. И каждый раз вмешивались родственники. — Он помолчал. — У вашей Кати родственников не было.

Инга молчала. С. К. с любопытством смотрел на нее.

— Вот почему, — прибавил он, — я не поверил, когда вы сказали, что Климовский не пытался за вами ухаживать.

— У меня нет отдельной квартиры, — сказала она, усмехнувшись.

— Э, тут дело совсем не так просто. Ему хочется не только закрепиться в Москве, ему нужно попасть в среду знаменитостей, в интеллектуальную элиту. Катя, которая к ней, несомненно, принадлежала, не хотела его туда вводить, уж не знаю, по каким причинам, но не хотела. А вы — дочь Сушилина...

— Но при чем тут дело о самоубийстве? Не хотите же вы сказать...

— Я еще пока ничего не знаю. Единственно, что я сейчас могу сказать с точностью, что в этом молодом человеке соединилась огромная энергия с такой же огромной жадной жить за чужой счет. Не в смысле денег, нет, он их шутя зарабатывает разного рода халтурой. У него, если я его правильно понимаю, страстная жажда жить жизнью талантов, дышать атмосферой одаренности, в то время как у него самого... Кстати, он когда-нибудь вам показывал свои стихи? Видите, как интересно. Все знают, что он пишет стихи, и в слесаря-то потому и пошел, чтобы ничто не мешало ему писать стихи, только вот стихов его никто никогда не слышал. Так вот, этот парень соединяет в себе бешеную энергию и — я думаю, не ошибусь — совершенное бессердечие.

Инга задумчиво покачала головой.

— Мне этого не показалось. Напротив, он внимателен, он слушает, сочувствует.

— Когда вы с ним виделись?

— Сегодня.

— Вы ничего не говорили ему про полученное письмо?

Она мрачно на него посмотрела.

— Это то самое, которое я самой себе написала на своей собственной машинке?

— Нет, — ответил он невозмутимо. — Не то. А то, что было кем-то написано на вашей машинке и опущено в ваш почтовый ящик неизвестно чьей рукой.

Ну, ладно, она больше не станет с ним бороться, будь что будет, а у него славное лицо.

— Я, конечно, рассказала ему про письмо. Он выслушал меня не только с участием, он был просто взбешен!

— Да? — С. К. был заинтересован. — Расскажите подробнее.

— Сегодняшняя встреча была как раз малоудачна, мы поговорились — почти.

— Из-за чего?

— Из-за чего я теперь со всеми рассорилась — из-за Елисеева. Клим по природе своей, я думаю, ужасно ревнив — знаете, бывают люди, которые не столько любят, сколько ревнуют. Он так и взвился, как только я заговорила о Елисееве, и стал меня убеждать, что он и есть убийца.

— А он-то откуда знает?

— Ну, во-первых, Катя рассказывала ему про обед.

— Он так и говорил, что про обед ему рассказала Катя? Вы это точно помните? Но ведь вы сами знаете, когда в вашем доме происходил тот самый обед, Кати уже давно не было в живых.

Она была растеряна.

— Ну... ему мог рассказать кто-нибудь другой. Ляля Дунаева, например. А он потом спутал...

— Сейчас мы это дело п-п-проверим. У вас есть телефон Дунаевой? — Инга помнила его наизусть. Шимановский набрал номер. — Елена Владимировна, — сказал он. — Это Шимановский, здравствуйте. У меня к вам вопрос. Вам знаком такой молодой человек по фамилии Климовский? Владимир Николаевич его зовут. А... И, если не секрет, как вы с ним познакомились? Мои вопросы, как вы понимаете, носят сугубо частный характер.

Он долго слушал рассказ, время от времени ухмыляясь каким-то Лялиным хохмам.

— Так, — говорил он. — Так. Понятно. Да, он меня интересуется. Более чем.

Он положил трубку и некоторое время смотрел на Ингу, закусив верхнюю губу.

— Дунаева совсем не видела его с тех пор, как привела к вам. Познакомились они, когда он обивал входную дверь в ее квартиру и очень хорошо, говорит, обивал, артистически. Безумно, говорит, при этом кокетничал, на следующий день позвонил, напросился в гости, а когда узнал, что она вхожа в дом Сушилиных, весь, говорит, так и задымился. А лишь только она ввела его в ваш дом, так сейчас же про нее и позабыл.

— Пойдите! — воскликнула Инга. — Мы с вами упустили еще

один вариант. Ну, конечно, напрасно мы на бедного Клима. Ему рассказал Коробов.

— А разве он знаком с Коробовым?

— Да, не так давно я встретила их на улице.

— Любопытно.— С. К. покачал головой.— Любопытно. А, впрочем, мы с вами все это тоже проверим.

Инга и не заметила, как они оба стали говорить «мы с вами». Теперь она об этом не заботилась.

— Но вернемся к вашему разговору с Климовским. Итак, он убеждал вас в том, что Елисеев — убийца. Как же он это аргументировал — не обедом же?

— Нет, не обедом, а шагомером...

Она не закончила. Шимановский выпрямился.

— Ш-ш-шаг-г-г...— Он никак не мог выговорить, и стало видно, что он жутко заикается.

Инга растерялась. В самом деле, откуда Клим мог знать про шагомер? Ведь она не говорила про него никому ни слова.

— Уж про эт-г-то он не мог у К-к-коробова,— сказал Шимановский.— Это з-з-значит, что у него есть своя информация.

— Слушай,— сказала Инга, когда они с Севкой шли из прокуратуры,— я должна выяснить все это сама. Понимаешь, никто, кроме меня, не может этого сделать. А я боюсь.

«Легко могу себе представить»,— подумал Севка и сказал вслух:

— Так что ты предлагаешь?

— Он все просил меня написать ему письмо, вот я ему и напишу. И буду с ним говорить. Но ты... ты сиди в соседней комнате.

Ей было не по себе: она привыкла говорить с людьми открыто, а тут придется запереть свою душу на замок, и что толку? Клим чуток, он разом это почувствует. Нет, тут не запирается нужно, тут нужно как-то внутренне перестраиваться, чтобы слова, которые не твои, выглядели бы твоими. Кажется, именно это и называют лицемерием?

— А как у вас с Сергеем Константиновичем,— спросила она,— получается в вашей работе с этими вашими ловушками?

— Был у нас с ним однажды такой разговор, о лжи и ловушке в работе следователя. Он мне сказал так: мы не имеем права лгать и можем расставлять только такие ловушки, которые опасны одному лишь преступнику, а порядочному человеку вреда принести не могут. Ну, например, если следователь говорит человеку: на месте преступления нашли отпечатки твоих пальцев, а это ложь, подлость, то это вред: человек приходит в отчаяние, перестает соображать и подписывает, что ему дают. Позор в работе следователя. А допустимые ловушки... Почитай, сказал он мне, какие ловушки расставляет Раскольникову Порфирий Петрович, я потом посмотрел: да они такие, что в них может попасться только Раскольников, остальные люди их даже не заметят. Вот и у нас с Климом...

Клим позвонил на следующий же день (она даже не успела ему написать), сказал, что счастлив был бы видеть ее у себя.

— Нет, нет,— сказала она,— приходите к нам.— И подумала: к Сушилиным без Сушилиных.

Инга заглянула в кабинет.

— Надеюсь, он не станет меня сразу душить? — спросила она. Севка сидел и читал взятую с полки книгу.

— Будем рассчитывать на его интеллигентность,— ответил он, подняв голову и улыбаясь.

Ей не сиделось и не стоялось, она вышла на балкон.

Солнце шло к закату, на него напозднили синие облака, края их пылали золотом, словно бы их обожгла молния. «Вот наконец и я участвую,— думала она.— Вот и я работаю».

И тут в передней раздался звонок.

Клим пришел веселый и с цветами — пятью одинаковыми темно-красными, почти черными розами.

— Где у вас ванная? — озабоченно спросил он.

Выйдя из ванной, он высоко держал розы, и они были в водяных каплях, таких крупных, что в них отразились комната и окно с синими, обведенными молнией облаками.

Инга сделала над собой усилие и сказала сдержанно:

— Заходите, Клим, нам надо поговорить.

Эта первая фраза была у них заранее приготовлена и согласована. Зато как не согласована она была с розами в крупных водяных каплях! Как не согласована с его мальчишеской радостью, с его удивленными ореховыми глазами.

Он внимательно взглянул на нее, тотчас положил розы на стол и пошел следом за ней в гостиную.

— Клим,— начала Инга, не глядя на него; она ходила по комнате, а он сидел в кресле и водил за нею глазами.— Клим! Я много думала над нашим последним разговором. И должна вам сказать, что была в нем одна вещь, которая меня... поразила.

Она вдруг остановилась перед ним.

— Я хочу знать, откуда вам известно о шагомере?

— Что такое?

— Я хочу знать,— повторила она так же жестко,— откуда вам известно, что шагомер был найден возле нашей дачи.

Он приподнял плечи и по своей привычке поискал глазами где-то наверху.

— Господь с вами, Инга, вы же сами мне об этом сказали.

— Я вам никогда этого не говорила!

— Но вы забыли, вспомните! В том ресторане в тот самый день.

— Но этого никогда не было!

Он отвернулся и сказал стене:

— Боже мой, что делает с женщинами коньяк.

Клим сидел и тихонько раскачивался, глядя перед собой невидящим взглядом. «А что, если я и в самом деле что-то напутала,— думала она,— что, если я в самом деле на минуту потеряла над собой контроль...»

— И еще один вопрос,— сказала она, чувствуя, что безнадежно

но проигрывает. — Откуда вы узнали о том обеде, на котором произошла ссора?

Он тяжело вздохнул.

— На днях я уже был в прокуратуре и получил свою порцию допросов. У вас, признаться, я надеялся от них отдохнуть.

«Но он же прав! — с ужасом думала она. — По живому режу!»

— И все-таки? — В ее голосе не было никакой уверенности.

— Ох, теперь уж и не припомню, — сказал он устало. — Сперва я думал, мне рассказала Катя, но потом вспомнил, что к тому времени ее уже не было в живых. Надо думать, Коробов, ведь он весьма болтливый господин. Вы знаете, — прибавил он вдруг, — я, пожалуй, пойду. Мне сегодня... нехорошо что-то на душе.

Он постоял, подумал и вышел в переднюю. Кивнул на дверь кабинета.

— У вас там... нет ли кого? — спросил пренебрежительно

Когда дверь за ним захлопнулась, она кинулась к Севке.

— Что это было? — твердила она. — Что это было?

А он и сам не мог понять.

Тут она не выдержала. Все это время как-то удавалось ей держаться, а тут не удалось: она разрыдалась, выкрикивая сквозь рыдания:

— Я уже больше не знаю, кто друг... кто враг... кто меня спасает... а кто хочет убить!

На столе в гостиной лежали черно-красные розы. Они были такие свежие и упругие, что не лежали даже, а стояли, топорщась на листьях. И все еще дрожали на них крупные капли воды.

С. К. был не в восторге от их демарша.

— Теперь нам придется спешить. Ведь он сейчас — что? Он же м-м-м-места себе не находит. Сперва встреча с тобой на лестнице, и это после того, как он успокоился и решил, что следствие прекращено. Потом допрос, который показал ему, что нами изучена вся его подноготная. И, наконец, обмолвка о шагомере. Он, конечно, тот их разговор вспомнил. Так и сяк, каждое слово, а потом, наверно, решил, что она не заметила: она ведь и в самом деле не заметила. И если и заметила, то есть у него простое объяснение: оба... выпили, он немножко спутался, она не все помнит... И вдруг такой удар.

— А как вы думаете, как он поступит?

— Не знаю, — задумчиво сказал С. К. — Не знаю. Его трудно прогнозировать, он человек нервный. Во всяком случае, с Инги глаз не спускать. Я хотел подождать с обыском, а теперь придется идти.

Севка доложил, что уже разговаривал с Никитой и с теми из ребят, кто в городе, — они собираются, чтобы договориться о дежурствах.

Да, ночью Инга была одна (когда с ней Нелли — не так страшно, но у Нелли ночная смена), одна в огромной квартире. Замки на двери надежны, есть еще и поперечный болт (мамина забота), вот уж никогда не думала, как он будет нужен. Сперва

ей хотелось зажечь свет во всех комнатах, а потом, когда представила себе, как в ночи будет светиться одна только их квартира, это показалось еще страшней. В полной тьме залезла она в постель и накрылась с головой.

Заснула Инга тотчас же, как видно, от усталости, а ночью ее разбудил стук. Она вскочила, прислушалась. Тишина. И снова громкий стук! Кто-то резко стучал костяшками пальцев в окно гостиной. Черная темень и стук в окно четвертого этажа.

Она кинулась в ванную, заперлась там на хлипкую задвижку. «Вынут стекло, это просто», — думала она. Стук прерывался, потом снова начинали стучать. Так и простояла она до рассвета, прислонясь к холодному кафелю.

Утром, созвонившись, она отправилась в прокуратуру к Севке, к Дронову, она понимала это, обращаться бесполезно, он не верит ни единому ее слову.

— Итак, под окном стоит ясень, — сказал С. К. Севке, когда Инга ушла. — Пойди посмотри, мог ли взрослый человек добраться до окна так, чтобы в него постучать.

Когда Инга, возвращаясь, увидела возле дома красные машины и мужчин в касках, она разом поняла: горит их квартира. Да, дым шел из окон гостиной.

В подъезд ее не пустили, и она стояла вместе с другими, смотрела, как валят черные клубы, и думала: «Это горит рояль, горят белые кресла». Пламя уничтожало основу ее жизни, пол под ногами, крышу над головой. Кому-то непременно надо выжить ее с земли. Захватил ли огонь кабинет и спальню родителей? Уничтожает ли он и память о них? Она впервые почувствовала, что готова сдать: если кому-то это так уж нужно, она может уйти из жизни, ей сейчас это было бы куда легче, чем жить.

Пожарная лестница дотянулась до четвертого этажа, тащатся шланги, суетятся пожарные. Пламени не видно, но дым валит всюду.

Кто-то стоит рядом, совсем близко — Нелли, только она и рядом. Они стоят, прижавшись друг к другу. Когда им разрешили войти в квартиру, Нелли крепко взяла ее за руку; так, держась за руки, они и вошли.

Их обдало гарью, горячий, терпкий воздух рвал горло, глаза залило слезами. Огня уже нет. В гостиной на полу вода, в ней плавают хлопья сажи. Стоит пепельный рояль и черные кресла.

— Смотри! — кричит Нелли и показывает на французские часы.

Бонапарт протягивает пустую руку, в ней нет короны.

— Смотри! — вопит она еще отчаянней.

Инга оборачивается и вздрагивает от ужаса. Портрет Орловой! У нее выколоты глаза, разорван рот, в нем торчит окурок. При ее пудреном парике, военной выправке и орденской ленте эта дикая маска смерти особенно страшна.

— Пойдем, пойдем отсюда, — шепчет Нелли и, обняв за плечи, ведет в кухню, куда огонь не проникал.

— Горячего кофе, горячего кофе, — бормочет она, лихорадочно чиркая спичкой.

Они вошли в незапертую дверь, постояли в гостиной, обошли квартиру, собственно, только гостиная и выгорела, дальше пожарные огня не пропустили, причину пожара определяют эксперты. Вернулись в гостиную, остановились перед портретом.

— Вы не будете возражать, если мы возьмем его на экспертизу? — спросил С. К.

Инга кивнула. Она была очень спокойна, и С. К. на нее взглянул с особым вниманием.

А ночью раздался телефонный звонок. Нелли спала как убитая в спальне Сушилиных, к телефону подошла Инга. Братъ трубку или не брать? Страшно было, но страшнее в ее жизни уже ничего быть не может. А вдруг что-то важное, чего упускать нельзя.

— Сушилина, — сказал в трубке давленный, сиплый, явно подделанный голос, — ты не дрейфь, Сушилина, не дрейфь. Будет порядок. — И тут же раздались частые гудки.

Что это — издевательство или сочувствие? Она была спокойна, однако заснуть уже не могла, лежала, пыталась что-то сообразить. Нелли тоже поднялась рано, они вдвоем принялись убираться, потом Нелли убежала на работу, а Инга все таскала и таскала в туалет черную воду.

С. К. сидел за столом у книжных полок и по листочку разбирали бумаги, вынутые из ящика.

— Все равно вы ничего не найдете, — говорил Климовский.

Он стоял у стены, привалился к ней плечом, стоял в свободной позе отдыхающего спортсмена, легко оперев свою большую кисть ниже пояса, о бедро.

— Найдуюууууу, — тянул С. К., не отрывая глаз от очередной бумаги.

— И ничего вы никогда не докажете.

— Докажууууууу, — так же бодро и невнимательно тянул С. К.

Климовский усмехнулся и лениво повернул голову: в дверях стоял сотрудник розыска.

— В кухне и в чулане ничего, Сергей Константинович, — сказал он.

— Еще бы, — насмешливо сказал хозяин квартиры.

— Книги там какие-нибудь есть? — спросил С. К.

— Лежит стопка.

— Перелистайте каждую, встряхните, нет ли чего между листов.

У стены на стульях сидели понятия.

— Товарищ следователь, — сказала молодая дворничиха, — скоро нам идти?

— Скоро, скоро, — ответил С. К. невнимательно.

— Скоро! — насмешливо откликнулся Климовский. — Вы здесь будете еще сутки, извините меня, торчать с этой вашей любовью рыться в чужих бумагах. О господи! Все равно ведь вы ничего не найдете!

— Найдуюуууууу, — тянул С. К. все так же бодро и невнимательно.

Климовский все больше раздражался.

— Пусть я всыпал полкило цианистого калия ей в чай,— сказал он.— Что вы докажете, если есть ее записка?

— Дока...— машинально начал было тянуть С. К. и вдруг умолк. Он внимательно читал какую-то бумагу.— Товарищи понятые, подойдите сюда.

А потом поднял глаза на Климовского и сказал с удовольствием:

— Вот я и нашел.

А Севка со своими бывшими одноклассниками и с Никитой распределили обязанности по охране Инги.

Знали бы они, как безнадежно они опоздали.

ГЛАВА V

Машина шла по шоссе, наверное, около часа, а потом свернула на глухую дорогу, в темный еловый лес.

Когда в переулке, которым Инга обычно ходила домой, ее схватили, согнули только что не пополам, очень больно, подняли и запихали в машину, она тотчас поняла: дошла очередь и до нее, придется погибать. Справа и слева от нее плюхнулись на сиденье два парня, один из них сказал: «Тихо».

Машина сильно кренилась в колее, подскакивала на корнях, пересекавших дорогу. Двое парней, лиц которых из-за поднятых воротников и надвинутых кепок она не видела, казались ей очень молодыми, как и шофер за рулем. Они трое сидели тесно, вся она оцепенела от чувства беспомощности, все тело ее с ног до головы чувствовало эту незащищенность, словно не было на нем одежды. Она крепко скрестила руки на груди. Уж не сон ли это, может быть, удастся проснуться? Но парень слева придвинулся к ней ближе, как бы напоминая, что это не сон. Волна омерзения залила ее, омерзения и страха.

А машина уже стояла перед деревянными воротами. В небе еще день, а тут, внизу, темно от огромных елей.

Они вылезли, ворота открылись, за ними оказалась большая дача, ветхая, как старый гриб, дорожка под толстым слоем вековой ржавой хвои, по этой хвое ее и повели к даче, держа под руки; ввели на крыльцо, завели в какую-то комнату и оставили одну.

А потом послышались шаги. Странно, словно бы женские, стук каблуков. Не поднимая глаз, она увидела что-то, еще более странное: по дощатому шаткому полу шагали ботфорты с маленькими светлыми шпорами. Она чуть подняла глаза — да, дамские ботфорты, виденные ею только в зарубежных журналах мод, в России, конечно, ни у кого еще таких нет. Иностранка? Над ботфортами были сетчатые колготки, очаровательная мини-юбочка, черный свитерок, цепь на поясе, цепь на шее. Светлые кудри. И вдруг ей показалось, что это Нелли. Боже мой, Нелли! Горячая волна счастья залила ее: это маскарад? И сейчас все объяснится?

Но нет, сходство самое поверхностное. Это не Нелли, ничего

общего с ее круглым пшеничным лицом, на котором просеяны светлые веснушки. У этой лицо худощавей, под великолепным макияжем, глаза, обведенные угольно-черным, горят, как у ангорской кошки, и угрюмы.

Иностранка протянула руку и разжала пальцы. На ее ладони лежала маленькая императорская корона.

— Я ушки ему протираю,— сказала иностранка.— Я вам покажу «ушки».

Но это-то уже явно был сон, и что за «ушки»? С ними тоже что-то связано? Они ведь тоже из какого-то сна?

— Два года ждала я этого часа,— сказала иностранка,— и вот дождалась.

Фраза была явно заготовлена, может быть, именно два года назад? Истина стала медленно проступать в сознании Инги: оборотень?

И мир для Инги стал переворачиваться, или, нет, это раньше он был перевернут, а теперь становился, как ему положено. Мысль ее, как огонь по бикфордову шнуру, мгновенно побежала по жизни назад, догадываясь и все расставляя по местам. Все тайны и загадки. Оборотень. Всегда с самого раннего детства самыми страшными были для нее сказки про оборотней.

— Ладно, сядем,— сказал оборотень, глаза его были по-прежнему угрюмы.— Жить тебе осталось недолго, скоро ты встретишься со своей мамочкой и со своим папочкой тоже. Ты меня знаешь, я человек религиозный, верю в загробную жизнь. Смотри,— предупредила она, усмехнувшись,— на том свете на меня не ругайся.

Они продолжали стоять.

— Я сейчас расскажу тебе, как дело было,— сказала Нелли, это все-таки была она.— Постараюсь успеть.

«Если я все равно умру, зачем же рассказывать? — подумала Инга.— И что это значит: «постараюсь успеть»,— у нее есть какой-то срок?»

Только сейчас она поняла, что смерть ее — реальность и что она близка. Нет, смерти она не боялась (переступить, и все), она боялась пытки, до отчаяния, до обморока. «Только не это! — хотела она крикнуть.— Вспомни, мы были вместе, не надо, ради Бога! Все что угодно, только не это!» Она чувствовала, что в глазах ее как-то темно, что она вроде бы тонет, уходит на дно, что колени ее гнутся, она сейчас упадет на них. Нелли вглядывалась в нее с любопытством, и этот ее взгляд заставил Ингу сделать отчаянное усилие и всплыть со дна. «Разве так умирал отец? На коленях?» — вдруг подумала она. В конце концов это всего только Нелли.

— ...в первый же день,— говорила Нелли. («Что это значит? Ах, да, первый день ее прихода в их дом, кто ее привел, теперь уж и не вспомнить».) — Как увидела я эти ваши белые кресла в цветах, сразу же подумала: «Разору!» Но это несерьезно тогда было, просто так, детство одно. Я тогда себя успокоила. Подумала: «Нет, зачем, в этом доме интересно...»

Теперь Инга знала, какой тактики держаться: полное равнодушие. Она даже решила было вовсе не слушать, отключиться,

и все, не доставлять этой подобного удовольствия, но почему-то знала, что обязана слушать и запоминать. Да, перед смертью — она приучала себя к мысли о ней — все досмотреть до конца.

— Интересно было в вашем доме. И, представь себе, я его полюбила, и обеды эти по средам, и Клавдию Васильевну, и как мы с ней потом фарфор протирали. Можешь ты это себе представить?

Инга полуприкрыла глаза, показывая тем самым, что ей до смерти скучно, — единственное, чем могла она сейчас защититься. И Нелли, разумеется, тут же вскипела:

— Но я знала, знала, что я для вас вроде кошки или собаки, вы и гостям меня показывали — смотрите, мол, какие у нее глаза умные, все понимает, только не говорит. И вот что меня огнем жгло: почему у тебя все есть, а у меня ничего нет? Ну, ладно, отец знаменитый, много получает, ну, ладно, Клавдия Васильевна работает как лошадь, и дома, и на даче, но ты-то, ты! Бездельница ведь, какие-то там дурацкие языки в дурацком институте, а у тебя, бездельницы, плаща три, венгерский, английский и бельгийский, десять сумок, к каждому плащу своя. Что не туфли, то фирмá. Помню, ты в новой меховой куртке и новых сапогах, таких я и не видывала, куда-то уходила, я выбежала в переднюю, ах-ах, куколка ты наша, киноактриса, а про себя думаю: «Ну, погоди, куколка, я тебе устрою». Веришь ли, только этими мыслями я и жила, только ими и спасалась, а то разорвало бы меня к чертовой матери, честное слово. Постой, я сейчас.

254

Она выскочила за дверь и тотчас вернулась с сигаретами и зажигалкой. Кто там есть еще, на даче? Сколько их? Нелли чиркнула зажигалкой («Удивительно идет ей макияж», — подумала Инга) и затянулась.

— А как в среду гости к вам придут, так — матушки мои! Чего только не наслушаешься! Ах, рукописи не горят! Что же вы, мать вашу, врете все время себе и другим? Горят они, горят, вместе с глупыми головами, которые их выдумали.

Она остановилась, чтобы успокоиться.

— Ну, я не о том. Однажды Клавдия Васильевна, царствие ей небесное, решила как-то особенно меня гостям показать, она, мол, у нас к культуре приобщается, по Золотому кольцу ездит, в Суздале была, и все это, с моим самолетом нисколько не считаясь. Но мне вдруг стало очень весело. Во-первых, в Суздале я сроду не была и никогда не буду, путеводитель по Суздалю купила специально для вас в переходе метро. А весело мне стало потому, что я вдруг поняла: это не я дура, это вы у меня в дураках. И еще я поняла тогда: открывается мне, не знаю, как тебе сказать, новая, счастливая, светлая жизнь.

Инга уже давно поняла, что это за счастливая жизнь, но перечить не стала, боясь, что Нелли замолчит. «Сейчас-то она наслаждается, рассказывая, ну а вдруг усмотрит новое наслаждение в том, чтобы ничего не рассказывать? Но неужто про все два года будет с такими подробностями», — с тоской подумала она.

— Помню, однажды, — продолжала Нелли едва ли не мечта-

тельно, — ты мне свой старый свитерок подарила, подала на бедность. — Инга помнила, свитерок был отменно мил и едва ли два раза надет (как тогда Нелли сияла и тотчас, розовея, примерила, как прыгала перед зеркалом!). — Ну, думаю, уж этого-то я тебе вовек не прощу. А ты знаешь, кто мы такие? — спросила она вдруг. — Мы теневая экономика, те самые, кто добывает грязные деньги, а потом отмывает их добела и очень хорошо живет. Но мы в общем-то смешанные. И крутые у нас есть. А есть у меня еще и своя команда, малолетняя, но очень активная, мальчишки — ого. Ты читала? Освобождение личности начинается с секса. Но о сексе опосля, как говорит твой Никита. Так что деньги у нас есть, только показывать их боязно, нельзя, нагрянут менты и прочее. Но я, конечно, не о том.

Тон у нее стал деловой. Она глубоко затянулась сигаретой.

— Итак. Я решила разорить ваше гнездо, уничтожить ваш дом. А как только я это решила, веришь ли, почувствовала в себе какую-то необыкновенную силу. Чтобы ты это поняла, я тебе расскажу сейчас про одного нашего парня, не из пацанов моих, из взрослых.

«О господи», — подумала Инга.

— Ничего, — тотчас откликнулась Нелли. — Без этого ты меня не поймешь. А мне надо, чтобы Инга Сушилина, хотя бы и в свой последний час, поняла бы меня наконец.

«А где же стоит эта дача? — тем временем думала Инга. — Это лес? Глухомань? Или все-таки недалеко от шоссе, от жизни? И может ли откуда-нибудь прийти помощь? — Ей вспомнился ночной телефонный звонок. — «Сушилина, не дрейфь». Может быть, это был друг? А Севка и его славный начальник, неужели же они бросили ее на произвол судьбы?..»

— Почему ее телефон не отвечает? — спросил С. К. — Сколько времени звоним.

— Она сегодня обязательно будет дома, — ответил Севка. — И, слава Богу, не одна: Нелли эта их тоже должна прийти. С Никитой и другими ребятами договорено, сегодня ночью будут двое.

Как назло, дел у них в прокуратуре было невпроворот, ночью они выезжали на убийство, бытовое, алкоголичку убил сожителю, никаких загадок тут не будет, но будет немало писанины. Зато ограбление сберкассы было проведено профессионально, придется всем поломать голову, а ему, Севке, немало побегать по дворам и этажам.

Зашел Дронов, очень веселый, сказал:

— Ну, вышли мы на след этого самого Елисеева. Кстати, он не выезжал за пределы Москвы и Московской области. За ним и не такие дела числятся, помяните мое слово. — И ушел.

С. К. сидел и, подперев голову рукой, читал оперативные разработки по сберкассе.

— А кто такая эта Нелли? — спросил он вдруг. — Почему мы ее не п-п-проверяли?

— Я узнавал у Инги, кто она и что. Приехала из провинции, работала билетершей в кино, а потом нашла работу получше, на заводе электроламп. Да что там, она овца.

— Надо проверить, действительно ли на ламповом заводе работает данная овца. Кстати, как ее фамилия?

Севка Неллиной фамилии не знал, и С. К. нахмурился. «Сегодня же вечером все узнаю у Инги, — подумал Севка, — а завтра — на заводе».

— Так, значит, история этого парня, — говорила Нелли. — Вообще наши парни... — Она рассмеялась, вспоминая. — Однажды была я на вашей среде, сидела, как всегда, кисонькой, лапонькой, а ведь накануне ночью мы, между прочим, квартиру взяли, да, есть у нас и такая профессия. Я тебе скажу: это восторг! Представь,ходишь в богатый дом, все тут есть и все твое. В шкафу — любые дубленки, у зеркала — любая косметика, выбирай, что хочешь, хоть тени, хоть духи, и все даром. Представляешь, какое счастье? Примеришь кольцо, сумку, пока они там своими делами заняты, деньги, аппаратура, я — своими. Первым делом я кидаюсь туда, где сапоги и туфли. Нет, ты можешь себе представить — магазин-люкс, «Березка», и все бесплатно. Ну, да я хотела тебе рассказать про Игорька, время еще есть. Значит, так. Он из очень бедной семьи, отец — инвалид, крохотная пенсия, мать — медсестра, представляешь себе зарплату. Ужасная бедность, да к тому же отец из-за болезни своей нервный, шума не терпит, значит, в доме ни радио, ни телевизора...

«О, господи боже мой, ведь это она такую пытку мне выдумала. Или ей об этом в самом деле нужно рассказывать? И не о своем ли парне она рассказывает?»

— Когда ему было шестнадцать, он решил — видишь, он тоже решил, как и я, мы с ним похожи, оба волевые, — что будет брать банки, ну, кино посмотрелся. Однако он — очень умный человек, и тут такая штука: была в нем злость, сильная злость, это от отца, ну а от матери была сильная жалость к людям. И что же он удумал? Видела, как ребята тренируют ладонь, чтобы стала, как доска? Все время бьют ребром ладони по столу или по чем попало. Вот так он себя тренировал, свою душу. Куда Игорек пошел работать, как ты думаешь?

— В морг, — сказала Инга, которая теперь уже внимательно слушала.

— Умница. Именно в морг, чтобы привыкнуть к мертвым, не бояться их, понимаешь, и не жалеть. А потом? А потом он устроился на работу в крематорий, на шаровую мельницу, есть там такая, размалывает кости. Никто не знал, чем он занимается, он обаятельный парень, общительный, любит делать подарки, цветы дарить, носить чужие чемоданы. А? Как тебе?

И тут тоже она могла бы не продолжать, все понятно, но Нелли до смерти хотелось договорить. Конечно, это ее парень.

— Он рассказывает: когда вышел — а ведь все один делал, один! — на свое первое дело, убил таксиста, чтобы машину схватить, — это было на пустыре, кругом никого, он не торопился. Сидел рядом с мертвым, слышал, как каплет кровь, понимаешь, вытянул руку — ни один палец не дрожит. Ни один! Вот он был доволен! А когда он мне все это рассказывал, я поняла, что

я тоже вроде бы такую работу проделала за последние два года. Мои мальчишки, если кого поймают, тоже хорошее представление устраивают — секс-шоу. Я сперва боялась смотреть, а потом смотрела, даже понравилось. А теперь мне очень даже нравится. Никого мне уже не жалко. — Она выпрямила ногу, подтянула ботфорт и прибавила торжественно; — Вот это-то, чтобы ты знала, и есть самая настоящая свобода.

Страшная догадка вдруг пронзила Ингу.

— Отца тоже на эту дачу привезли? — спросила она.

— А как же, куда же еще, но об этом... — она помолчала, явно смакуя остроту минуты, — речь впереди.

— Но вот что меня сильно тревожило, — продолжала она, — так это мое лицо. Ведь только представь себе, как я жила: во мне разом две актрисы были, это очень интересно, но ведь можно попасться. У вас я играла такую простушку безотказную (а вы уж и рады были, убиралась на совесть и денег не брала), а ненависть в душе, ведь она не могла не отражаться в глазах, например, верно? Но тут была одна странность. Понимаешь, я, как актриса, настолько входила в свою роль, ну... как... словом, себя ту, другую, совершенно забывала.

Одно дело — мальчишки, другое — ваш дом. Не знаю, как тебе объяснить, ты не поверишь, мне хорошо было у вас, я с удовольствием у вас убиралась, работала. Иногда, правда, взбрыкивала.

А теперь давай рассудим, разве эти мои мысли не могли отразиться на лице — против моей воли? Я даже с Игорьком об этом советовалась, он сказал, что тут нужна специальная тренировка лица и глаз, как разведчики тренируются. Я так его поняла, чтобы порвать связь между лицом и душой, между душой и глазами. Помнишь, папа твой, и ему царствие небесное, просвещал меня насчет того самого Дориана, я его потом прочла, так ведь там...

Инга уже не в силах была слушать. В конце концов она уже дважды получила ответ на главный вопрос — об отце. Видно, жила в ней нелепая несчастная надежда... Теперь она знает, где он погиб, скоро узнает как. Где взять силы, где взять на это силы...

— ...единственная женщина. Да, я здесь единственная женщина, если говорить о постоянных, и большой, между прочим, авторитет. Так вот... Интересной жизнью я жила, не знаю, есть ли кто другой такой, как я. Сама же ставила спектакль, сама же в нем две роли играла. Сама строила, сама же разрушала. И никто этого не знал. Вот это и есть самое главное: я знаю, а ты не знаешь — от этого просто с ума сойти можно, так остро, ну, как когда с парнем кончаешь, честное слово. Кстати, мои мальчишки ко мне по списку ходят, но это ладно.

Она вдруг вся просияла.

— Ой, постой, я же тебе забыла про машинку сказать, меня же эта ваша Ляля чуть не застучала, честное слово. — Она засмеялась, по привычке прыснув в ладошку.

— Ты путаешь роли, — вдруг сказала Инга.

Нелли разом как бы замерла, пораженная такой дерзостью

поверженной и раздавленной. Глаза ее стали наливаться прежней угрюмой тьмой.

— Ничего, — сказала она с угрозой, — главную роль я... доведу до конца. Так я про машинку, — продолжала она, уже успокаиваясь, — у меня все было по плану. Вы же сами говорили, что я аккуратистка. Вот была у меня, предположим, цель, чтобы ты одна осталась, чтобы никто тебе не помог. Никита тебя обожает? Так тут сгодилась Баба Яга, вы вокруг нее стали прыгать, ты к нему доверие потеряла. Ой, никогда не забуду, как я тогда на дачу вашу приехала. Ребята в машине остались, я одна пошла. Ну и славно же я там убралась, распорядилась. Шагомер? Так положила, чтобы менты не затоптали и чтобы его заметили, нашли. Простыню повесила. Сперва тебе о ней рассказала, ну, думаю, увидит, задрожит... А вилка, вилка, помнишь? — Она вновь говорила, как подругка, которая вспоминает проказы детства. — Черная вилка у крыльца, это я придумала, еще когда ваша Ляля у вас про нее рассказывала. Все по местам расставила. Постой... — Она прислушалась.

Слышно было: во двор въезжает машина, видимо, грузовик.

— А, — сказала Нелли очень живо, словно только этого и ждала. — Сейчас покажу тебе что-то интересное.

Она потушила свет и отдернула штору. На улице было уже темно.

Во дворе стояли два крытых фургона, ярко светя фарами. Из их задних дверей выскочили грузчики и принялись вытаскивать какие-то туки.

— Второй фургон, — сказала сзади нее Нелли.

Из второй машины выпрыгнул высокий парень, ему сверху подали ящик, он принял его на плечо, донес до штабеля, куда стаскивали груз, легко дал ящику соскользнуть с плеча, поставил колено, чтобы тот не упал на землю, и поставил, куда надо.

Даже если бы она видела его только со спины, она бы его узнала, но он повернулся, и лицо его было хорошо видно.

Это был Саня.

Инга закрыла глаза. Это был Саня.

— Тут у меня работает, — небрежно бросила Нелли.

Открыв глаза, Инга почему-то ничего не увидела, ни окна, ни двора, потом почувствовала, что не в силах стоять, ощупью добралась до стула, села, обеими руками подперла голову, стараясь возможно глубже уйти в эту тьму, в обморок, только бы ничего больше не чувствовать и не понимать. И как бы хорошо из этой тьмы перейти в другую, вечную, умирают же счастливицы от ужаса, от горя. Она страстно этого хотела! Страстно! И даже у нее вроде бы что-то стало получаться...

Не тут-то было. Вспыхнул невероятно яркий свет, мучительный, беспощадный, такой, наверно, горел в тюремных камерах или лагерях уничтожения. И свет этот разом высветил ей правду о ее судьбе.

А Нелли — та не скрывает своего наслаждения, ей нужно обглодать своего врага до костей, полностью насладиться и уж потом пустить остатки под нож. У нее наверняка заготовлен

какой-нибудь затейливый способ с помощью ее мальчиков, они ждут уже где-нибудь неподалеку...

— Убери, пожалуйста, руки от лица, — сказала Нелли.

Инга не пошевелилась.

— Руки! — рявкнула Нелли.

Инга положила руки на стол и подняла глаза.

— Продолжим, — сказала Нелли. — Помнишь поминки? Я все готовила, зеркала завешивала, портрет покойницы повесила — поверишь, со слезами вешала, жаль ее все-таки было. Но что это по сравнению с чувством, что я тут хозяйка, владычица, что я сильнее всех цариц. Представить себе не можешь, какая я в тот день была гордая: какие люди кругом! И что же? Одна в земле лежит, другой на мертвеца похож и сам без пяти минут мертвец. И все-таки, Инга, как хорош он был, твой папа. Тогда, когда я решение принимала, у меня для него совсем особая роль отведена была, но об этом мы тоже попозже поговорим. — Она засмеялась и покрутила головой. — Нет, все-таки я не как все, честное слово, псих ненормальный, кто еще такое мог бы удумать?

— Ну, дом, конечно, без Клавдии Васильевны рухнул сразу же. Я все точно рассчитала. Матери у тебя теперь нет, парня у тебя теперь нет — тогда еще я не знала, куда он драпанул, ко мне работать он пришел позднее. Так бы я еще потянула, но тут вдруг слышу: Кирилл Викторович собрался уезжать за границу и тебя с собою берет. Нет, думаю, этому не бывать. И опять ведь все по-моему получилось. Операцию эту я, разумеется, тоже не могла бы одна проверить, тут уже включились все, не только мои пацаны, но и сами парни, но план ее разработала опять же я. За это, кстати, они меня и уважают. Ну, было, конечно, у меня преимущество, что я знала распорядок вашей жизни. Знала, что отец твой ездит на дачу машиной, которую водит лентяй ваш Иван Федорович. Один из наших позвонил ему и сказал, что в такой-то день он должен заболеть. Тот стал было возникать, но в конце концов заболел. Это значит: великий Сушилилин на лесной дороге от станции к даче шел один.

Итак, ты теперь и без папы. Как в кавказской песенке поется: папа нету, мама нету... Но ты еще держишься и даже бодро бегаешь в прокуратуру. Что я должна сделать? Ну, конечно, порвать твои связи с прокуратурой, согласишься, история с письмом на твоей собственной машинке была неплохо придумана. Следовательно этот ваш, как его, Дронов, он, как я и думала, мой крючок тотчас заглотал, тебе уже, что бы ты ни говорила, веры больше не было. Нет, сознайся, я все-таки умница. Да, а помнишь, как я тебя отговаривала: не читай со слезами на глазах. — Она расхохоталась, но внезапно вновь стала серьезной. — Но ты еще не сошла с ума, как мне иногда мечталось, еще не дошла до кондиции. Однако мысль о пожаре пришла не мне в голову, есть у нас такой смышленный ребенок. Когда мы гостиную подожгли — не знаю, что они там принесли, бензин или солярку, — и она уже полыхала, я позвонила по 01 из автомата, а через полчаса прибежала, запыхавшись, мы, помнишь, стояли рядом. Конечно, Орлову уродовали мои мальчи-

ки, они и корону обломали. Но главное мое переживание было, как мы тогда с тобой за руки держались. Вот где было... остро, горячо, не знаю, как сказать. Понимаешь, стояла я с тобой и думала: «Две руки, неразлучные, одна рука убийцы, а другая... доверчивая». Две руки, одинаково теплые... не знаю, как тебе объяснить...

— Хватит тебе объяснять, — сказал, входя, молодой парень в висячих венгерских усах.

Может быть, это и есть тот Игорек, что работал на шаровой мельнице?

— Хватит, все уже объяснила.

— Что это значит? — оскорбленно спросила Нелли. Она встала и стояла, расставив ноги в ботфортах со шпорами. Воинственно, но на самом-то деле, как видно, против него не сильна.

— Можно тебя на минуту? — миролюбиво спросил парень.

— Что там еще?

— Так на минутку же.

Ей явно жаль было прерывать разговор, для нее столь сладостный, и она оглянулась на Ингу, как бы проверяя, тут ли она и жива ли еще, но все же вышла из комнаты вслед за парнем. Инга осталась одна.

В дверях показался тот, кого она когда-то звала Саней и любила, сейчас незнакомый, в какой-то роскошной, сверкающей «молниями» куртке.

Инга отпрянула и прижалась к стене. Этот человек с его темным, недвижимым лицом был для нее куда страшнее Нелли. Вот где оборотень-то. Да нет, куда страшнее любого оборотня.

Пробегая мимо, он ухватил ее, как клещами, за запястье, грубо поволок к выходу.

Они обрушились с крыльца и побежали, но не во двор, к воротам, а по еловой аллее. До ворот было близко, а они мчались куда-то во тьму в прелой духоте по хвойному скользкому настилу; сбоку прочернело что-то, кажется, разваленная беседка. Он бежал, как спринтер, так быстро, что, упави она, ее бы, наверное, вслед за ним несло по воздуху. Но она не падала, она гнала во всю длину своих ног, ни одну стометровку она никогда так не бегала. В ушах ее выли какие-то голоса, или это ей так казалось?

На калитку они в темноте едва не налетели; густо заросшая, она была приоткрыта. На дороге светлела машина с распахнутыми дверцами. Большая, вроде бы «Волга».

Оба одновременно упали на сиденья, одновременно стукнули дверцами. Но, прежде чем взвыл мотор, она услышала — и тут уж ошибиться было невозможно — вопль, раздавшийся с дачи, прямо какой-то нечеловеческий, звериный вой.

А лесная дорога уже владела машиной, делала с ней, что хотела, кидала ее и валяла — то в правую, то в левую колею, была в дно корнями, проваливала в колдобины. Инге показалось даже, что автомобиль вдруг встал на дыбы и прыгнул вперед, как пантера, она закрыла глаза, слышала такой страшный удар в дно, что он уже не мог пройти бесследно, их обоих повалило набок; когда она открыла глаза, машина шла в обочине одними правыми колесами; потом стала на все четыре, взяла было

скорость — мимо замелькали деревья, — но водитель рванул ручку тормоза, и они разом остановились, чтобы медленно перевалить через корни. Очень медленно — о боже, как медленно! — перевалили они через эти огромные корни. И ухнули в яму. Мотор взревел, казалось, колеса буксуют, машина рвалась и вырвалась.

Нет, дорога не была всеильна, шла борьба между нею и руками, держащими руль. Руль рвался из этих рук, а они вырваться не давали. Водитель бешено крутил его, скалясь и беззвучно матерясь.

Боже мой, еще бы минута... Да, еще бы минута, и они налетели на гнилой пенёк, вылезший едва ли не на середину дороги, пришлось опять сбрасывать скорость и объезжать. Вдруг «Волга» замерла, водитель сидел недвижно и смотрел в зеркальце дальнего вида. Сзади за деревьями вроде бы мелькнул свет фар.

Да, там шла машина.

Он снова двинулся вперед, и на этот раз их уложило в правую колею. Инга оглянулась, фары стали ближе. И тут она увидела, что их «Волга» провалилась куда-то правым колесом и стала намертво. Шофер жал на газ, машина дрожала, редела, но сдвинуться не могла. «Вывези, вывези!» — молила она, словно «Волга» была лошастью. Рев мотора становился все сильнее. Теперь водитель пытался вывести ее из ловушки задним ходом — рычим, дрожим, трясемся, — безрезультатно. Сидим намертво.

Преследовавшую их машину уже можно было различить. Ее тоже кидало и валило, но она двигалась, и неизвестно, сколько в ней народу. Если там Нелли. Так она... на таран пойдет.

Надо бы подложить под колесо доску, да где ее возьмешь? Еловые лапы кругом — так нет же времени! Водитель выскочил из машины, рванул на себя «молнию», скинул куртку, бросил ее под правое колесо — и вот уж он снова за рулем. «Волга», подавшись назад, по толстой коже, влезла на корень и медленно опустилась с другой его стороны. Они снова в пути; как по морским волнам, но лавируют ловко и продвигаются быстро.

Шоссе! Выхав на него, они оглянулись на лесную дорогу; огонь фар, еле видный, стоял на месте. Водитель кивнул, вернее всего, сидят на том же пне. Все-таки на такой дороге шпане за профессионалом не угнаться.

Теперь «Волга» шла на бешеной скорости, только перед постом ГАИ притихла и проползла с подобострастием. «А на чьей он машине? — подумала она. — И есть ли у него права?»

Она представления не имела, по какому шоссе они мчат, на север от Москвы или на юг, даже и того не могла сообразить.

Показалась речка, по ней брел туман, и вдруг она вспомнила ту, первую их дорогу. Шоссе, черный лес, сквозь него гаснет вечерняя заря. Блики от встречных фар на лице незнакомца. Сейчас она куда меньше, чем тогда, знает, кто он такой и куда ее везет.

Речку они давно проехали, пролетели мостик, вроде бы чем-то знакомый. Может быть, они на кольцевой?

Направо в тусклом свете фонарей показалась труба, как бы сложенная из черных и белых колец, похожая на гигантскую детскую игрушку. Неужели сейчас будет поворот, а потом пруд... Она заметила, что он быстро взглянул на нее.

Нет, увы, никакого поворота, никакого пруда. Она не узнавала местности. Но, боже мой, вот они, и поворот, и пруд за ним уже смутно виден, да и сама дача была бы видна, если б не ночь.

Дачи не видно, но сквозь громаду деревьев мелькнул свет.

Машина, не сбавляя скорости, мчала прямо к даче.

Да, на веранде был свет.

Что это может значить?

Надежда, которая, оказывается, всегда живет в глубинах нашего сознания, спит, не умирает и вдруг бурно просыпается сама собой вне нашего сознания и воли, — безумная надежда вспыхнула было в Ингиной душе. И разом угасла.

Это обыск. Это обыск или еще что-нибудь, столь же унижительное. Ее привезли на какую-то дурацкую очную ставку. Вот и ворота открыты. «Волга» медленно въехала в сад.

Инга шла каменной дорожкой к дому, на крыльце которого кто-то стоял. Она разом узнала: это отец — и закричала от ужаса и упала на камни. Только не это, только не это, лучше бы смерть.

Он сбежал вниз, заставил ее встать.

— Посмотри на меня, — твердил он, — посмотри на меня!

Дрожащими руками ощупывала она его лицо, глаза и кисти рук. И только тогда прижалась к нему, как в детстве.

— Я припадочная! — рыдала она. — Мне почудилось... Это было так страшно!

— Я цел, цел, — уговаривал он ее, прижимая к себе, как ребенка.

Инга подняла на него опухшие, залитые слезами глаза. Да, лет на двадцать старше, да, лицо почернело и в ссадинах, но точно такое же, каким было всегда, — самое очаровательное лицо на свете.

Она вдруг как бы очнулась.

— Не понимаю, кто это? Что это? Почему ты тут?

— Его спроси, — ответил отец.

Только сейчас она поняла, что Сани нет рядом. Ей послышался шум машины — уехал? Она кинулась к воротам, «Волга» тут. Ушел пешком? Да, мог. Она оглядывала темный сад, беспомощная, безмерно несчастная от того, что снова его теряет.

Неподалеку от веранды, возле кустов сирени, зажегся огонек сигареты. Саня сидел в плетеном кресле и не встал, когда она подошла. Медленно затянулся и медленно отвел руку с сигаретой.

Он не встал, это она присела на корточки возле и слегка коснулась щекой его колена. От него несло бензином, гарью и еще какой-то дрянью — может быть, это запах той дачи? — но острее всего — потом.

Саня медленно улыбнулся, так же медленно протянул руку, ладонью вверх, и Инга подалась вперед, чтобы спрятать лицо в этой ладони.

— Грязен я, как пес,— сказал он.

Она чуть повернула голову, чуть двинула губами, коснулась ими ладони, жесткой, как жезл, и почувствовала на губах что-то влажное и соленое. Растерто в кровь? Она взглянула на него, глаза его были закрыты, он что-то невнятно сказал — что, что?

— Вроде бы я матерился? — так же невнятно повторил он. Рука его упала, и она прижалась лицом к его колену.

Саня спал в кабинете Кирилла Викторовича как убитый. Руки его действительно были стертые в кровь; как она их смазывала и бинтовала, он не слышал.

А они с отцом не спали, слишком хорошо помнили они, что для Нелли, кисоньки, лапоньки, их адрес тайны не составляет. Ведь пока они что? Всего только унесли от нее ноги, не больше.

Обыск у Климовского, а потом и допрос его продолжались до утра, они успели только заехать к С. К. домой (Всеволоду было интересно посмотреть его квартиру, какие у него книги, какие фотографии на стенах) и, позавтракав, отправиться в прокуратуру. Когда они вошли в кабинет С. К., там уже, как видно, давно, звонил телефон.

— С утра пораньше,— сказал Севка,— интересно, кто это?

С. К. взял трубку.

— Сергей Константинович? — раздался приятный голос. — Ради бога, не удивляйтесь. Это говорит Сушилин.

С. К. впервые в своей жизни задал идиотский вопрос:

— Какой Сушилин?

А Севка тотчас лихорадочно подсел к нему поближе, надеясь слышать, что говорит трубка. Трубка рассмеялась.

— Да тот самый, исчезнувший.

Севка ошеломленно закивал: «Это он, он... Я знаю голос».

— Сергей Константинович, мне хотелось бы с вами встретиться...

— Как вы догадываетесь,— ответил С. К.,— мне бы т-т-тоже...

— По некоторым причинам, которые я вам, разумеется, сообщу при встрече, мне хотелось бы, чтобы встреча наша была у меня на даче. Если вы разрешите, я пришло за вами машину.

Голос выдержал паузу.

— За рулем будет Александр Елисеев, надеюсь, вам не нужно его представлять.

С. К. и Севка долго потом смотрели друг на друга и вдруг оба стали смеяться.

— Это Сушилин, сомнений быть не может,— бессмысленно сказал Севка и вдруг взмолился: — Сергей Константинович...

— Да куда уж я теперь без т-т-т-тебя,— ответил С. К.— Но откуда он нам, этот подарок с-с-судьбы?

Инга проснулась с ощущением, будто опоздала куда-то. На бревенчатых стенах, золотых, медовых, тени ходили не то что в городе, вся комната куда-то мчалась. Птицы в саду щебетали наперебой, рай божий был за окном. А в ней росла тревога.

Она вскочила, достала из шкафа длинный халат, он тут

и зимовал, расчесала волосы и вышла в гостиную. Здесь она постелила вчера отцу, но его не было (и постель была убрана). Дверь в кабинет, где она постелила Сане, открыта, и Сани нет. И его постель убрана.

Она вышла в сад. «Волга» на месте. Но и в саду никого, а на сердце становилось все тяжелей. И снова подумалось ей: легко, слишком легко вырвались они с отцом из бандитского плена, так не бывает.

Однако Саня вот он, стоит на крыльце, явно только что из душа. Отцовские шорты туго его стягивают, отцовская рубашка вовсе не сходится на груди и расстегнута, открывая белоснежную отцовскую майку. Руками без повязок он гребенкой зачесывает назад влажные волосы и смотрит сверху на Ингу.

— Кирилл Викторович пошел звонить в прокуратуру, — говорит он, легко спускаясь со ступенек.

И вдруг ее осенило:

— Сколько сейчас денег на вашей сберкнижке?

Саня смотрит на нее ясными глазами. Слишком уж ясными.

— Пятьсот рублей, — отвечает. — Или, нет, вру, шестьсот.

— Боже мой, — говорит она и качает головой. — Боже мой.

От калитки шел отец, он ходил звонить на почту. Постойте, это значит, кто-то его уже видел? Это значит — сбегутся? Сбегутся, съедутся журналисты, наши, иностранные. Объявится «штатная Серафима»! А у нее, у Инги, завтрак не готов! Она кинулась в мамину кладовую, где стояли и тушенка, и сгущенка, и кофе, и галеты. Но оказалось, что Саня спешит, ему нужно ехать за Шимановским; он что-то перехватил на ходу и отбыл.

Глядя, как разворачивается его «Волга», она опять почувствовала тяжесть тревоги. Отпустит ли она ее теперь когда-нибудь, эта тревога?

Жасмин вокруг дачи цвел невиданно; ветви его были густо залеплены чашечками нежнейшего фарфора. Жасминовый дух проплывал по гостиной из одного окна в другое, а в плетеных креслах сидели четверо, двое с одной стороны стола, двое с другой. «Высокие договаривающиеся стороны», — почему-то подумала Инга. Сама она примостилась в углу, понимая, что идет мужской разговор, а ее дело принести поднос с кофе, сидеть и слушать.

Выйдя из машины, С. К. и Севка долго и восторженно трясли руку Кирилла Викторовича.

— Всего ожидал, — смеясь, говорил С. К., — ч-ч-ч-чего угодно, но только не т-такого.

Инга могла бы поклясться, что никто из них, ни С. К., ни Севка, не знает, как все это произошло. Саня, конечно, всю дорогу молчал, как гроб. Уж что-что, а это он умеет.

И вот теперь они сидят друг против друга, двое ее мужиков и двое ее друзей — работников следствия. Она все-таки не удержалась и сказала:

— А как вы были правы, Сергей Константинович, помните, когда спросили меня, не рассказывал ли кто-нибудь мне случай с простыней. Теперь я хорошо помню, кто мне рассказывал.

Саня повернул к ней голову, и больше в разговор она не вступала.

— Ну,— весело сказал С. К.— Ждем информации.

— Информации? — поднял брови Саня.— Никакой информации мы дать вам не можем.

Воцарилось молчание.

— Как это понимать? — спросил С. К. Лицо его стало каменным.

— Сейчас все объясним,— ответил отец.— Но прежде...

— Прежде,— вмешался Саня,— вы дадите нам слово, что ничего из того, что мы вам расскажем, вы никому не скажете — ни письменно, ни устно.

— Не понимаю,— повторил С. К.

Инга тоже ничего не понимала.

— Я сейчас вам объясню,— сказал отец.— Дело в том, что Александр для того, чтобы меня выволить, дал слово, что об этом никто не узнает. Он, стало быть, связан словом. Скован, если хотите.

— Значит, речь шла о выкупе? — спросил С. К.

— Разумеется.

— Ты дал им слово! — вскричал Севка.— И оно тебя... связывает?! Слово, данное подонкам?!

— Я вообще такой постановки вопроса не воспринимаю,— холодно ответил Саня.

С. К. молчал.

— Слово есть слово,— сказал отец.— В прошлом пленный офицер, отпущенный под честное слово, возвращался, чтобы быть расстрелянным.

— Это сейчас у нас честное слово размочалили,— зло сказал Саня.

— Да понимаешь ли ты, какую ответственность на себя берешь! — воскликнул Севка.— Эти бандиты будут убивать и убивать!

С. К. долго молчал, а потом спросил:

— Вы... взвесили?

О, как все оказалось сложно, как мучительно трудно! Они держатся твердо, ее мужики, они в крепком союзе. Но кто в том споре прав?

— В том-то и дело,— сказал Кирилл Викторович,— что все в жизни приходится взвешивать, недаром нынче то и дело слышишь: иерархия ценностей, приоритет ценностей. Конечно, выбор в жизни на каждом шагу, разве не так? И разве в вашем деле, в юриспруденции, вам не приходится все время выбирать из зол наименьшее? Так давайте и тут выбирать...

— Я этим словом спасал вот его,— жестко сказал Саня, указывая на отца.— Или вы думаете,— резко обратился он к С. К.,— я ножа боюсь?

«Я боюсь! Я!» — взмолилась Инга.— Все что угодно, только не это».

— Чего же вы тогда боитесь? — спросил С. К. не без любопытства.

— В дерьме быть с головы до ног.

— В чьих глазах?

— В своих собственных. В глазах моей жены. Всех, кого я уважаю.

— А в глазах закона?

Инга не слушала. Заявление Сани относительно жены страшно ее взволновало — что это значит, что это еще за жена...

— А я, — возразил С. К., — говорю о тех, кого они ножом пыряли и еще пырнут.

— А вы что, — Саня уже едва не рычал, — не понимаете, что это слово мне петля на шее?! Да я, если б мог, вот этими руками бы их давил!

Воцарилось тяжкое молчание.

— Это я понимаю, — медленно сказал С. К.

Саня сидел, опустив глаза, как видно, старался успокоиться.

— Чаши весов. — Кирилл Викторович выставил перед собой ладони, как бы что-то на них взвешивая. — На одной безопасности людей, которых вы обязаны, мы все обязаны защищать. И свою ответственность я сознаю. Я видел в лицо этих подонков и... Тут моя дочь, и я не могу вам о них рассказать, как рассказал бы в мужской компании. Эти люди так глубоко изуродованы, так порочны, так изувечены и физически, и нравственно...

— В лагере, среди уголовников, когда хотят кого-то похвалить, он, мол, совсем уже наш стал, говорят: он уже сгнил, — вставил С. К.

— Да, и эти сгнили. Так что проблему, о которой вы говорите, я понимаю хорошо, думаю, и Елисеев не хуже. Можете нам поверить. Так вот, на одной чаше всего навалом, и борьбы, и крови, и страданий, и тут наша ответственность и перед законом, и перед людьми. А что на другой? А на другой — всего ничего: простое человеческое слово. Но — честное. Одно-единственное, личное слово со всей его ответственностью. Говорю вам, XIX век в секунду понял бы Елисеева.

Опять наступило молчание, но оно, как показалось Инге, уже было другим.

— Решайте, — сказал Саня жестко.

— Итак, — сказал наконец С. К., — мы даем вам слово не использовать данную вами информацию, а вы нам рассказываете всю эту историю. Как? Безадресно, безлико...

— И минус Елисеев, — вставил Кирилл Викторович.

— И минус Елисеев, — задумчиво повторил С. К. И вдруг поднял голову. — А какого черта, простите, вы нам тогда нужны?

Кирилл Викторович засмеялся. А С. К. подумал и сказал:

— Ладно, говорите.

— Тогда я начинаю? Итак, двенадцатого я поехал на дачу поездом, и по дороге со станции меня перехватили. В машину со мной сели двое плюс шофер. Окно машины было зашторено, мы где-то колесили не меньше часа, о местоположении дома я не имею ни малейшего представления. Тут меня ждал сюрприз: некая девица...

Инга не выдержала и тихо встала:

— В ботфортах со шпорами.

Кирилл Викторович не обратил на это никакого внимания.

— Девушка характера весьма неординарного, думаю, тут не без психоза...

— Я очень рад, что вы все-таки рассказываете, — заметил С. К., — возникают интереснейшие детали: девушка в ботфортах, надо думать, единственная в стране, другой нет.

— ... думаю, тут не без некоего раздвоения личности. Не знаю. Словом, началась для меня весьма странная жизнь. Я бы сказал — на грани. Дача огромная, ветхая, со сгнившими беседками: хозяева умерли, наследники сдали кому попало. Но главное, как говорится, — контингент. Во-первых, разновозрастный. Упомянутая девушка, единственная в доме женщина, играет там роль исключительную. Я бы даже сказал — культовую. И не потому, что она — особого для них секса, а именно потому, что она — странная. Тут я еще раз, уже, так сказать, опытным путем, убедился, что культ — явление по сути своей психопатическое, требует психически сдвинутого культового объекта. Но это — в сторону. Она этих парней, особенно юных, просто завораживала.

— Да, вроде секты, — вставил Саня.

— Примерно так. Вы знаете, — тут Кирилл Викторович помолчал и почесал ухо, — дамы ко мне благоволят, что-то вроде феномена тенора, тоже, конечно, не без психопатии. Стало быть, что такое дамский натиск, я знаю. Но такого... Да и ситуация, согласитесь, особая: я в плену, беспомощен, а у нее богатая палитра угроз, окружение зверское, и она развратила их до предела. — Он с отвращением скривился. — Разрешите мне не вдаваться в подробности. А когда я увидел Александра во дворе, во мне все онемело...

— Ну а как вы там оказались? — обратился С. К. к Сане.

— Это особый разговор, — ответил тот.

— Но ведь вы-то ездили на дачу туда-обратно и отлично знаете, где она?

— Конечно.

— И не скажете нам?

— Нет.

— Ну, — вздохнув, сказал С. К., — тогда придется мне вам сказать. Если ехать по Хорошевскому шоссе, на пятидесятом километре будет съезд вправо и стрелка в деревню Быковка...

— Так что же вы нам голову морочили? — спросил Саня.

— Как вы это узнали? — спросил Сушилиин.

— На обыске у Климовского. Разве я вам не говорил про обыск?

— Да, все хотел спросить, как вы о черновике догадались? — спросил Севка.

— Я с самого начала предполагал, что должен быть черновик, — ответил С. К. — Конечно, мы с вами обычно раз-раз, написали и отправили, но Екатерина Павловна, так мне казалось, свое последнее письмо Сушилину вряд ли стала бы писать сразу набело. Последние к нему слова, их надо отобрать и обдумать: второго письма уже не будет. Вот почему я его искал, этот черновик, и как видите...

— Странно, что он его не уничтожил, — сказал Севка.

- Да ему просто в голову не пришло, что он существует.
- Беловой у меня, — сообщил Сушилин кратко.
- Что будете читать, — спросил С. К. у Инги, — беловой или черновой?
- Оба.
- Тогда сперва беловой.

и Кирилл Викторович!

Я ухожу. К вам это не имеет отношения, поскольку моя жизнь не имеет отношения к вашей, и в том моя беда. Словом, я ухожу. Почему? Да с жизнью у меня не получается. Слишком велик разрыв.

Вы знаете, природа дала мне дар видеть. О, как ясно, как отчетливо я вижу — и порой даже предвижу. Одного только дара мне не дано: действия. И главное — противодействия. А если попроще — мне не хватает силы воли, простой, обыкновенной воли, которая есть у всех людей. Может быть, поэтому я так от них и отгораживалась — просто оборонялась на всякий случай? Думала, спасусь. Но мир, вы знаете, он очень активен, и я не спаслась. Если и была всю жизнь отгорожена, то не ограждена.

Он вошел в мою жизнь как-то до изумления незаметно, честное слово, в этом было даже некое искусство. Не успели мы то да се, приблизительно поговорить о литературе, как он оказался в моей квартире законным прописанным мужем. Нет, конечно, все это было и длиннее, и сложнее, может быть, на минуту мне что-то померещилось, может быть, я устала быть одной... Ну да ладно, результат-то все один. У меня отнято последнее мое убежище, куда я уползаю от людей, и нет больше сил. Я знаю, он хочет, чтобы я это сделала, он просто терпеливо ждет.

Нет, знаете, уже нетерпеливо.

Почему я его не прогнала? Почему не сбежала от него? Так для этого нужен изрядный запас душевных сил — вы не знаете, какая у него воля, какая железная хватка! — а мой запас если и был, то давно кончился. Видно, невелик был.

И вот я придумала себе такую свободу — дневник, где жила вне его власти и где один только Вы, только с Вами я разговариваю. Разве это не счастье? Могу говорить, что в голову придет, а Вы слушаете внимательно, со свойственной Вам учтивостью, порой даже что-то отвечаете. А вечером я вижу Ваше прекрасное лицо и уверена, что Вы помните, о чем мы с Вами недавно разговаривали.

И знаете, дорогой, тут я была не так уж и слаба. Он требовал, чтобы я ввела его в Ваш дом, я во многом ему уступала, да что тут говорить — во всем! — но тут... Тут его власть надо мною кончалась, он это чувствовал и бесился, он не может перенести, если на пути его кто-то стоит. А я у него на пути.

Дневник стал единственно доступной мне формой жизни. Я тщательно его прятала. Но однажды, вернувшись домой, я увидела, что он лежит открыто. Я, я сама, забыла его на столе! Я испугалась: если я могу забыть мой дневник на столе, значит, со мной что-то неладно. А потом я увидела: на полях какая-то фраза — его почерком. Я не стану вам ее повторять. Она низка.

Говорят, иные птицы, если дотронуться до их гнезда, в него никогда уже не возвращаются. Так и мне было уже невозможно взять в руки мой бедный дневник.

Я и раньше знала, что мне нетрудно будет уйти. Ах, нет, иногда жить очень хочется. Дорог просто воздух. Просто свет. Тарелка с земляничкой, черт возьми, посыпанной сахаром. И Ваша музыка! Нет, не так-то это легко — взять и уйти: обратно не придешь.

А в милый дом Ваш он пролез-таки — выход в жизнь для меня закрыт. Сделать я все равно ничего не могу. Но мне дорога Инга, и вот я пишу это письмо. Гоните! Это жизнеопасно!

Кстати, вариант Дориана Грея тут невозможен. Чтобы преступление оставило шрам на портрете или на самом лице, оно должно осознаваться как преступление, пусть хотя бы подсознательно. А тут такая нетронутая гладь. Да она не примет на себя ни единой морщинки. Вот эта-то бесследность страшнее всего.

Вы уезжаете надолго — мне Вас не дожидаться, не хватит сил, ни одного дня Москвы без Вас я уже перенести не смогу. Ради бога, не сердитесь. Весть дойдет до Вас, когда все уже будет позади. Я и так-то не больно хороша, а тут и глаза будут закрыты, единственное, кажется, чем одарила меня природа. Но ведь нельзя же лежать в гробу с открытыми глазами. О, не сердитесь! Мир не много потеряет, а мне, уверяю Вас, дорогой, дорогой, мне станет легче. И если...»

— Был еще листок? — спросил С. К.

— Нет, — кратко ответил Сушилиня.

— А почему же тогда записка, — спросил Севка, — «оставьте в покое моего мужа»?

— Наверное, потому, что она была честна, не из-за него, так она думала, уходит она из жизни. В самом деле, будь она здоровой, она бы просто развелась.

— И что же оно доказывает, это письмо? — спросил Саня, он читал вслед за Ингой.

— А вот уж для этого нужен черновик, все-таки недаром я его искал. Зачеркнутое место на третьей странице, после «она низка», читается легко: «Она низка. Я сказала ему об этом, а он ответил, что сдаст меня в дурдом, так и сказал: «сдаст», — и что он будто бы уже принял практические меры».

— Ой, — сказала Инга.

— Вот именно что «ой». Климовский действительно успел побывать у районного психиатра и заявить ему, что у его жены бывают припадки помешательства, надо, мол, освидетельствовать. Уже давно он был у нас под наблюдением, узнали, кстати, что он продает Коробову книги из библиотеки жены. Но были у него сделки прямо уголовного характера. А тут еще доведение до самоубийства, статья 107, срок до пяти лет. Выложил я перед ним все эти карты, и стал он белым, как стена. Прямо в панике был: это значит, вместо изящной жизни в элитарной среде — тюрьма с уголовниками? Я спросил, что он знает о Сушилине. Я всегда был уверен, что оба эти дела связаны друг с другом: Сушилиня он ненавидел с той же силой, с какой его жена

Сушила любила. Он ответил, что ничего не знает, но вместе с тем ему сильно хотелось дать мне что-то в обмен на свободу, и он сказал, есть, мол, некая дача, расположенная там-то. Эту дачу ребята из местной милиции давно приметили, но толком ничего о ней не знали. Все это было вчера.

Когда Дронов вошел в кабинет С. К., лицо его было особенно тяжелым и темным, словно заgrimированным. С. К. долго на него смотрел.

— Что же ты не радуешься? — спросил он. — Нам бы всем прыгать до потолка, что гениальный пианист, которого и в Старом и в Новом Свете уже считали погибшим, оказался жив и здоров.

С. К. понимал, конечно: с таким тяжким профессиональным провалом дроновская гордыня смириться не может. Да и начальство сильно разочаровалось. А ведь Елисеев у тебя был без пяти минут расстрелян, хотел сказать, но не сказал.

Дронов мрачно взглянул на С. К.

— Ну, а сам-то Сушилину как все это объясняет?

— Да ник-к-как. Почему он должен объяснять? Недоразумение, потерянная телеграмма, был в Мещере, на дальних озерах, о шуме, что поднялся в мире, ничего не знал. Сегодня утром я слышал передачу из-за бугра, будто Сушила за баснословную сумму выкупило какое-то посольство и потому, мол, об этом деле в Москве не говорят. Кстати, Мещера — родина Елисева. Сушилину сейчас в большой дружбе с этим своим убийцей.

— Елисеев? — сказал Дронов с угрозой (мол, попадись он мне). Держится так, ровно кто-то злонамеренно его обманул.

— Да, психологический метод, — безжалостно сказал С. К., — наша знаменитая следовательская интуиция.

— Получается, Сергей Константинович, как в наших нынешних фильмах: мы два типичных следователя, плохой и хороший.

— Все неправильно, — ответил С. К. — Хорошего тут не оказалось. Если Сушила действительно похищали, не мы с тобой его спасли. Не мы, а кто-то другой.

Как они и предвидели, вокруг их дачи началось безумие. Сбежался поселок, дети и взрослые глазели сквозь штaketник и радостно вопили, когда показывался Сушилину. У ворот на траве стояли машины, репортеры осаждали калитку и ворота, которые Инга держала на запоре. Наконец нетерпение журналистов достигло такого накала, что Сушилину пришлось выйти за калитку. Он сказал им, сгрудившимся со своими магнитофонами и камерами, что очень сожалеет о шуме, который поднялся с его внезапным отъездом, упомянул про потерянную телеграмму и прибавил что-то о местах, где нет связи. Потом еще раз твердо сказал, что шум, поднятый в связи с его отъездом, ему неприятен, мешает работать, а он намерен выполнить все заключенные контракты.

И к соседям он, разумеется, вышел, пожимал руки, сожалел, благодарил. Серафима Николаевна протиснулась в сад сквозь штaketник, с ней Кирилл Викторович разговаривал долго на глазах у всего поселка, и она была счастлива.

Прибыла черная «Волга» с начальством из Министерства культуры, отец с ними объяснился, по-видимому, самым наилучшим образом. Потом приехал представитель какого-то Комитета...

А следующий день был спокойным. «Вот увидите, — говорила Инга, — прикатит телевидение», но телевидение не прикатило.

Утро было тихим и ясным. Инга вышла в сад, к грядкам, и нашла под листьями клубнику, всю в усах, заброшенную, но спелую.

Инга оглянулась — на крыльце стоял отец, лицо его было напряженным, взгляд настороженным, и она тотчас поняла, что в ней, склонившейся над грядками, он увидел маму и что ему сейчас страстно хочется, чтобы это мама была тут. Чтобы она подняла свое милое лицо с его недолговечной красотой, улыбнулась и выпрямилась, отводя, как всегда это делала, назад локти.

Отец повернулся и ушел в дом. Может быть, их раны и затянутся со временем, но уж, конечно, не заживут никогда.

Они завтракали втроем на террасе. Инга смотрела, как Саня ест, глаз не могла отвести. Сперва, держа вертикально нож и вилку, он внимательно оглядел стол, разом отметил ветчину, всадил вилку в самый большой кусок, поискал глазами горчицу, не нашел, сделал огромный бутерброд. Рывок вперед, движение сильных челюстей — и нет бутерброда. Надо поторапливаться, поняла Инга, и вывалила в миску дымящийся картофель.

— М-м-м-м,— одобрительно сказал Саня и обратился к сковороде, где на кусках рыбы пузырилось золотистое масло. Едва успела она подложить салата — и вот уже нет ни салата, ни рыбы, ни картофеля. Интересно, хватит ли ему оладий и кофе с клубничкой, или пора уже по-новой жарить рыбу?

— Если вы допили,— деликатно сказал Сушилиной,— тогда у меня к вам вопрос.

— И у меня,— вставила Инга.

Саня — он порозовел и даже словно бы немного поправился — лениво выразил готовность отвечать.

— Куда вы тогда подевались? — спросила Инга.

— Куда подевался? Это лучше бы до завтрака, а не после, но ладно, я объясню. Как я с рейсов ушел, я сразу же стал подыскивать работу. На троллейбусе мне делать было нечего. Искал я работу серьезную, с хорошими деньгами...

— Вот относительно денег и хотел я поговорить... — сказал Кирилл Викторович.

— Да я уж понимаю,— усмехнулся Саня,— но сперва я отвечу ей. И вот, пока я искал, попадались мне разные ребятки и предлагали разную работенку, в том числе и такую, за которую не хвалят, но зато платят хорошо. Наконец, встретила мне компания, такие, знаете, усатые парни, похожие на сильных молодых тараканов... А тут как раз ваш обед. Значит, обед, несут пирог, и я вижу, что несет его девчонка из той самой компании, уголовница, оторва, дрянь. Меня настолько поразило, какая она у вас ласковая, что я решил разобраться, что сон сей значит. Потом был неприятный разговор за обедом, мы уже не виделись,

о несчастье вашем я узнал позже, и вдруг из одного разговора, смутного, скверного, понял, что тут вовсе не несчастный случай. Предупредить вас я не мог, был риск, что ваша Нелли первая об этом узнает, да вы могли мне просто не поверить, мы же были почти незнакомы. Кстати, она меня признала, была до смерти рада, считала, что я вас так же ненавижу, как и она. Словом, бывать я у вас не мог и с Ингой встретиться не мог. Я мог только быть неподалеку и... настороже.

— Это не вы звонили мне: «Не дрейфь, Сушилина»?

Он усмехнулся.

— Нет, это не я, это был, конечно, Иван Федорович. Когда я приехал к нему с письмом от Кирилла Викторовича о машине — вы хоть заметили, что мы с вами на вашей машине удирали? — он страшно обрадовался — может, Сушилилин жив? — но спросить меня не посмел, за кого меня принял, не знаю, но появилась у него надежда, и он решил вас подбодрить. От такого звонка да еще ночью...

— Они мне стучали ночью...

— Знаю, еще бы, по этому поводу пацаны скакали до потолка. В том-то и дело, я много знал, мало мог. А с выкупом, — он обратился к Сушилину, — дело было так. У них в банде как бы раскол вышел. Многим Нелли просто надоела, да и небезопасна стала: ее пацаны — малолетки в сущности, но физически развиты, испорчены до костей, а мускулы накачаны, приемы карате и прочее. Такие молодые волки, стая, и слушаются только ее. С выкупом она тянула, противилась, ей не деньги нужны были, ей нужна была как раз эта игра — кошки с мышкой. А я тем временем для них возил, для них грузил, а потом сказал, что некий коммерсант хотел бы выкупить знаменитого пианиста. Они стали канючить насчет долларов, я сказал, что в эти игры не играю, на самом деле они были рады до смерти, так как не знали, с кого взять: Инга, спасибо Шимановскому, была под присмотром у прокуратуры.

— Отвезя меня, Саня вернулся на дачу, — вмешался Сушилилин. — Нелли ничего не заметила: была занята тобой, своей жертвой, для нее, наверно, самой главной и заветной. Ну, а теперь о деньгах.

Саня отодвинулся вместе с креслом, удобно положил руки на подлокотники.

— Предупреждаю, — сказал, — деньги большие. Моей сберкнижки не хватало, пришлось вкалывать. Кого только и куда только я не возил! И в Домодедово, и в Шереметьево, тут уж и зелеными брал. Так как же теперь мы с вами станем рассчитывать — за сверхурочную, что ли, отдельно? Учтите к тому же, в аэропортах у таксистов и частных мест куплены, чужаков бьют смертным боем, работать опасно, стало быть, придется еще и за вредность накинуть? — Он вздохнул и прибавил: — Вот никогда не думал, что возьму за женой такого дорогостоящего тества.

Инга замерла от этих слов, а Кирилл Викторович смотрел на него с любопытством, ожидая продолжения, и Саня не заставил себя ждать:

— А какие у нас расходы, вы задумались? Квартиру ремонтировать надо? Орлову реставрировать надо? А рояль — о рояле вы подумали? — Он помолчал и сказал не без вызова: — Или, может, вы меня в зятя не берете?

«Молчал, молчал, — думала Инга, счастливая, — и вот, спасибо ему, заговорил. Да как быстро освоился». Что-то все это ей смутно напоминало.

— Конечно, — продолжал Саня, — вы видали, каков я за столом, любую семью объем, а как с работы прихожу, я и вовсе страшной волка. Зато, учтите, я не пью, а это в наше время редкость.

Тут Инга наконец вспомнила: когда-то вот так же валял дурака незнакомый водитель троллейбуса — тысячу лет назад.

— Ну и что? Я тоже не пью, — вдруг сказал Сушилини. — Что, собственно, из этого следует?

Она плохо помнила ту ночь, нет, она только ее и помнила, но какими-то всплывками, сполохами.

Он стоял в дальнем углу сада возле лип, собиравшихся цвести. Летние ночи светлы, она смутно его видела и остановилась, чтобы еще раз счастливо ощутить — магнитом тянет ее к нему, магнитом! Как она оказалась в его объятиях, она не помнила, помнила только, что он сказал сорвавшимся голосом: «Наконец-то!» — и руки обняли ее, и пошло вперед его правое плечо, как бы отгораживая ее, отбирая к себе — от всего остального мира в свой собственный. И она была потрясена, оказавшись в этом, словно бы впервые увиденном, мужском мире — открытии! Здесь тесно, темно, пахнет свежим ветром, это от рубашки, сохнувшей на ветру, а за ней горячо, стучит что-то сильно и ровно, она не сразу догадалась: бьется его сердце, так близко, под самым ее ухом. А сильные руки ладонями и локтями медленно прижимают ее к груди, на удивление твердой, и казалось, она сейчас задохнется, погибнет, раздавленная этими руками, но они, умные, остановились как раз вовремя, как раз, как надо, чтобы она была счастлива. Она помнит: было чувство хозяйки, которая вернулась в дом, где ждут ее с нетерпением. И еще она поняла: тут, в темноте, в тесноте, она в безопасности и неприкосновенна. Заповедный мир, налитый доверием и верностью, такой же прочный, как эти сильные руки и твердая грудь.

Она не помнила, говорила ли что-нибудь, кажется, что-то говорила, бормотала.

Зато хорошо помнила, как, слушая его сердце, вдруг поняла: оно же ничем не защищено, его сердце, оно вовсе беззащитно.

Она думала о безопасности? Дуреха! Какая тут может быть безопасность? О прочности? Какая теперь может быть в их жизни прочность? Если в прокуратуре знают о той даче, значит, станут ее брать, и бандиты, конечно, решат, что это Саня их выдал. И все тогда. Все. Никто этому зверью ничего не докажет, на любой темной дороге — да и на освещенной улице тоже — в любой час...

Нет, вовсе не счастье их ждет, только одну ее ждет жизнь — вечная вдовья судьба.

Она прижалась губами к рубашке в том месте, где стучало сердце.

— Не тревожься, родная, — сказал он шепотом. — Все будет хорошо. Это точно. Я потом тебе объясню. Не сейчас.

И он, опустив голову, стал искать губами ее губы и нашел. Разом — это удивительно было, это было волшебство, колдовство! — пропал ее страх, не стало его. Она была безмерно благодарна этим сомкнутым губам, и потому, что они сомкнуты, и потому, что целительны, — она подставила лицо под поцелуй, как под солнце, как под дождь, это и был дождь, она почувствовала его на лице и не сразу поняла, что это собственные ее слезы, они высыхают на их горячих губах. И какое-то веселье стало разгораться в ее сердце, и такое доверие было в нем — ну, братство, братство, да и только. Братство-то братство, но ведь и опасность была в нем, в ее Сане, она чувствовала, шла от него эта опасность — кто спасет ее, кто, кроме него самого? Путалось все в ее голове, такой в ней туман, и так все странно — она сама не знала, почему сказала ему эти слова, то ли какое-то воспоминание пронеслось в этом тумане, то ли хотела она защищаться, а может быть, просто старалась быть честной?

— Я, между прочим, жуткая динамо, — прошептала она и подумала: «Боже, как глупо», — но он, по-видимому, так не считал, потому что сжал ее чуть сильнее и ответил тоже шепотом:

— Я сам это дело люблю. Я... не гоню коней.

Никто не мог их слышать. В доме звучал отцовский «Стейнвей», приглушенный стенами и садом. Никто их слышать не мог, но такие разговоры всегда идут шепотом, втайне от людей, деревьев, Бога и звезд.

— Только ты все-таки меня берегись, — предостерег он ее. — Берегись. В этом деле я шальный.

Севка шел от станции к сушилинской даче со своей странной новостью, которую, он чувствовал, сам должен принести в сушилинский дом.

Картина событий прояснялась с каждым часом, но Сушилиным всего знать не следовало. Теперь, например, известно уже, что случилось с Клавдией Васильевной. Борис Петрович был в нее смертельно влюблен, понимал ее, умолял, изливал ей свою истерзанную душу. Нелли тотчас усекла ситуацию и послала своих мальчиков за ним следить. Однажды, когда он умолил Клавдию Васильевну пойти с ним в парк, в час утренней прохлады, и стал по обыкновению изливаться, а она по обыкновению утешать, старый дурак от избытка чувств схватил ее в объятия. Пацаны эту сцену, конечно, с восторгом засняли. Бедная Клавдия Васильевна получила конверт с фотографиями — ух, какой там у обоих дикий вид! — и письмо: если в такой-то день и час, в таком-то месте, ну и т.д., снимки будут присланы в Консерваторию, разом и в дирекцию, и в профком. Страшно представить, как, бедная, она металась, как боялась сказать мужу, надеялась чем-нибудь откупиться. Но Нелли передумала, пацаны получили другой приказ. Не надо Сушилиным знать эту историю и видеть идиотские фото.

Дорога, которой шел Севка, пересекалась с просекой — тут бандиты остановили тогда Сушилину. В сущности, недалеко от дачи — раскаты сушилинского «Стейнвея» и сейчас отсюда слышны.

Первый, кого он увидел, был Саня, он возился с машиной. Вторая — Инга, которая развешивала на веревке мужские рубашки. Идиллия. Боже мой, Москва сошла с ума, народ теснится у телевизоров, гудит митингами, бастует, а тут...

Оба они пошли к калитке его встречать, и, когда он сказал им, с чем приехал, Инга крикнула: «Папа!» — и кинулась в дом, наверно, впервые в жизни осмелившись прервать отца, когда тот работает. Музыка умолкла, Кирилл Викторович с Ингой вышли, все четверо молча стояли на крыльце. И Севка стал рассказывать, как они вместе с местной милицией брали дачу, как он, Севка, вошел одним из первых и увидел: на столе лежит Нелли, мертвая, белая, маленькая, нелепая в своих ботфортах со шпорами. Никто даже сапог этих с нее не снял, потом только он понял: в доме ни одной женщины, взрослые парни куда-то подевались, пацаны в растерянности, не знают, что делать с мертвой, — сколько же она так лежала?

— Сейчас она в морге, — добавил Севка.

Все трое стояли молча в каком-то тягостном недоумении.

— Она погибла в автоаварии на лесной дороге, — объяснил Севка, — сидела рядом с водителем.

— Ну, ясно, — вставил Саня, — грабанулись на том пне, их бросило вправо на дерево.

— Да, удар в правый висок.

Круглолицая Нелли в пшеничных веснушках! Веселая, тащит она пылесос, предвкушая сладостную работу. «Я? Я ушки ему протираю». И потом та, другая: «Ушки? Я вам покажу ушки». Она с ума тогда сошла, когда поняла, что Инга уходит, да еще и не одна уходит, а с любимым, и не куда-нибудь, а в счастливую жизнь. Какой нечеловеческий вой раздался тогда ночью на даче! И вот теперь — третья Нелли, мертвая, маленькая, на столе, в ботфортах со шпорами...

— Папа, что это такое? — воскликнула Инга. — Как понять, как назвать?

— Порок, — ответил Сушилин. — Порок. Зверь, который сожрал сердце.

— Но когда она была... — Саня показал ладонью с полметра от земли, — она же не такой была?

— В том-то и дело, не такой, а стала такой. Зверь поселился в ней, и ничто не мешало ему расти.

— Не было бабушки... — вставил Саня.

— Да у всего нашего общества нет сейчас этой необходимой бабушки.

Злые стали наши люди, и правые, и левые, злые, раздраженные. Как эта несчастная Нелли, наслаждаются они своей злобой.

Неллина смерть разом изменила строй их мыслей. До сих пор они праздновали спасение и свободу, встречу друг с другом. А теперь настала пора понять, что же с ними происходило и в чьей они были власти.

— Страх — вот их главный рычаг, и мелких бандитов, и крупных, в масштабе страны, — говорил Саня. — Страх, он убивает, а это по матери знаю.

— А чего она боится?

— Да всего. Что придут и все отнимут. Главное — она права: и придут, и отнимут.

Они вдвоем шли на рынок, не той дорогой, что вела к станции, а другой.

— Для меня, — продолжал он, — люди делятся на тех, кто нагоняет страх, и на тех, кто его с нас снимает, вот почему цену Горбачева. Да, я хотел тебе рассказать, почему ты из этой истории живой вышла. Конечно, это я тебя выволок, но там ведь игра без правил, волчья стая, что я один мог? Есть там, однако, странный такой парень, Игорь, Игорек...

— Это который на шаровой мельнице работал? — безмятежно встала Инга.

— Да, кажется. У нас с ним какое-то... взаимно... не знаю что, но что-то такое... — Он покрутил рукою. — Что-то такое было.

— Это в нем, наверно, проснулась мать. Нелли говорила: от отца в нем злорада, а от матери — жалость.

— Может быть. Не знаю, только чувствовал я: не то он что-то вроде спросить меня хочет, не то что-то сказать. Кстати, это с ним я договаривался о выкупе. Увидел я тебя на даче и как бешеный стал, вошел прямо к Игорю и ему с разворота: «Это моя жена. И я за нее...» Он в меня взгляделся, то ли понял, что я и вправду на все пойду, то ли слово «жена» для него что-то значит. «Бери ее, — сказал, — и тикай».

— Это он тогда Нелли вызвал?

— Конечно.

Всего несколько слов, а она уже тонет в воспоминании о тех днях, и снова тоска сжимает сердце. Саня внимательно на нее взглянул.

— Вот потому-то и слушай, что я тебе говорю. Нет больше страха. Где нынче Игорек, в бегах или уже у них в КПЗ, но, где бы он ни был, он знает: я слово держу. А он у них — авторитет. К тому же из материалов дела так или иначе ему станут известны показания Климовского, да и Сергей Константинович ему разъяснит.

— А Дронов к тебе не привяжется, что ты у них работал?

— Там, где я работал, моей фамилии нет. А Дронов никогда больше сюда не сунется, зачем ему этот свой позор ворошить?

Инга шла и думала о той женщине в деревне, умнице, что ведаёт травы. В сущности, они похожи, их матери, одна, что окончила консерваторию и теперь лежит в земле, и другая, что всю жизнь вкалывала в колхозе и теперь в своей избе живет одна.

— Как это может быть, что мать и сын живут порознь, — сказала Инга вслух, — это же изуверство. Конечно, там ее родная деревня, но все-таки теперь...

Теперь, когда мы потеряли одну нашу мать, почему с нами

нет другой? — хотела сказать, но не сказала, уверенная, что Саня, как всегда, и так с ходу поймет, о чем речь.

— Подумаем,— сказал он, медленно кивая головой.— Подумаем.

Обратно шли той же дорогой; целый воз всего закупленного Саня нес в рюкзаке на одном плече.

Инга шагала веселая и теперь уже вовсе беспечная. Лес, глушь? Какое ей дело, она теперь всегда под охраной, как какой-нибудь президент. Шла и болтала, о чем придется. И не заметила, что идет одна.

Нет, он был рядом, но словно бы опять за сто верст от нее. Руки его — одна придерживала ремень рюкзака, другая свободно двигалась в такт шагу, и все же обе они, Инга это чувствовала, опять, как раньше, были за спиной. Могла бы она сейчас, как сделала сегодня поутру, кинуться ему на шею? Да никогда бы не решилась, ни за что бы не осмелилась, как в первые дни их знакомства.

Она притихла и шла молча, боясь спросить, что произошло.

— А ведь твоя мама была права,— вдруг сказал он,— она чуяла, чуяла опасность, только не могла понять, откуда она, и ошиблась, подумала на меня. А так-то она чуяла.

Он шел, как всегда, поглядывая кругом, но явно не видел ни деревьев, ни полян, ни своих любимых трав.

— Смотри! — воскликнула она, завскивая.— Козлобородник.

— Да, конечно,— ответил он невнимательно и, присмотревшись: — Это, кстати, вовсе не козлобородник. Я вот чего понять не могу: как они это терпят, российские мужики?

Она глядела на него, не понимая.

— Ну, стыд у них есть? Совесть нормальных мужиков?

Нет, она все еще не понимала.

— У меня в глазах темно, когда я об этих бандитах думаю, честное слово, и о том, что повидал на их даче...

Он помолчал и добавил мрачно:

— Да, Сергей Константинович много там интересного для себя найдет. Земля ему... откроет.

— Расскажи,— попросила она робко и подумала: «Конечно, страшно слушать, но, может быть, ему легче станет, если он расскажет».

— Ну, уж нет, ты спать перестанешь, зачем это? Но все ведь знают: преступный мир свирепеет,— и в печати об этом, и по телевизору, и друг другу об этом рассказываем. Так вот я и спрашиваю: как русские мужики могут такое в своей стране терпеть? Позорно видеть: сильные, здоровые, а сидят, дрожат, каждый свою жену ходит к метро встречать. На милицию надеются. Милиция! — Он презрительно фыркнул.— Когда я Игорю слово давал, так у нас специально оговорено было, чтобы тех ментов, что на них работают, я бы не выдавал.

— Севка мой, между прочим, из милиции. А С. К. из прокуратуры.

— Да ты что, я же не обо всех. Нет, конечно, работают они, и тяжело, и розыск у нас, говорят, неслабый. Но ведь они уже справиться не могут, это видно. На что же тогда надеется наш

дрожащий мужчина? Только на одно: что ни ему, ни его жене, ни его ребенку на пути это зверье не встретится. Молодые мужики, и есть среди них очень даже неглупые, так организуйте народную безопасность, народную, от бандитов. Чтобы каждый был уверен, что его старики, дети, жена живут в безопасности. Сейчас хоть митинги поутихли, а тогда я на одном был. Послушала бы, что они там орут: того в отставку, этого в отставку, того к стенке, этого к стенке! Ну, о чем ты орешь, если жену свою и ребенка своего защитить не можешь?

Он вдруг как бы опомнился, остановился, весь повернулся к ней, сказал глухо:

— Извини. Но, веришь, по ночам я ни минуты спать не мог, только вот когда вымотаешься, придешь полуживой, так и заснешь, как проваливаешься. Думаешь, до утра? Да что ты! Ночью тебя во сне как будто током вдарит, вскочишь, стоишь, все кажется, кто-то на помощь зовет. Каждую ночь, каждую, либо я кого ловлю, давлю, либо меня кто ловит, давит. — Он заглянул ей в лицо: — Ну.

Она шагнула, прижалась к нему. Глаза ее были закрыты.

— Только не уходи, — сказала она тихо. — Только не бери опять рук за спину.

— Да ты что! Ты же своей роли в моей жизни совершенно не понимаешь. Вот я тебя вроде спас? Но знала бы ты, как ты сама меня спасаешь. Да я рядом с тобой теперь каждую ночь сплю в безопасности, как какой-нибудь президент.

Она даже отстранилась от него, взглянув с изумлением.

— Что же это делается, я только что подумала: вот я теперь под охраной, как какой-нибудь президент, а теперь ты...

Они опять шли, только теперь Саня держал руку на ее плече.

— Вся страна под угрозой: бандиты сплачиваются, вооружаются, у них деньги, какие людям у нас и не снились. Если правду, те, с кем мы сейчас столкнулись, котятя по сравнению с ними. Есть другие, куда серьезней.

— Уж, наверно, С. К. обо всем этом знает и тоже над этим думает. И мой Всеволод тоже.

— Конечно, там, в органах, тоже люди мучаются. Только есть одно обстоятельство. — Он помолчал.

— Какое?

— Над Шимановским есть Дронов. Уж этот не мучается. А ведь и Дронов далеко не самый худший.

— А ты, — сказала она, чувствуя, как опять замирает от страха. — Сам бы ты пошел в такую борьбу?

— Честно говоря, только о том и мечтаю. Но ведь она должна быть всенародная, огромная. Без этого ничего...

Он приостановился, глядя на дорогу.

Поперек нее полз корень, толстый, толщиной в человеческую ногу, и выгнутый горбом, — как видно, отполз под землей от высокой сосны, растущей возле дороги, и вот вылез наружу. Ногой (в белой кроссовке) Саня несколько раз легко постучал по корню, искоса глядя на Ингу.

— Брр-р-р! — Она передернула плечами.

Он рассмеялся, как всегда, светлея лицом.

— Ладно, — сказал, — жизнь покажет.

Он вдруг рассмеялся и покрутил головой.

— Ты говоришь: «руки за спину». Так у меня же другого выхода не было. Я без козырей в этой игре. Сама посуди: кто он такой в Москве — не-москвич? Это тот, кто жаждет любой ценой получить московскую прописку. И больше он никто. А кто такой шофер в доме знаменитости? Тот, кто хочет втереться и по возможности жениться на хозяйской дочке.

— Ах ты негодяй!

— Постой, не искири. Это так. Я же не о тебе и не о твоих родителях. Хотя, вспомнил, твоя мама уж на что была славная женщина, но ведь и она так подумала. Это в воздухе. На этом весь Дронов — арестуй он меня, никто бы не вступился, все бы поверили. Разве не так?

Но руки за спиной, — продолжал он, — были, конечно, не потому, что я в Москве непрописанный. Тут другое. Тут другое, — повторил он, глядя на дорогу. — Понимаешь, у вас культура с детства, и она вам, кстати, ничего не стоит. А чего она стоила мне? И что я мог узнать, получить? Я в нашей деревенской школе еле усвоил, что Толстых два, а недавно узнал, что есть еще и третий. Могу я в вашем доме хотя бы разговор поддержать? Да ведь и сам разговор-то мой не тот, я говорю «свеклá». Стреляйте в меня, я так говорю, и моя мать так говорит. И наш бывший генсек говорил «нáчать», он в деревне рос, с отцом на комбайне работал.

Они шли молча.

— Как у нас с тобой получилось? Мы встретились ночью на дороге. Я увидел: девушка под фонарем одна стоит, голосовать боится, — а кругом действительно... ночь, лес, женщине одной — не приведи господь. Забралась ты ко мне в кабину, натянула юбку на коленки, мы поехали, и принялась ты на меня давить со страшной силой. У меня правый бок стал разогреваться, честное слово. — Он помолчал и добавил: — К окружной дороге ты от меня, я думаю, уже без ума была.

— Не понимаю, так кто же на кого давил?

— Вот ты сейчас удивилась, — продолжал он, не слушая, — едва ты про президента подумала, как и я тут же про президента сказал. Так ведь это же телепатия. Ну а сама любовь, это что, не телепатия? Чистая телепатия, особо сильное излучение в передаче и твоих мыслей, и чувств, и настроения. Да не будь тут телепатии, сама подумай, откуда взялась бы взаимность, а она дело обычное, на ней, как говорится, мир стоит. И тем более откуда бы взялась любви с первого взгляда?

— И все-таки не понимаю, кто же на кого давил? Я, что ли, на тебя?

— И я на тебя. Еще как. Когда мы пересекли Садовое кольцо, мы оба уже были готовы. Я тебе тогда, по-моему, русским языком сказал: «Может, мне подняться?» Помнишь?

Инга рассмеялась. Уж что-что, а это она помнила хорошо.

Лес кругом стоял смешанный, березовый, ореховый, бузинный, — уж в еловой-то чаще теперь ноги ее не будет, а этот пестрый, веселый, свой.

— И понял я тогда: мы с тобой — только огонь к нам поднеси. Нам суток хватит до конца дойти. Ну а дальше что будет? Вот я и взял руки за спину. Кстати, мы с твоим отцом говорили об этом, когда он ко мне в парк пришел, хотел конфликт погасить, он меня с полуслова понял, что таким образом я, как бы это сказать, жену себе готовлю. А эти встречи на недельку, они меня не устраивали, кругом такого товара навалом, а вот ты... Отношениями с тобой я рисковать не мог, загубить же их было легче легкого, слишком многое им мешало...

— Не знаю, мне ничто не мешало,— сказала Инга и свернула с дороги.— Земляника, первая в году,— она протянула ему на ладони ягоду,— можешь загадывать желание.

Она шла и, задрав голову, глядела на ветки.

— Так телепатия, говоришь? А помнишь сон, когда шла машина о трех колесах, а вместо четвертого бежали две резвые ножки?

— Ножки? — спросил он в недоумении.— Какие, к черту, ножки?

— Да, бежали маленькие ножки, и голос говорил: «Оглянись, моя совушка».

Он остановился.

— Постой, сколько раз это тебе снилось?

— Один.

— Всего раз? Вот птица, только и знает — дрыхнуть. Я ее к тебе, проклятую, три раза посылал. Не один, а три, и всего лишь раз она прилететь удосужилась.

Шахматная эпиграмма



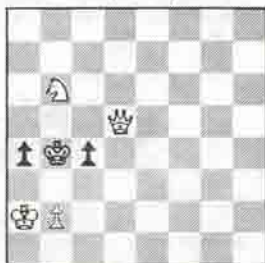
Под редакцией
международного гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Публикуем оригинальные композиции IV международного конкурса составления шахматных задач-миниатюр «Смены», а также ответы на задачи, опубликованные в журнале № 12 за 1994 г. Правильные ответы прислали **И. Бедрин** (пос. Пинега Архангельской обл.), **П. Бельков** (пос. Пышма Свердловской обл.), **В. Гатилов** (пос. Строитель Белгородской обл.), **Ю. Карташов** (Санкт-Петербург), **В. Кожакин** (Магадан), **К. Костюкович** (Могилев, Беларусь), **А. Миролубов** (Рыбинск), **Г. Попов** (Якутск).

ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

58. Н. ПАРХОМЕНКО

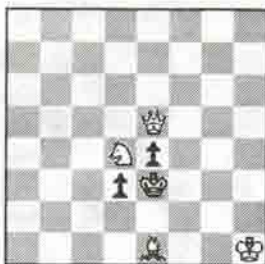
Винница, Украина



Мат в 2 хода

59. В. КОЖАКИН и О. САКС

Магадан

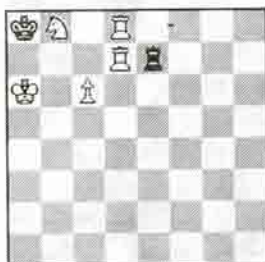


Мат в 2 хода

60. В. ПИЛЬЧЕНКО

г. Сухой Лог

Свердловской обл.



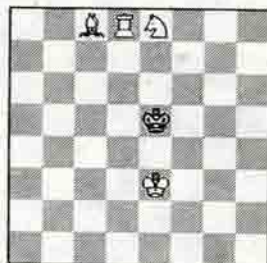
Мат в 2 хода

61. М. КОРМИЛЬЦЕВ
Екатеринбург



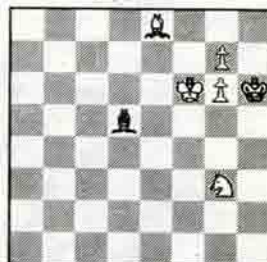
Мат в 2 хода

62. В. МАРКОВЦИЙ
пос. Ильница
Закарпатской обл.



Мат в 3 хода

63. В. МЕЛЬНИЧЕНКО
г. Котовск, Украина



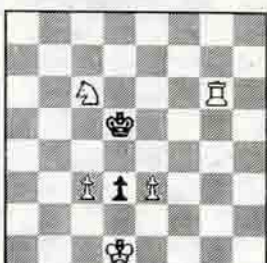
Мат в 3 хода

64. С. ДЕМИДЮК
Брест, Беларусь



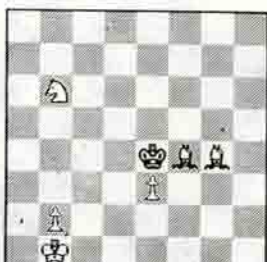
Мат в 4 хода

65. В. ИВАНОВ
пос. Повенец, Карелия



Мат в 4 хода

66. Н. ЧИСТЯКОВ
Омск



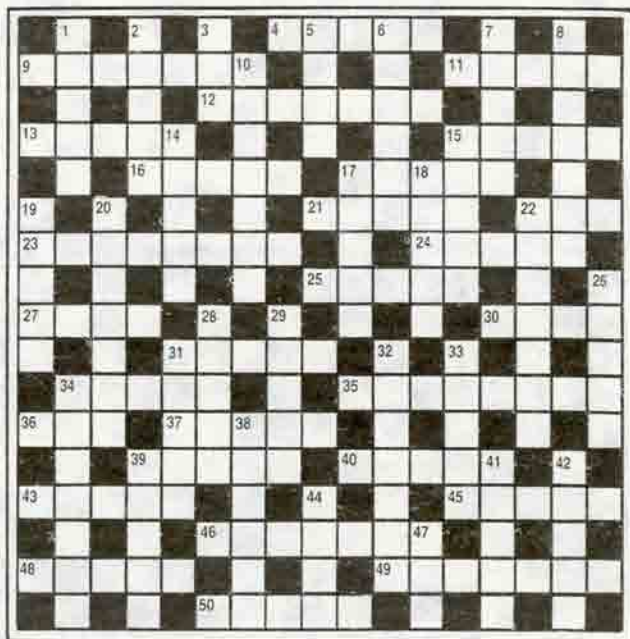
Мат в 4 хода

РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ

«СМЕНА» № 12, 1994

106. А. Грин. 1. Сg1
 107. У. Хаммерстрем. 1. Фf7. 1. Ла7? Крb8!
 108. Б. Жежерун. 1. Фа7
 109. В. Мельниченко. 1. Кd2! 1. Крf2? Фc2! 1. Кf~? Фа3!
 110. Н. Пархоменко. 1. Лg5
 111. Л. Грольман. 1. Cd8! Кc3(d4) 2. Cf6. 1. Ca5? Кc3! 1. Cc5? Kd4!
 112. С. Радченко. 1. g7 Крe6 2. g8K! Крd6 3. Лg6x, 1... Крd6 2. Лg6 Крe7 3. g8Kx
 113. В. Антипов. 1. Фf6 e5 2. Фf3, 1... Крh5 2. 2. Крg3. *Побочное решение:* 1. Фе5 Крh4 2. Фg3, 1... Крh5 2. Крg3
 114. В. Кожакин и В. Свергунов. 1. Лb8 b6 2. Сb6, 1... b5 2. Кb7
 115. В. Щербина. 1. Фg7! Крh2 2. Лb2, 1... Лh2 2. Лg8, 1... Лg4 2. Фg4. 1. Сg3? Лh3!
 116. А. Селиванов. 1. Лh1 Лb1 2. Кf3 Крe2 3. Кbd4x, 1... Лd8 2. Кf3 Крe2 3. Кc1x, 1... Лd3! 2. Кf3 Крe2 3. Ле1x, 1... Лd2 2. Ке2 Крe2 3. Кc1x
 117. В. Иванов и О. Сакс. 1. Крf1 К~ 2. Фf4 Крd3 3. Фd4x, 1... Крe5 2. Фf5 Крd6 3. Фd5x, 1... Крd3 2. Фc2 Крe3 3. Фе2x
 118. А. Очкур. (*Мат в 4 хода, а не*

- в 3*) а) 1. Крg4 Крd6 2. Крf5 Крd7 3. Фf8, 1... Крe4 2. Фf3 Крe5 3. Кc8. б) 1. Крd4 Крc7 2. Кb7 Крb7 3. Фb8. *Автор считает второй близнец, т. к. позиция имеет много побочных решений (например, 1. Фе6, 1. Ке6, 1. Крc3)*
 119. А. Калинин. 1. Сb3 Ch6 2. Фf1 Cc1 3. Cc2! Крc2 4. Фd3x, 3... Кра2 4. Фа6x, 1... Cf4 2. Фf4 Кра1 3. Фf6 Крb1 4. Фf1x
 120. Р. Упстрем. 1. Крg1 g3 2. Ch1! g2 3. a8Ф ghФ 4. Фh1x
 121. М. Чернушко. 1. Ла5 Крh4 2. Крf4 a1Ф 3. Ла1 Крh3 4. Ла2 Крh4 5. Лh2x, 1... Крh6 2. Крf6 Крh7 3. Ла2 Крg8 4. Лh2 Крf8 5. Лh8x, 2... a1Ф 3. Ла1 Крh7 4. Ла8 Крh6 5. Лh8x
 122. В. Шильников. 1. Ca5 Kd4 2. Cd8 Ке6 3. Сg5 Kg5 4. Kd6 К~ 5. Кf7x. *Побочное решение:* 1. Крf7 Крh7 2. Cc3, 1... Kd4 2. Кg5. *Автор исправляет задачу перестановкой белого короля на h8.*
 123. М. Кормильцев. 1. Кc6 Крg1 2. Кd4 Крh1 3. Ке6 Крg1 4. Кg5 Крh1 5. Cf3 Крg1 6. Kh3 Крh1 7. Крf2. *Побочное решение:* 3. Крe1 Крg1 4. Ке2 Крh1 5. Cf3 d5 6. Крf2.



4. Сибирская порода собак, еще в 1909 году победившая в санных гонках в Канаде. 9. Камень, выгранный венецианским шлифовальщиком Ф. Асцентинем Борису Годунову. 11. Католическое богослужение, символически связанное с обрядом «превращения хлеба и вина в тело и кровь Иисуса». 12. Мясное блюдо из телятины, если готовить его по-настоящему. 13. Оркестр румынского лэутара. 15. Страна с самой высокой рождаемостью в мире. 16. «... Растеряевой улицы» — первое крупное произведение Г. Успенского. 17. Австралийский короткохвост (животное). 21. Французский писатель, известный фразой, ставшей девизом предательства: «Лучше живой трус, чем мертвый герой». 22. Татарский сабельник. 23. Зеленый остров. 24. Вчера было, нынче есть и завтра будет (загадка). 25. Инструмент, под чей аккомпанемент на Востоке исполняют дастаны и макамы. 27. Око — ..., хребет — спина. 30. Танк, захваченный в 1919 году на южном фронте и отправленный красноармейцами в Москву Ленину. 31. Оружие ассистента при боевом знамени в Советской Армии. 34. Один из эпитетов собаки в «Хамелеоне» А. Чехова. 35. Жизненное качество генерала Савари, посла Наполеона в России. 36. Замечательное слово, которое умники решили задавить массой. 37. Легендарный немецкий ученый, заключивший союз с дьяволом. 39. Французский живописец, во многих картинах рассказывающий, по выражению критиков, «о битве крестьян».

с землей». 40. Рыба, которую Петр Первый завещал комендантам Петропавловской крепости целиком подавать к столу. 43. Имя бестолковой женщины из русских пословиц. 45. Прозвище лисы у охотников Англии. 46. Специалист, изучающий причины болезней. 48. Старинное название раздора, ссоры. 49. Арабский народ, культивирующий наркотик кат. 50. Самый высокий горный массив Карпат.

По вертикали.

1. Название летнего пастбища в Туркмении. 2. Стихотворение А. Майкова о братьях Отроке и Сырчане. 3. Пьеса из одного музыкального предложения. 5. Кавказский хребет, «распиленный» рекой Мзымта. 6. Знак окончившего вуз в Бразилии. 7. Лисичка из «Маленького принца» Экзюпери. 8. Законная наука. 10. «Поэзия — это ... морского чудовища, живущего на земле и мечтающего о небе» (К. Сэндберг). 14. Военная куртка, названная по имени английского фельдмаршала. 15. Каждый из пузатых кораблей, на которых первые переселенцы прибыли в Исландию. 17. Животное, названное Г. Стеллером морским львом. 18. Сплав, из которого делают вставки для разрезных алюминиевых поршней. 19. Автор испанской марсельезы. 20. Певец группы «ABBA», помешавшийся на деньгах. 22. Родной город поэтессы Эмили Дикинсон. 26. Одна из самых древних спортивных игр. 28. Степень выносливости, стойкости. 29. Балетный прыжок, где одна нога как бы догоняет другую. 31. Единственная посетительница той части Дельфийского храма, где был оракул. 32. «... возвышается над всеми» (Д. Джойс о великом писателе). 33. Жанр пьесы М. Метерлинка «Соль земли». 34. Место, где женщина обязана быть в платке. 38. Моллюск, приписанный католическими священниками средневековья к постной пище. 39. Русская опера-балет с фантастическим действием «Ночь на горе Триглаве». 41. Остроумный большевик, который, смотря по обстоятельствам, признавал себя немцем, австрийцем, поляком, евреем или русским. 42. Лодочный черпак. 44. Второй по величине грызун. 47. Железосодержащий порфирин в составе сложных белков.

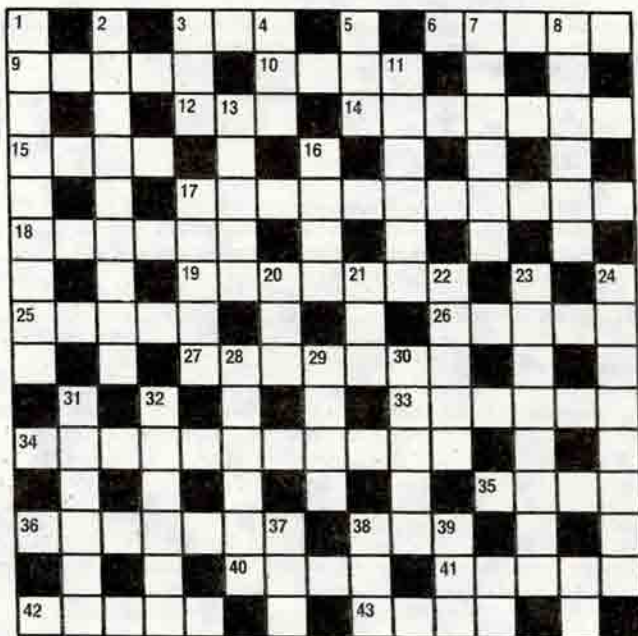
ОТВЕТЫ НА «ЗРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ В № 5

По горизонтали.

1. Иволга. 6. Лейден. 10. Орфей. 12. Психея. 13. Саз. 14. Юкагир. 15. Тигреро. 16. Лутц. 19. Ибис. 20. Рвань. 21. Дзено. 26. Вертинский. 27. Шпрук. 29. Кабуд. 30. Калифорния. 34. ... довод... 35. Заезд. 38. Заяц («зай»). 40. «Аида». 41. Самовар. 44. Чалдар. 45. Год. 46. Уикхэм. 47. Жираф. 48. Кувада. 49. Таамир...

По вертикали.

1. Импала. 2. Отиатр. 3. Греч. 4. Арсин. 5. Безразличие. 7. Енко. 8. ... дагоба. 9. Нарост. 11. Фаг. 14. Юрюнг... 17. Цвиркун. 18. Унция. 22. Овраг. 23. Эсхатология. 24. Спиноза. 25. Гулям. 28. Бокал. 31. Пожар. 32. Язычок. 33. Мятлев. 36. Дирхем. 37. Хаммер. 39. Ладан. 41. Санд. 42. Вор. 43. Пила.



КРОССВОРД
Составил
М. ПАВЛОВ,
Саратов

По горизонтали.

3. Африканская антилопа, чьи рога похожи на рога буйвола. 6. Приступ. 9. Река, в которой республиканцы во время Великой французской революции утопили тысячи нантских обывателей. 10. Металл, по которому названа блестящая дубленая кожа. 12. Ниже некуда. 14. Пушкин в те годы, когда он «безмятежно расцветал». 15. Тяжелая плотная ткань. 17. Метод лечения, разработанный З. Фрейдом. 18. Трагедия Шекспира. 19. Русский поэт и публицист, сказавший о Ф. Тютчеве: «У него не то что мыслящая поэзия, — а поэтическая мысль». 25. Советский космонавт. 26. Другое название Трои. 27. Электрический переключатель. 33. Буква старого русского алфавита. 34. Русский композитор, участвовавший в любительских спектаклях. 35. Душистый цветок. Испанки прикалывают его к волосам. 36. Неожиданный подарок. 38. Мыс на северном побережье Турции. 40. Шлюпка. 41. Римский писатель, автор «Пестрых рассказов». 42. Слухи. 43. Лекарственное растение, чьи другие названия — лепеха, татарское зелье, явр.

По вертикали.

1. Улитанность. 2. Итальянский художник, мастер архитектурного пейзажа. 3. Всякое земноводное или пресмыкающееся. 4. Орган с улиткой. 5. Нарушение правил в спортивной игре. 7. Русский быстрый танец.

8. Английский теоретик искусства, названный «апостолом красоты». 11. Титул японского императора. 13. «Тяни...!» — команда в строевой подготовке. 16. Минеральная краска. 17. Знаменитый римский комедиограф. 20. Речная рыба, в старости похожая на бревно. 21. Старинное орудие казни. 22. Название рая в восточнославянской мифологии. 23. Домашнее растение, цветущее зимой и ранней весной. 24. Офицер-снабженец. 28. Несбыточность, фантазия. 29. Роман, где Ф. Достоевский предсказал, какую трагедию принесет революция. 30. Коллючая героиня сказки, помогающая мужу обогнать зайца. 31. Французский актер-мим, сделавший Пьеро народным комическим героем. 32. Русский князь-меценат, владелиц усадьбы Архангельское. 37. Вечный противник добра. 38. Доска, на которой писали иконы. 39. Высшее выборное лицо рода.

**ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 5**

По горизонтали.

1. Берн. 5. Шлиф. 8. Приступ. 11. Оверштаг. 12. Древосек. 14. Ани. 16. Изба. 17. Эдельвейс. 18. Жаба. 21. Круиз. 22. Вития. 24. Фрукт. 26. Кри. 28. Рот. 30. Аав. 31. Шопен. 33. «Бранд». 35. Стон. 36. Рогозуб. 37. Шале. 38. Веста. 39. Растр. 40. Зоб. 42. Юнг. 44. Гну. 45. Фреза. 46. Свора. 47. Айова. 52. Титр. 53. Флоренция. 55. Озон. 57. Аза. 59. Фантазия. 61. Аррениус. 62. Синатра. 63. Ясак. 64. Щука.

По вертикали.

1. Бредбери (другое написание Брэдбери). 2. Рише. 3. Эрг. 4. Суд. 6. Лувр. 7. Фисташка. 8. Панда. 9. Сень. 10. Прайд. 11. Овин. 13. Клан. 14. Алжир. 15. Иврит. 19. Мизонезизм. 20. Грюнштейн. 21. Кристоф. 23. Толкно. 25. Таверна. 27. Черта. 29. Урбан. 31. Шов. 32. Ноз. 33. Бур. 34. Дар. 41. Британия. 42. Ювара. 43. Грена. 44. Гвоздика. 48. Штоф. 49. Эллис. 50. Цитра. 51. Гнус. 54. Езда. 56. Хала. 58. Зебу. 60. Яик. 61. Арк.



сибирские МОТИВЫ

В девственные сибирские края, где могучая Обь сливается с одним из своих притоков — Юганской Обью, 30 лет назад пришли нефтяники, основали поселок Нефтеюганск, который вскоре получил статус города. Кто-то приехал сюда, как поется в известной песне, «за туманом и за запахом тайги», за романтикой, а кто-то отправился в Сибирь на заработки. Стали тут, в бескрайней, прекрасной тайге, бурить скважины, строить заводы, краснокирпичные пятиэтажки, и появился на карте страны еще один современный город, как две капли воды похожий на тысячи других. Но в 1984 году произошло в Нефтеюганске событие совсем неординарное: был открыт краеведческий музей с выставочным залом, где местные художники выставляют свои работы. Откуда тут, в бывшем рабочем поселке среди тайги, музей, выставочный зал, художники? Все очень просто: группа молодых художников — это Николай Севостьянов и его брат Виктор, Светлана Зонина, Татьяна Бетехтина, Анна Болотняк и другие — приехали сюда из различных городов России и Украины «пописать пейзажи» да так и остались в этом маленьком таежном городке навсегда. И никогда не пожалели об этом.

Николай Севостьянов — одна из центральных фигур в художественной жизни Нефтеюганска. Уроженец Херсона, сын украинской колхозницы, Николай какое-то время работал токарем на заводе, окончив ужгородское училище прикладного искусства, по распределению был назначен художником на завод. Вот тогда-то и пригласили его друзья в Нефтеюганск. Приехал он, огляделся, понравилась ему могучая природа таежного края — так и стал сибиряком. Объездил весь край, побывал в творческих командировках не только в Западной, но и в Восточной Сибири. В результате этих поездок появилась серия живописных работ, посвященных сибирской природе: одинокая сосна на берегу Иртыша («Стрижинная балка»), крепкие рубленые деревянные дома, сохранившиеся еще с прошлого века («Старое Самарово»), желто-красные леса среди синих озер («Тишина»), багряные закаты на берегах Оби («Вечерний мотив»). Под впечатлением посещения причудливого Оленьего острова на озерах близ Нефтеюганска родилась у него картина «Утро». Изумительной красоты места по берегам Оби отображены в картине «Сибирские березы».

— Я полюбил сибирский край, меня привлекают в нем богатство природы, обилие красок, — рассказывает Николай. — Когда приехал в Нефтеюганск с юга, с Украины, то впервые почувствовал настоящую сибирскую зиму с обилием снега, крепкими морозами. Сибирь — особый край для художника. Даже радуга здесь не такая, как на юге, — она огромная, масштабная, впечатляющая. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать, я здесь останусь навсегда.

Но покидать родные края, пусть и ненадолго, Николаю все-таки приходится: дважды за последний год у него и его друзей с большим успехом состоялись выставки в Москве — в галерее «Таис» и в Звездном городке. Почти все картины, экспонированные на этих выставках, обрели новых хозяев: почитателей искусства молодых сибиряков оказалось очень много.

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВА

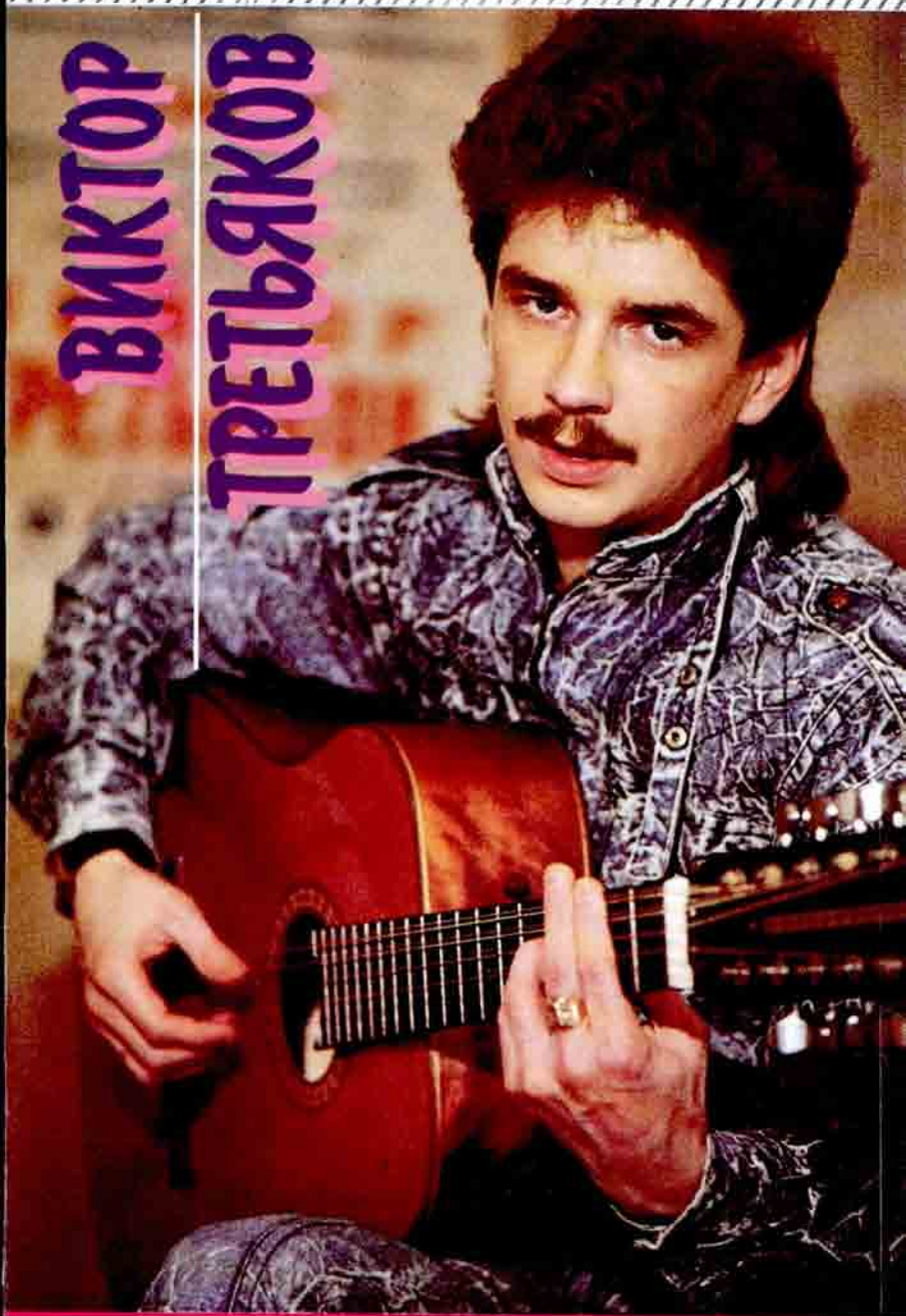


НИКОЛАЙ СЕВОСТЬЯНОВ. Тишина.



Маки.

**ВИКТОР
ТРЕТЬЯКОВ**



ИНДЕКС 70820